VISIT…

Якоб Буркхард

ВЕК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО

Оформление художника И.А. Озерова

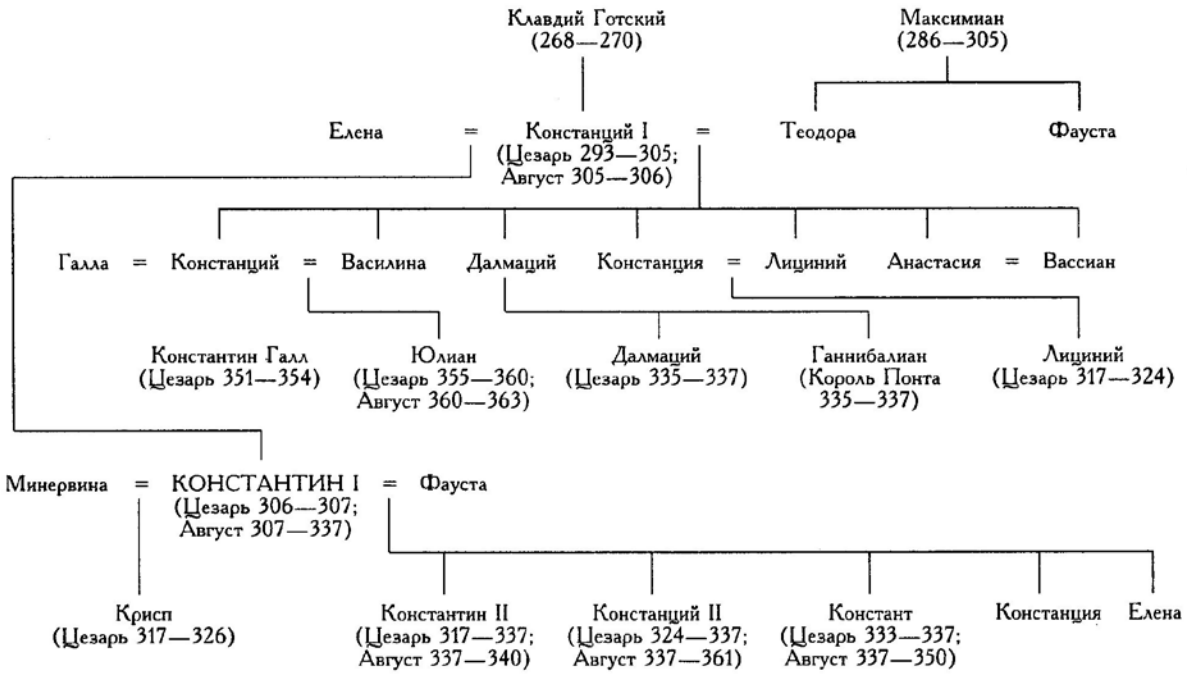
Буркхард Якоб
Б92 Век Константина Великого / Пер.с англ. Л.А. Игоревского.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 367 с.

ISBN 5-9524-0395-6

В книге описывается переходный период от Античности к Средневековью, ознаменовавшийся приходом и укреплением в Римской империи новой религии – христианства. Автор дает оценки исторической роли императора Константина Великого, который сначала завоевал римский мир, а затем обратил его в новую религию, сохраняя языческие культы и последовательно проводя централизацию государственного аппарата.

©Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2003
©Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2003

РОДОСЛОВНАЯ КОНСТАНТИНА



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Императорская власть в III столетии..... 7
Глава 2. Диоклетиан: его система усыновлений и правление 35
Глава 3. Западные провинции и прилежащие области 63
Глава 4. Восточные провинции и прилежащие области..... 85
Глава 5. Язычество: смешение богов 116
Глава 6. Бессмертие и его таинства. Демонизация язычества..... 156
Глава 7. Старение в жизни и культуре античности 209
Глава 8. Гонения на христиан. Константин и его

престолонаследие 237
Глава 9. Константин и Церковь 283
Глава 10. Двор, высшее чиновничество, армия.
Константинополь, Рим, Афины, Иерусалим..... 326

Хронологический перечень римских императоров..... 365

Глава 1
ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ В III СТОЛЕТИИ

В этом описании временного отрезка от воцарения императора Диоклетиана до смерти Константина Великого каждый раздел потребует собственного введения, так как события расположены не хронологически, по периодам правления, но согласно основным тенденциям развития. Если же необходимо общее вступление ко всей работе, основным его содержанием должна стать история изменения представлений о роли и функциях императора в эпоху упадка Римской империи в III столетии нашей эры — отнюдь не потому, что все прочие аспекты истории можно вывести из статуса императорской власти, но потому, что изменения этого статуса предоставляют отправную точку для оценки множества явлений последующего периода, в том числе и в духовной сфере. Все формы правления, какие только возможны, когда закон подкреплен силой, от жесточайшей до наиболее милосердной, представлены здесь в примечательной последовательности. Под властью прекрасных императоров II столетия, от Нервы до Марка Аврелия (96—180 гг. н. э.), Римская империя наслаждается эпохой мира и спокойствия, которая могла бы стать веком блаженства, если бы только возможно было глубинную внутреннюю тревогу, свойственную стареющим нациям, излечить благодеяниями и мудростью пусть даже лучших правителей. Огромные достоинства Траяна, Адриана, Антонина или Марка Аврелия, как людей и как властителей, не должны заслонять от нас к тому времени уже для всех очевидного положения вещей. Три могучие силы — император, сенат и армия — неизбежно должны были стать друг другу помехой и утратить то равновесие, которое так старательно поддерживалось. Как следствие, неразбериха стала полной, когда свой вклад в происходящее внесли варварские набеги, волнения в провинциях и природные катаклизмы.

Начало было положено уже в правление Марка Аврелия. Говорить о личности этого императора излишне; из всех бессмертных идеальных образов античности философ-стоик на троне мира если и не самый прекрасный и удивительный, то, во всяком случае, достойный наибольшего восхищения. И все же он не мог не слышать угрожающего стука вестников судьбы в ворота империи. Во-первых, что касается самой императорской власти, стало совершенно очевидно, что, невзирая на систему усыновлений, связывавшую четырех великих императоров, эта власть вполне может быть захвачена путем государственного переворота. Авидий Кассий, самый крупный военачальник в стране, отважился на попытку такого переворота, хотя и безуспешную, после того как уже почти три поколения в империи блаженствовали при великолепных или, по крайней мере, милосердных правителях. Что касается Марка Аврелия, то он славился тем, что «никогда не льстил солдатам на словах и никогда не делал ничего из страха перед ними»; тем не менее Марк безропотно согласился пожаловать армию при восхождении на престол чрезмерно роскошными подарками, так что каждый воин (по крайней мере, в гвардии) получил целое состояние, а впоследствии такую сумму солдаты стали считать обычной. Из внешних неудач следует упомянуть первое насильственное вторжение в империю германско-сарматского союза племен и жесточайшую эпидемию чумы. Последние годы императора были заполнены опасной войной и тяжелыми заботами. Но даже в палатке на берегу Дуная он пытался возвыситься над сиюминутными бедами и испытаниями, мирно совершенствуясь в добродетели и взращивая божественное начало в человеке.

Как известно, по воле Марка при его сыне Коммоде (180—192 гг.) «лучшие из сенаторов» стали чем-то вроде регентов; по крайней мере в первые недели молодой правитель находился под руководством друзей своего отца. Но в юноше очень быстро развилось то отталкивающее имперское безумие, от которого отвыкли поколения, жившие после Домициана. Сознание власти над миром и страх перед всеми, кто может пожелать этой власти, порождают стремление наслаждаться всеми доступными благами, отринув все заботы, в том числе и не терпящие отлагательств. В результате в его характере, лишенном врожденной твердости, соединились кровожадная жестокость и сладострастие. Основания для этого заложило покушение на Коммода, в котором не была совсем уж неповинна его собственная семья, однако обвинение пало на сенат. Ничего удивительного, что, будучи ответственным за жизнь императора, префект гвардии вскоре оказался первым человеком в государстве, как уже было при Тиберии и Клавдии, и что те несколько тысяч воинов, которыми он командовал, подобно своему начальнику, ощутили себя господами в стране. Одного из этих префек-

тов, энергичного Перенниса, Коммод отдал в руки посланцев недружелюбно настроенной британской армии, численностью в полторы тысячи человек, которая беспрепятственно дошла до Рима. Его преемника, префекта Клеандра, Ком-мод, когда римское простонародье подняло голодный бунт, выдал мятежникам; конечно, не без причины, ибо Клеандр своей чудовищной алчностью не только восстановил против себя верхушку общества, проводя конфискации имущества и занимаясь продажей государственных должностей, но и вызвал гнев бедноты, введя монополию на хлебную торговлю. Когда трусливый и жестокий правитель, одетый как бог, появлялся в амфитеатре, чтобы выслушать восторги сената, жившего в постоянном страхе смерти, можно было бы задаться вопросом, заслуживает ли этот Коммодов сенат прежнего названия, если даже он все еще принимает некоторое участие в управлении провинциями и назначении должностных лиц, а кроме того, имеет собственную казну и знаки внешнего отличия. По сути, это учреждение уже нельзя было назвать римским в строгом смысле слова, так как большинство его членов составляли, по-видимому, не итальянцы, а провинциалы, в чьих семьях звание сенатора иногда становилось наследственным. Со стороны легко осуждать с презрением эту падшую группку людей, поскольку непросто представить себе, какое действие производила постоянная угроза гибели, висевшая над их родными и близкими. Современники судили более снисходительно. В своей речи к войскам Клодий Альбин, отказавшийся принять титул цезаря из окровавленных рук Коммода, счел сенат достаточно жизнеспособным, чтобы поддержать реставрацию республиканской конституции. Был ли он искренен, не так уж и важно; довольно того, что в сенат (как мы увидим) входили многие благороднейшие личности своего времени, в тяжелые времена проявлявшие энергию и решимость, когда речь шла о делах государственной важности. Даже заблуждения, под влиянием которых, как мы увидим, они зачастую действовали, далеко не всегда их позорят. Нетрудно понять, что, невзирая на присутствие отдельных недостойных людей, сенат в то время продолжал восприниматься как олицетворение если не империи в целом, то, по крайней мере, римского общества, и что он считал себя за само собой разумеющееся начальство над так называемыми сенатами или куриями в провинциальных городах. Пока еще нельзя было представить себе Рим без сената, хотя даже пользу от его существования, по-видимому, свело на нет длительное внешнее насилие.

Коммод и дальше продолжал грабить сенаторов, чтобы грандиозными дарами успокоить волнующееся население столицы, и был убит в результате обычного дворцового заговора.

Опасная тонкость в вопросе о престолонаследии в Риме заключалась в том, что никто точно не знал, кто ответственен за выбор нового императора. Династию нельзя было основать, потому что имперское безумие — удел всех не слишком одаренных сановников — периодически порождало перевороты. Даже если оставить их в стороне, распутные императоры, да и кое-кто из более добродетельных, были бездетны, и это делало последовательную преемственность невозможной. Практика усыновления восходила ко временам Августа, но усыновления могли быть признаны законными только в том случае, если приемный отец, как и новоявленный сын, обладали необходимыми качествами.

Исторически право назначения нового императора принадлежало сенату, который некогда присваивал один титул за другим божественному Августу. Но когда императоры возненавидели сенат и стали опираться исключительно на гвардию, последняя приобрела и право избрания; это произошло незадолго до того, как началось соперничество между провинциальными армиями и преторианским лагерем в Риме. Вскоре выяснилось преимущество коротких царствований — тогда подарки преподносились гвардии чаще. Нельзя было забывать и о возможности тайных интриг со стороны определенных людей, чьи интересы могли по временам побудить их поддержать претендента, скорое падение которого они предвидели и рассчитывали на него.

И вот убийцы Коммода, как бы пытаясь оправдать свой поступок, выдвинули в качестве императора Гельвия Пертинакса, человека весьма благоразумного; и он был признан сперва солдатами, а потом и сенатом (193 г.). В знак уважения к известному Триарию Матерну гвардия получила с Пертинакса дар такого размера, по сравнению с которым подношения Коммода выглядели жалкими. Естественным продолжением стало очередное покушение, на этот раз под руководством консула Шалько. В третий раз гвардия начала прямо с убийства императора, а затем в лагере разыгралось беспримерное действо — императорский сан пошел с аукциона. Нашелся богатый глупец, Дидий Юлиан, который, щедро заплатив каждому солдату, купил себе несколько недель пьянства и ужаса. Но это была последняя и высочайшая степень преторианской наглости. В одно и то же время три провинциальные армии дерзнули провозгласить своих предводителей императорами, и одним из них стал угрюмый африканец Септимий Север. Тщетным оказался первый порыв Юлиана — подослать к нему наемных убийц; был некий офицер по имени Аквилий, которого в высших сферах часто использовали для этой цели и который пользовался репутацией наподобие Локусты при Нероне. Поскольку Юлиан уплатил за страну хорошие деньги, он попытался заключить с Севером деловое соглашение. Когда Септимий подошел ближе, Юлиан

объявил его соправителем; но по велению сената покинутый и презираемый император был казнен, когда Северу оставалось еще несколько дней пути до Рима.

Септимий Север (193—211 гг.) стал первым типично «солдатским» правителем. Есть нечто не римское, нечто современное в той гордости своей военной профессией и своим званием, которую он демонстрировал еще будучи легатом. Его пренебрежительное отношение к древнему величию сената могла бы предвидеть депутация, состоявшая из сотни членов этого учреждения, которая вышла встречать Севера в Терни и всех участников которой он велел обыскать, дабы выяснить, нет ли у них с собой кинжалов. Но наиболее явно его военная логика проявилась в том, что он разоружил, предал позору и изгнал из Рима преторианцев. В его государственной системе не было места продажной гвардии со множеством привилегий и претензиями на власть. Собственному своему войску, которое его сопровождало, Север дал лишь пятую часть требуемых подарков. Столь же последователен он был и в борьбе с соперниками, Песценнием Нигером и Клодием Альбином, и в результате уничтожил всех их приверженцев. Север так и не смог понять, почему многие сенаторы вступали с этими вождями в переговоры, и не мог представить, что сенат как целое оставался нейтральным. «Я дал городу зерно, я выиграл для государства множество войн, я дал масло народу Рима, — писал он сенату, — хорошую же награду вы приготовили для меня, хорошую же благодарность!» Сенат, продолжал он, сильно измельчал со времен Траяна и Марка Аврелия.

Византии, невзирая на его военную значимость и незаменимость в качестве укрепления на пути варваров с Понта, был стерт с лица земли, так как в течение года там держали оборону сторонники Песценния; и его гарнизон вместе со многими мирными жителями был предан смерти. Миру следовало показать на примере, что происходит с городами и политическими объединениями, которые не успевают правильно выбрать из бесчисленных соперничающих претендентов того, кому безопасней хранить нерушимую верность,

Дела последователей Альбина обстояли не лучше. В руки Северу попала вся их переписка; он мог бы сжечь эти письма не читая, как некогда Цезарь сжег письма сторонников Помпея. Это был бы благородный жест, но уже не в духе времени; теперь проблема состояла не в различии убеждений, которое можно сгладить спорами и аргументами, а просто в том, кто кому покорится. Было казнено множество сенаторов и прочей знати в Риме и за его пределами; император ознакомил сенат, простонародье и армию с хвалебными посланиями Коммоду, очевидно, не в качестве упрека, а в качестве издевательства над сенатом. В самом Риме во все время этой борьбы за главенство лишь единожды, когда проходили игры в Большом цирке, прекращались беспричинные, казалось бы, плач и стенания; очевидец не мог бы найти им другого объяснения, нежели наущение свыше. «О Рим! Вечный! Владыка! — сливались в единый вопль стоны толп. — Сколько нам еще терпеть все это, сколько еще будут воевать с нами?» Их счастье, что они не ведали дальнейшей своей судьбы.

Когда в отечестве восстановился мир, стало ясно, что военная власть, необходимой составляющей которой была война внешняя, изжила себя. Опорой и центром этой власти был Север и его родственники на высших должностях, из которых он хотел сформировать династию; только своего брата, который с удовольствием разделил бы с ним тяготы правления, Север держал из осторожности в стороне. Первым шагом к укреплению собственной мощи стало создание новой гвардии, которая более чем в четыре раза превосходила старую. Получив в личное распоряжение такую силу, император занял принципиально иную позицию в отношении провинциальных армий. В сопровождении такого войска можно было, как доказывали прошлые события, пройти всю империю, везде чиня убийства и грабежи, и не встретить никакого сопротивления. Раньше гвардия состояла из италийцев, живших по большей части в самом Риме или в его окрестностях; теперь по воле Севера Рим заполнили грубые, наводящие ужас лица варваров. Если подарки армии при восшествии на престол были невелики, то теперь император повысил оплату труда воина больше, чем кто бы то ни было из предшественников; таким образом, вместо того чтобы выбросить разом несколько миллионов, в империи создавался постоянный ток денег к вящей выгоде солдат. Отцовское наставление, которое Север, как известно, дал своим сыновьям — это скорее современная характеристика его правления, нежели подлинные слова императора, но, тем не менее, оно не лишено смысла: «Храни единство, обогащай воинов, презирай прочих».

Можно было бы предположить, что деятельный военачальник выказывает такое уважение профессиональной армии и постоянно поддерживает ее в состоянии боевой готовности во имя славного военного прошлого Рима. Но причина заключалась не в этом. Сам Север во всеуслышание говорил об ухудшении дисциплины, и в его великом походе в Азию бывали случаи неповиновения, причем ему оставалось только проявлять снисходительность и делать дополнительные подарки. Мог ли Север не осознавать того факта, что его нововведения обеспечивают безопасность лишь ему и его правлению, что они неизбежно принесут гибель его слабому и порочному преемнику, который не будет, как Север, своим собственным префектом гвардии? Или же ему было все равно, что станет с его преемником, если сохранится военная власть как таковая?

Однако, говоря также о последних веках язычества вообще, нельзя забывать, что даже могущественнейшие фигуры того времени не имели полной свободы действий, так как не могли отделаться от веры в астрологию и предзнаменования. Невозможно иначе объяснить, почему, например, Север, так любивший справедливость, упорно не хотел изгнать из префектуры гвардии и из собственного окружения такого легкомысленного прожигателя жизни, как Плавтиан. Бесчисленные суеверия опутывали жизнь Севера с детства и до самой смерти. С тех пор как императорский трон превратился в первый приз лотереи, многие родители из всех сословий принялись тщательно следить за повседневной жизнью своих более одаренных детей в поисках знаков их будущего величия. О многом говорило, например, если мальчик декламировал необычные стихи, если приносил в дом черепах, орлят или даже пурпурное яйцо голубя, если в дом приползали змеи или рядом распускался лавр, и тому подобные случаи. Если же ребенок рождался с рубчиком на голове, напоминавшим корону, или новорожденное дитя нечаянно прикрывали кусочком пурпурной ткани, тогда его императорская будущность считалась решенной. Много таких фантазий сопутствовало императору на всем протяжении его царствования, и они влияли на его поступки непостижимым для нас образом. Можно только посочувствовать, наблюдая, как стареющий Север после своих последних побед в Британии становится беспокойным и вспыльчивым потому, что навстречу ему попался мавр в венке из кипарисовых ветвей, или потому, что он участвовал в священнодействии не в том храме, или потому, что жертвы, им принесенные, были темного цвета — и эта тревога преследовала его, и в военном штабе.

Но в главном имперском штабе в Йорке в предзнаменованиях уже не было нужды: сын Севера Каракалла хотел смерти отца упорно и почти открыто. Север сознательно возводил безжалостность в принцип, чтобы подавить любое поползновение захватить власть; но гибель от рук прямого наследника, как и беззастенчивая поддержка измены со стороны гвардии, не входила в его расчеты. Когда он шепчет своему бесчеловечному сыну: «Не дай им видеть, что ты убиваешь меня!» — этот стон звучит как мучительное утверждение основной идеи его правления. Другая фраза, которую, по-видимому, он произнес не единожды: «Я был всем, и тщетно».

И вот на трон империи взошло отвратительное чудовище по имени Каракалла (211—217 гг.). С ранней юности он был страшно высокомерен. Он хвастал, что стремится подражать Александру Великому, и воздавал хвалы Тиберию и Сулле. Позднее, может быть после убийства брата Геты, пришло то настоящее имперское безумие, которое направляет ресурсы и мощь всей страны на то, чтобы как можно бесповоротней ее разрушать. Единственной защитой нового правителя, которую, впрочем, он полагал достаточной, была его дружба с солдатами, лишения которых он по крайней мере иногда разделял. Такая же его близость к гладиаторам и цирковым наездникам завоевала ему любовь римского плебса. Людям почтенным и образованным угождать было незачем. После отцеубийства, на которое армия сперва смотрела неодобрительно, Каракалла целиком отдался такого рода попыткам подольститься к черни. Его траты на нужды армии требовали обширных конфискаций, и он предал смерти как сторонников Геты двадцать тысяч человек, и среди них — сына Пертинакса; до тех пор родственники низложенных императоров оставались в живых, и это было одной из наиболее человечных черт римских узурпации. Ради своих солдат Каракалла развязал жестокую войну в собственных, абсолютно мирных, владениях; от соседних народов, если те решали напасть, он откупался. Массовые убийства в Александрии иллюстрируют единственно верное с точки зрения деспотии отношение к софистическим насмешкам александрийцев. Истинным наказанием за эти преступления (не говоря об угрызениях совести, о которых рассуждают наши авторы) стало возраставшее недоверие тирана к своей привилегированной гвардии; в конце он мог целиком положиться, как свидетельствует его непосредственное окружение, только на личную стражу, полностью состоявшую из варваров — кельтов и сарматов, которые не имели представления о римских делах; чтобы сохранить их преданность, он одевался согласно их обычаю. Посланцам этих народов Каракалла говорил, что, если он будет убит, им не составит труда завоевать Италию, так как Рим легко будет взять. И все же он погиб в кругу этих самых стражников, в результате покушения, совершенного по наущению людей, которые вынуждены были убрать его, чтобы самим не попасться в его руки.

Обязанность назначения преемников, естественно, перешла в руки всемогущей армии. Армия сперва провозгласила Макрина, одного из двух префектов гвардии, не посмотрев, что именно он организовал гибель ее обожаемого Каракаллы. Макрин принял имя Каракаллы и устроил ему пышные похороны, чтобы отвести от себя подозрения. Со скрытым презрением он приветствовал сенат на церемонии вступления в должность и с видимыми колебаниями принял императорские титулы. И тем не менее, первые же строгие меры, принятые им к обузданию все более распоясывавшейся армии, ускорили его падение. Два молодых сирийца, родственники по боковой линии Антонинов и Севера, внезапно вознеслись до уровня правителей империи. Это были два непохожих друг на друга двоюродных брата Элагабал и Александр Север, которых поддерживали их

матери Соэмиада и Мамея, а также их бабушка Юлия Мэса.

При всем уродстве и безумии правление Элагабала (218— 222 гг.) небезынтересно для истории императорской власти в Риме. Невероятное сладострастие, азиатская пышность культа, бездумная жажда минутных удовольствий — это, собственно, была реакция на правление Септимия Севера, по сути, правление солдата. Элагабал отвергал все римские обычаи, сделал сенаторами мать и бабушку, назначал на высшие посты в государстве танцоров, атлетов и парикмахеров, наконец, торговал должностями — но отнюдь не это привело его к гибели. Его падение совершилось, когда у армии проснулось чувство стыда, усиленное заговором ближайших родственников императора в поддержку Александра. Солдаты понимали, что жизнь Александра в опасности, и заставили испуганного императора покинуть собственный двор. Элагабал, в свою очередь, изгнал из города сенат — что скорее свидетельствует в пользу сената, так как это значит, что данное учреждение состояло не только из «рабов в тогах», как думал император раньше. Наконец гвардия убила Элагабала и возвела на трон Александра Севера.

Из множества императоров ни один не вызывает у потомков столько симпатий, как этот человек, настоящий Святой Людовик античности, человек совершенно непостижимый, если принять во внимание его окружение. Его гибель была неизбежным следствием попыток свернуть с дороги позорных злоупотреблений, которые всегда порождает военная деспотия, на тропинку справедливости и умеренности. Никто не умаляет достоинств прекрасной матери императора, Мамеи; но все-таки его заслуги значительнее, потому что он сохранил независимость, оставшись верным однажды взятому курсу, и, ведомый только добродетелью, все же смог противостоять множеству соблазнов деспотической власти. Помимо всего прочего, он испытывал величайшее уважение к сенату, чего не было со времен Марка Аврелия, когда даже о сословии всадников, которое надолго погибло для жизни политической, говорилось как о «колыбельной сената». Собрание сенаторов и закрытый совет шестнадцати входили в администрацию, и на подготовку хороших, сознательных людей, способных управлять и осуществлять тщательный государственный контроль, не жалели сил. Только несправедливые и продажные чиновники могли вывести из себя уравновешенного Александра. Уважая своих воинов, он не делал тайны из того факта, что судьба государства зави- сит от них; он обеспечил им замечательную экипировку и добился отличной выучки. И тем не менее, как только он смог похвастаться, что уменьшил налоги, он тут же решился распустить опасный легион. Однако далеко не все из известного об Александре можно обрисовать столь же светлыми красками. Так, в армии наблюдается постоянное брожение. Префекты гвардии сменялись при весьма тяжелых обстоятельствах, и, когда Ульпиан, наиболее выдающийся из них, был убит в результате серьезных волнений, император оказался неспособен покарать преступление. Мы знаем, что в тот раз народ и гвардия три дня вели кровавые бои на улицах Рима и что преторианцы усмирили граждан, лишь когда начали жечь их дома. Отнять власть у своего прекрасного вождя пытались самые нелепые персонажи. Известно, что один из них, по имени Овиний, в самом деле был с насмешливой снисходительностью принят в соправители; но он устал от своего сана, стоило ему разделить с прочими тяготы походов. Другой претендент, выдвинутый армией, попросту скрылся. Третьего, раба Урания, император, по-видимому, все же вынужден был наказать. Кроме того, поскольку Александр, как прежде *его* идеал Марк Аврелий, был обречен непрестанно подвергаться испытаниям жестокой судьбы, то вскоре на восточных рубежах страны поднялся новый войнолюбивый враг — персидское царство, где к власти пришли Сасаниды. В войне с ним Александр добился весьма относительного успеха. На рейнской границе наблюдались угрожающие брожения среди германских племен. Нрав молодого правителя, по-видимому, становился все более меланхолическим; известно, что он проявлял склонность к скупости, но это означает только, что кое-кто из его окружения никак не мог умерить жажду денег, предназначенных для войны. Во время похода, на Рейне, недалеко от Майнца, солдаты убили его и его мать. Бесполезно исследовать заявленные мотивы этого поступка. Преемник Севера, Каракаллы и Элагабала, который хотел изгнать всех лицемерных сановников, приструнить армию и в то же время быть снисходительным даже перед лицом опасности, не мог избежать насильственной смерти. Заговор стал болезнью эпохи; эта зараза носилась в воздухе. Александр тщетно добивался уважения в эпоху, признававшую только страх.

На трон взошел Максимин (235—238 гг.), как предполагается, убийца Александра. Он был фракийский пастух, сын гота и аланки, насквозь варвар по происхождению и, более того, по образованию. Но армии это было безразлично; она состояла из настоящих варваров с восточных границ, для которых не имело значения, родом ли их кандидат из Антонинов, привычен ли он к государственной службе, был ли он сенатором. Зато Максимин имел более восьми футов роста и обладал гигантской силой, и вполне вероятно, что этот офицер не знал себе равных во всей римской армии.

По сути, даже если этого нельзя утверждать, опираясь на факты, его правление было

страшнее, чем правление любого другого императора. Мир античности, его памятники, исполненные красоты, его жизнь, насквозь пронизанная изяществом культуры, возбуждали злобную ярость в этом варваре, стыдившемся своего происхождения. Хотя, пожалуй, человек с нежной душой и не смог бы сохранить захваченный престол. Он проводил конфискации в пользу солдат, и таким образом разрушал, будучи римским императором, самую сущность Рима. Максимин отказался от жизни в ненавистной столице; сперва он собирался поселить там своего сына, но в итоге оставил его при себе, в своих укреплениях на Рейне и Дунае, откуда и правил империей. Перепуганный Рим, вспоминая о восстаниях рабов, Спартаке и Атенионе, опасался, что пограничная армия варваров может объявить себя центром мировой империи. Максимин ненавидел все выдающееся, все красивое и утонченное, а в особенности ненавидел сенат, который его якобы презирал. Перед зданием сената он поместил огромные изображения своих победных походов против германцев. Но даже население столицы, которое едва ли обеспокоилось, если бы император казнил всех до одного сенаторов, озлобилось до предела, когда были сокращены запасы продовольствия и отняты деньги, предназначенные на публичные зрелища. В провинциальных городах дела обстояли не лучше: все их средства, например капиталы богатых граждан, отобрали на благо армии. Столь неразумного и откро- венно военизированного правления на Западе с тех пор не бывало.

Наступило время неописуемого смятения. Пожалуй, наибольший интерес вызывает решительная и определенная позиция сената, который не так уж разбирался в ситуации. Отчаяние заставило взбунтоваться солдат и крестьян в Африке, и восстание вынуждены были возглавить два уважаемых римлянина — отец и сын Гордианы. Узнав об этих событиях, сенат выступил против Максимина. При этом все ждали, что недостойные его члены сообщат об этом тайном решении тирану. Не меньше смелости требовалось, чтобы послать в провинции письма с предложениями отступничества. Следовало также считаться с тем, что провинции могли провозгласить других императоров, а не кого-то из Гор-дианов. Опасность еще усилилась, когда африканский военачальник Капелиан (втайне желавший империю для себя) разбил армию младшего Гордиана во славу Максимина; проигравший погиб, а его отец повесился. Тут сенат назначил комиссию из двадцати членов, имевших военный опыт, и на свой страх и риск провозгласил двух императоров, Пупиена и Бальбина (238 г.). Ситуация была крайне напряженная, возникла угроза террора. Народ, который сперва поддерживал вновь выдвинутых императоров, вскоре перешел на сторону гвардии; она же, будучи разгневана самостоятельным выбором сената, потребовала провозглашения третьего императора или наследного принца, которым стал самый младший Гордиан, близкий родственник первых двух. Имеющиеся источники несвязны и отрывочны; например, мельком упоминается битва не на жизнь, а на смерть, разыгравшаяся в Риме между гвардией, гладиаторами и рекрутами. Сейчас невозможно сказать ничего определенного касательно этого кризиса; во всяком случае, сенат продемонстрировал удивительную решимость и присутствие духа, ибо оказался способен не только поддерживать на высоте своих двух ставленников по отношению к подопечному гвардии, но в то же время и нести весь груз обороны против приближающегося Максимина, посылая уполномоченных осуществлять в провинциях военные приготовления. Им также помогало ожесточение провинциалов против свирепого тирана, по каковой причине в Каринтии он не обнаружил ни людей, ни каких бы то ни было запасов еды, и на пути через пустынную Гемону (Любляну) его сопровождали только волчьи стаи. Этот опыт к моменту, когда ратники дошли до Акви-леи, совершенно лишил мужества императорских мавров и кельтов. И когда город под начальством двух сенаторов начал длительную и отчаянную оборону, голодная армия Максимина убила главнокомандующего, чтобы примириться с новыми императорами.

Было ли благоразумно вести все это войско или даже большую его часть в Рим, не нам решать; оно, вероятно, представляло опасность даже в провинции. Но в Риме можно было ожидать столкновения, из-за esprit de corps[1], между армией императоров от сената, состоявшей преимущественно из германцев, и солдатами Максимина. Так или иначе, последние, по обычаю всех побежденных армий и проигравших партий, стали искать выход для своего плохого настроения. Жертвами пали два сенатских императора, солдаты убили их, и народ в диком смятении провозгласил юного Гордиана (238—244 гг.) Августом. Сенат был повержен, но не сокрушен; воины, пробившие себе дорогу на заседание (в то время проходившее на Капитолийском холме), были зарублены сенаторами у алтаря Победы.

При следующем императоре властвовали евнухи и заговорщики, окружившие неопытного юношу. Спустя какое-то время к нему оказался приближен оратор Мисифей, значительный и серьезный человек, который пробудил его благородную натуру. Он стал, мы не знаем как, гвардей-

[1] Корпоративный дух (фр.).

цем, регентом и даже тестем Гордиана, и тот отдал ему обе префектуры — гвардии и столицы. Положение Мисифея, даже титул «Отец правителя», который сенат даровал ему, вызывает в памяти XII век и атабеков сельджукских султанов. Когда он нашел взаимопонимание с сенатом, нельзя сказать с уверенностью; в любом случае это примечательное правление длилось недолго. В походе против персов, на этот раз успешном, гвардеец погиб от яда, поднесенного Филиппом по прозвищу Аравитянин. Филипп расплатился с солдатами тем, что искусственно создал недостаток съестных припасов; он добился места соправителя, подкупив офицеров, и постепенно лишил Гордиана всякого авторитета, а затем и жизни.

Получив сообщение о смерти Гордиана, сенат отреагировал быстро, но провозглашенный императором философ Марк вскоре умер, так же как и некий Север Гостилиан, по тем или иным причинам после него оказавшийся на престоле. Филипп, который тем временем появился в Риме и вежливым разговором склонил на свою сторону наиболее значительных сенаторов, был признан Августом (244—249 гг.). Называть Филиппа Аравитянина шейхом — слишком много чести; он был родом из пользующегося сомнительной славой южносирийского племени, жившего к востоку от Иордана.

Если забыть о неодолимой притягательности императорской власти, трудно понять, как этот человек, с его ничтожными способностями к военному делу, собирался управлять Римской империей, которую он получил обманом, раздавая ключевые должности родственникам и друзьям. Во время столетних игр, проводившихся в честь тысячной годовщины города, варвары перешли границу в нескольких местах, и по меньшей мере две армии выдвинули новых императоров. В Сирии против брата Филиппа — Приска поднялся искатель приключений Иотапиан, возводивший свой род к Александру Македонскому, имя которого до сих пор произносилось с почти религиозным благоговением. В Мезии, пока готы атаковали страну, против зятя Филиппа Севериана выступил Марин.

Страшная угроза, нависшая над империей, снова пробудила дух Рима. Вторая половина III века — эпоха, достойная, несомненно, глубочайшего уважения, но наши источники слишком мало сообщают о людях того времени и мотивах их поступков. Ведущие фигуры этого периода в большинстве своем не римляне в строгом смысле, а в основном иллирийцы, происходившие из земель между Адриатическим и Черным морями, но, тем не менее, именно римская культура и наследие, особенно же военное искусство, позволили им вновь спасти античный мир. Теперь титул римского императора уже не означал единственно удовольствия и стал ассоциироваться с тяжелыми обязанностями. Люди недостойные облачались в пурпур, только будучи к тому вынуждены; лучшие уже не стремились к высокому сану, но видели в нем долг или предопределение. И это безошибочно свидетельствует о нравственном подъеме.

Угрожавшие империи опасности быстро положили конец правлению Филиппа. Однажды, испугавшись, он явился в сенат и предложил отречься от трона. Все было спокойно, пока учтивый Деций не предложил свои услуги в деле усмирения Марина. Ему сопутствовал успех, но он вскоре попросился в отставку, так как видел, что армия, презирающая Филиппа, хочет сделать императором его. Филипп отклонил его просьбу, и случилось неизбежное. Во время или после битвы с Децием солдаты в Вероне казнили Филиппа. То, что его брат Приск стал впоследствии наместником в Македонии, доказывает, что Деций не стыдился произошедшего. Правда, в результате Приск отплатил ему изменой.

Деций (249—251 гг.) был в первую очередь идеалистом и, соответственно, во многом заблуждался. Он надеялся послужить своими военными талантами утонченным сенаторам, возродить былую римскую добродетель и древнюю религию, вернуть славу имени римлянина и сохранить ее навек — конечно, именно к этому он стремился. И гонения на христиан стали просто естественным следствием этих замыслов; шестьдесят лет спустя он с тем же рвением пытался бы спасти империю через христианское самоотречение.

Но достичь своей цели ему было не суждено. Со всех сторон на страну нападали варвары, не утихали голод и чума; это означало, что переменилась вся жизнь Рима — стареющий человек не перенесет ветерка, которого юноша не заметит. Наградой Децию стала славная смерть в бою с готами.

Сенат вновь вспомнил о своем праве. Помимо Галла, выдвинутого армией, в 251 г. он провозгласил своего собственного императора, Гостилиана, который вскоре умер от болезни. Пока Галл откупался от готов, на Дунае заявил о себе некий Эмилиан из Мавритании, военачальник, который говорил своим людям о «римской чести» и в случае победы обещал им ту дань, которая раньше шла готам. Победа была за ними, и солдаты сделали своего полководца императором (253 г.). Но идеи Деция не пропали даром, и Эмилиан хотел уже называться только сенатским военачальником и оставить управление империей самому сенату.

Заметная лакуна в «Historia Augusta» мешает сделать сколько-нибудь обоснованные выводы

относительно последующих событий. Эмилиан пошел на Италию; Галл, выступивший против него, вместе с сыновьями был убит собственным войском. Но Валериан, спустившись с Альп, неким таинственным образом преуспел и взял верх над победоносной армией Эмилиана, которая убила своего императора, «потому что он был солдат, а не правитель, потому, что Валериан лучше подходил для роли императора, или потому, что римляне должны были остерегаться гражданской войны». Эти слова несут в себе отблеск истины. Ясно, что совершилось все это не по воле мятежной банды солдат. Очевидно, что имело место соглашение между высшим офицерством трех армий. Только такого рода соглашением можно объяснить возвышение Валериана (253 г.), вероятно, самого одаренного римлянина во всем, что касалось общественной ли жизни, военного ли искусства; солдатам оставалось или продолжать поддерживать своего Эмилиана, или посадить на трон кого-нибудь со способностями мелкого офицера, но зато высокого и красивого.

С тех пор выборы императора приняли новую форму. За время войн с варварами, не прекращавшихся со времен Александра Севера, образовался кружок замечательных военачальников, среди которых знание своего дела по справедливости ценилось и уважалось. Валериан был, по-видимому, душой этого круга, по крайней мере в пору нахождения у власти. Его военная переписка, часть которой дошла до нас в составе «Historia Augusta», показывает тонкое понимание людей и их способностей; читатель составляет себе высокое мнение о человеке, сумевшем распознать Постума, Клавдия Готского, Аврелиана и Проба и способствовать их продвижению. Если бы на границах был мир, возможно, сенат и принимал бы достойное участие в управлении государством, как мечтали Деций и Эмилиан. Но поскольку варвары, нападавшие сразу с нескольких сторон, могли уничтожить империю полностью и поскольку настоящий Рим давно покинул семь холмов у Тибра и переместился в лагеря отважных римских военачальников, было только естественно, что нити власти в государстве также находятся в руках высших офицеров. Они составляли нечто вроде вооруженного сената, разбросанного по всем пограничным провинциям. При этом по временам империя совершенно утрачивала единство, там и тут стихийный каприз солдат или отчаяние провинциалов одевали первого подходящего человека в пурпур; но когда начальное потрясение более-менее проходило, полководцы сажали на трон кого-нибудь из своих. Мы можем только предполагать, как сочетались в том или ином случае предусмотрительность и трезвый расчет с тщеславием и жестокостью, а также какие тайные клятвы всех их связывали. Однако враждебности к сенату они не проявляли; более того, в общем ему выказывалось уважение, и был даже случай, когда сенат впал в наивное заблуждение, что снова стал повелителем империи.

Этот примечательный период заслуживает детального исследования. Уже при Валериане начался процесс отделения некоторых областей, а когда сам Валериан, пока его сын воевал с германскими племенами, вопреки всем законам международных отношений был предательски захвачен в плен царем Шапуром из династии Сасанидов (260 г.), наступил полный хаос. В то время как самому Риму угрожало вторжение безымянных орд и сенат должен был наспех организовывать войско из граждан, восточные страны одна за другой разрывали вассальные отношения с империей. Сперва дерзнул претендовать на престол ничтожный преступник Кириад, выдвинутый Шапуром, но Макриан с сыновьями и его храбрый префект Балиста поднялись на защиту римского востока (260 г.). Шапур был вынужден бежать, его гарем взяли в плен. Достойна также хотя бы упоминания великолепная оборона каппадокийской Кесарии. Но распад империи продолжался. Военачальникам и высшим должностным лицам то и дело приходилось объявлять себя императорами, просто чтобы защититься от других узурпаторов, но они все равно гибли. Так пал Валент Фессалоник в Греции, и так же пал Пизон, которого Макриан послал усмирять Валента. Вскоре погиб и сам Макриан (261 г.), выступивший против Авреола, который был вождем дунайской армии Галлиена, и, испытав себя, обратился против самого Галлиена. На востоке Макриана и его родных потеснил Оденат (262 г.), богатый провинциал. Несколько человек носило в то время императорский титул, но ни один из них не обладал талантами и удачей этого пальмирского патриция, который вместе со своей героической женой Зиновией сумел основать на востоке могучее королевство. Зиновия, чей род берет начало от египетских Птолемеев, в том числе от знаменитой Клеопатры, с пестрой свитой военачальников-азиатов правила (267—273 гг.) от имени своих сыновей государством, простиравшимся от Галатии до Египта. На этой территории полководцы Галлиена успешно разделывались с захватчиками меньшего пошиба — на юго-востоке Малой Азии это был разбойник Требеллиан, которого избрали своим вождем неисправимые исавры; в Египте — Эмилиан, первое лицо в Александрии, который, когда взбунтовавшаяся толпа грозила ему смертью, принял императорский титул (262—265 гг.), чтобы избежать расплаты с Галлиеном.

На некоторое время Галлиен был вынужден признать ранее упоминавшегося Авреола правителем Придунайских земель. Но задолго до этого (258 г.) дунайские легионы выдвинули Ингенуя, который лучше всех мог защитить страну от вторжений. Галлиен одолел Ингенуя и развернул по области жесточайшую карательную кампанию. Провинциалы жаждали мести и

провозгласили императором героического дака Региллиана (260 г.), заявившего о своем происхождении от короля Дакии Децебала, известного противника Траяна; но вскоре из страха новых преследований они же выдали его в руки Галлиена, которого жизнь сделала безжалостным. В Вифинии узурпатор также был, но даже его имя осталось неизвестным; Сицилией тоже управляли безымянные разбойники (1atrones).

На западе, а именно в Галлии, которой время от времени подчинялись также Испания и Британия, появились наиболее примечательные бунтовщики. Здесь из-за страшных бед, причиняемых варварами, сперва против Валериана, а затем против сына Галлиена и его военачальников восстали (после 259 г.) несколько могучих вождей: По-стум, Лоллиан (или Лелиан) и Викторин. Это были не просто солдатские императоры, они правили при восторженном и почти регулярном участии провинциалов. Создавалось настоящее трансальпийское государство, и его видные деятели формировали сенат при императоре, обычно пребывавшем в Трире. Отнюдь не собиравшиеся подчеркивать свое полузабытое происхождение — галльское, британское или иберийское, эти народы хотели только входить в состав западной части Римской империи и защищать римскую культуру и институты от варварских набегов. О владениях Зиновии не так уж много можно сказать. Однако весьма примечательно, что на западе также именно женщина — Виктория, мать Викторина, — распоряжалась престолонаследием императоров, заслужила прозвище «Мать лагерей» и с нечеловеческой силой духа руководила всей армией. Ее сына и внука убили у нее на глазах разгневанные солдаты, но их раскаяние было так велико, что назначение нового императора предоставили ей. Сперва, чтобы угодить солдатам, она указала могучего оружейника Мария (267 г.); после его убийства она отважилась назвать своего родственника Тетрика, который не был известен армии и не был человеком военным, но которому, тем не менее, солдаты подчинялись (после 267 г.), по крайней мере, до смерти Виктории.

Завершающее место в этом ряду узурпации по праву принадлежит Цельсу, выдвинувшемуся в Африке, поскольку его попытка была наименее оправданной и наименее успешной. Без видимого повода, которым могло бы служить, например, нападение варваров, африканцы (очевидно, только карфагеняне) по наущению проконсула и военачальника объявили трибуна Цельса императором. Недостаток божественного права на то сполна возместил плащ Юноны, который принесли из знаменитого храма в Карфагене специально для церемонии вступления в должность. Здесь тоже женщина играла ведущую роль. Тетя Галлиена устроила так, что через семь дней Цельс был убит, и труп его бросили собакам; жители Сикки настояли на таком обращении из лояльности императору. Затем Цельс был вдобавок символически распят.

Поведение ни в чем не повинного Галлиена в этой сложнейшей ситуации не кажется ни пассивным, ни малодушным, что внушает нам «Historia Augusta». Некоторым из так на- зываемых тридцати тиранов он в самом деле даровал титул цезаря или августа; но с прочими он сражался со всей отчаянностью. Время от времени его охватывала его знаменитая вялость, но она также внезапно проходила. Естественно было ожидать, что он отправится в Персию освобождать отца, но в свете имевшихся обстоятельств такое предприятие оказывалось совершенно немыслимым. Отношение Галлиена к признаваемым им провинциальным императорам походило на отношение калифа к династиям, объявившим о своей независимости, разве только он не принимал почетных подарков и не ждал упоминаний в публичной молитве. С другой стороны, он весьма энергично отстаивал свое собственное положение в Италии, и несколько наиболее уважаемых полководцев его отца сохранили верность новому императору. Он целенаправленно удерживал сенат от военной службы, то есть не позволял навещать солдат, потому что даже в тот непарламентский век его преследовал страх перед военизированным правлением сенаторов. Когда Авреол повел атаку на Италию, Галлиен, действуя с возможной быстротой, заставил его стянуть свои войска в Милан и там осадил его. После того как Галлиен был убит (268 г.), положение Ав-реола стало еще более отчаянным. Совершил это преступление кавалерийский офицер из Далмации, непосредственными зачинщиками стали префект гвардии и начальник дунайской армии. Но саму мысль подали Аврелиан (впоследствии император), который привел кавалерию на помощь осажденным, и иллириец Клавдий, любимец сената и одновременно один из величайших полководцев эпохи. Клавдий не скрывал, что ему не нравится вялость Галлиена, и, вероятно, именно поэтому он остался в стороне от событий — в Павии. Как известно, военачальники устроили формальное обсуждение того, жить или умереть Галлиену, и, должно быть, на этом собрании было принято решение, что преемником будет Клавдий.

Приняв во внимание все обстоятельства, этот тайный сговор можно частично оправдать чрезвычайностью сложившейся ситуации. Люди, выносившие приговор, знали, что делают. В заново объединенной империи Галлиену следовало отойти от дел, но он не согласился бы на это, так как не мог лишиться своих императорских удовольствий. Клавдий также, возможно, смутно предвидел нападение готов, самое страшное событие того столетия, которое ничем нельзя было предотвратить. Даже не говоря об этом неизбежном вторжении — еще когда Галлиен стоял под Миланом, алеманны

были уже в Италии, и с тех пор как Клавдий так быстро разобрался с Авреолом в битве при Понтироло, он в основном занимался этой проблемой. В своей надгробной надписи Клавдий заявляет, что он оставил бы Авреолу жизнь, если бы чувство уважения к его великолепной армии дозволяло подобную снисходительность. У нас нет оснований сомневаться в искренности этих слов.

Клавдий (268—270 гг.) сумел только приступить к исполинской задаче восстановления империи, и первые принятые им меры навлекли бедствия на отряды, оставшиеся в Галлии. Но его победа над готами при Наиссе дала античному миру передышку. Другие его государственные способности почти никак не послужили империи, потому что он исполнял обязанности ее главы всего год; тем не менее было бы несправедливо сомневаться в их наличии только потому, что Клавдий имел несчастье попасться на язык панегиристам. Подлинная хвала ему — та гордость, с которой иллирийские всадники называли себя его соотечественниками, и та уверенность, которую его победа вселила в слабые города и провинции, осмелившиеся защищаться от варваров. Испания отдала Тетрика на волю Клавдия.

У Клавдия был замечательный брат, Квинтиллий, которого сенат провозгласил императором из почтения к Клавдию. Но на смертном одре сам Клавдий в присутствии военачальников объявил своим преемником Аврелиана, и армия тут же признала его выбор. В духе времени Квинтиллий незамедлительно вскрыл вены.

Аврелиан, родом из окрестностей Белграда, выглядел более варваром, нежели его предшественник, но, в сущности, он вряд ли меньше годился для трона. В блистательной военной кампании 272 г. он подчинил Зиновию и восток, и слава о его непобедимости незамедлительно возросла до невероятной степени. Марцеллин, губернатор Месопотамии, которого армия вынуждала принять императорский титул, сам сообщил о происходящем Аврелиану. Антиохийцев, служивших глупым владыкам Пальмиры, Аврелиан, наказав бунтовщиков, не тронул. Но богатого Фирма, возвысившегося в Египте, Аврелиан приказал распять как разбойника, явно для того только, чтобы продемонстрировать глубокое и древнее презрение римлянина к египтянам. Тетрика, который находился в невыносимо тяжелой ситуации из-за своего ложного положения в армии и который предал собственное войско в сражении при Шалоне (272 г.), Аврелиан в качестве утешения взял к себе на службу. Если к битвам за объединение страны прибавить еще непрекращавшиеся победоносные бои с варварами, мы поймем, какую прекрасную школу военного искусства прошла страна при Аврелиане. Самые заметные его преемники учились у него и у Проба.

Взаимоотношения Аврелиана и сената предстают в значительно менее благоприятном свете, примерно в том же, что и в случае Септимия Севера. Император возложил на сенат ответственность за все заговоры и волнения в столице и велел казнить многих его членов. Того ничтожного числа документов, которым мы располагаем, недостаточно для вынесения более-менее оправданных суждений. Нельзя сказать, зачем Аврелиан хотел подчинить жизнь гражданина военной дисциплине и почему сенат оказался настолько глух к происходящему, что попытался оспаривать власть у защитника империи. Аврелиан по природе не был жесток, он предпочитал избегать кровопролитий, что очевидно проявлялось в критические моменты. Его называли не «убийцей», а «педагогом сената». Но в его положении только огромная сила духа могла не дать впасть в отчаяние, ослабеть и превратиться в кровожадное чудовище этому всеми презираемому правителю. Трудно даже вообразить судьбу императора той эпохи; непонятно, каким образом даже более уравновешенный человек мог выносить все это сколько-нибудь долго. О приверженности Аврелиана солнечному культу, который во времена позднего язычества был весьма распространен среди солдат, будет рассказано ниже.

Аврелиан погиб от рук заговорщиков из числа своего ближайшего окружения во время похода на персов, невдалеке от Византия. Вероятно, в этом принимал участие только один крупный военачальник, Мукапор; остальные были гвардейцы, которых личный секретарь правителя, будучи сам замешан в проступке и ожидая наказания, сумел заставить действовать с помощью поддельной подписи.

Затем полководцы сообща отправили сенату следующее сообщение: «Счастливые и храбрые войска римскому сенату и народу. Наш император Аврелиан лишился жизни вследствие коварства одного человека и заблуждения хороших и дурных людей. Причислите его к богам, безупречные и почтенные господа отцы сенаторы, и пришлите нам государя из вашей среды, но такого, кто, по вашему суждению, является достойным. Ведь никому из тех, кто находился в заблуждении или совершил злодеяние, мы не позволим властвовать над нами». Письмо делает честь всем — Аврелиану, столь благородно оправданному, сенату и армиям, поскольку из первых строк понятно, что их начальники наконец вступили в соглашение. Они помогали императору завоевывать мир, так

что это не мог быть просто beau geste[1], вызванный эмоциональным потрясением.

Но сенат, чье древнее величие было так неожиданно и блестяще признано, отверг оказанную ему честь. Сенат совершил бы большую ошибку, решившись самостоятельно назначить императора после предшествовавших военных правлений. Кроме того, Рим не забывал, что за два месяца, необходимых, чтобы письмо дошло туда и обратно, настроение восточной армии может измениться, стихийно или под чьим-то воздействием. Но войско настаивало на своем решении. Прежде чем сенат наконец сделал выбор, стороны трижды обменялись письмами. В эти полгода все высшее офицерство оставалось на своих местах; никакая другая армия не дерзнула опередить восточную в деле выбора правителя; страх, а может быть, взаимное уважение сохраняли примечательное равновесие между враждующими силами.

Если сейчас, по прошествии полутора тысяч лет, когда в нашем распоряжении имеются только крайне отрывочные данные, тем не менее нам будет позволительно высказать свое мнение, то следует, пожалуй, одобрить конечное решение сената все же выбрать императора, но необходимо прибавить, что это должен был быть один из наиболее известных, но не замешанных в убийстве военачальников, например Проб. Вместо этого был выдвинут Тацит, пожилой и уважаемый сенатор, разбиравшийся в делах армии и давно утративший восторженные иллюзии по поводу этого образца конституционализма. Радостная весть разлетелась по всем провинциям: сенат снова владеет своим старинным правом назначения императоров, а в будущем станет издавать законы, принимать клятвы верности варварских вождей, решать вопросы войны и мира. Сенаторы приносилибелые жертвы, ходили в белых тогах, а во дворцах широко распахнулись двери тех залов, где сенаторы хранили изображения своих предков. Тацит, впрочем, счел себя человеком обреченным, отдал свое огромное богатство государству и отправился к армии. Из чистого буквоедства сенат позволил Тациту провозгласить консулом своего брата Флориана. Говорят, эта возродившаяся верность конституции обрадовала императора; комментарии излишни.

Тацит одержал победу над готами и аланами на востоке. Но группа офицеров вместе с перепуганными убийцами Аврелиана сперва уничтожила Максимина, сурового сирийского военачальника и родственника императора, потом, боясь наказания, и самого императора — это случилось близ Понта. Его брат Флориан в Тарсе проявил неблагоразумие, объявив себя преемником, не посоветовавшись с сенатом или армией, словно звание императора передавалось наследству; даже если бы это было так, сыновья Тацита имели бы естественное преимущество перед Флорианом. Через несколько недель он тоже был убит солдатами.

Тем временем, избранный только армией, на трон взошел могущественный Проб. Он был соотечественник Аврелиана, и тот прочил его, по крайней мере так думали, себе в преемники. Сенат признал его без возражений. Проб оказался достаточно тактичен, чтобы успокоить несколько встревоженное учреждение, присвоив ему некоторые почетные привилегии. Перед императором предстали убийцы Аврелиана и Тацита; он объявил, что презирает их и повелел их казнить. Едва будучи избран, он объявил солдатам, чтобы они не ждали от него снисходительности и сдержал слово. Дисциплина при нем была строгая, но он тем не менее, добился ошеломляющих пбед, освьбодивших Галлию от германцев и стоивших жизни четыремстам тысячам варваров. Если бы даже эти победы всего лишь сохранили status quo, если бы Проб не смог покорить всю Германию, что было необходимым условием римской безопасности, мы не посмели бы обвинить его в этом.

От Рима и Неккара он двинулся на восток, и его генералы на далеком юго-востоке продолжали выигрывать сражения. Хотя узурпаторы не исчезли, — назовем Сатурнина, Прокула, Боноса, — но причиной их мятежей была не злонамеренность солдат, обиженных его строгостью, а, скорее, безрассудная раздражительность египтян, страх лионцев, из-за своей вечеринки имевших основание опасаться наказания, и ужас пьяных нарушителей дисциплины на границах. Так или иначе, захватчики властвовали недолго. Великий правитель, типичный солдатский император, вынашивал совершенно особый идеал. Он хотел бы добиться того — и не делал тайны из своих намерений, — чтобы окончательное поражение или ослабление варварских народов сделало войско ненужным римскому государству и чтобы началась эпоха мира и возрождения. «Historia Augusta» показывает нам его размышления над идеей сатурнианской утопии[2]. Эти идеи проникали в армию, не слишком довольную тем, что император использует ее силы для сооружений виноградников, дорог и каналов. Осушая почву на его родине, в Сирмии, солдаты

---

[1] Красивый жест (фр.).

[2] Сатурн почитался как бог золотого века, один из первых царей Лация. Он научил своих подданных земледелию, виноградарству и цивилизованной жизни.

убили его, явно непреднамеренно, и тут же пожалели об этом. Его семья, как и семьи некоторых других низложенных императоров, покинула Рим и обосновалась в Северной Италии.

В то время армия совершенно не считалась с сенатом. Высшие офицеры сами избирали правителей или руководили их избранием, о чем наглядно свидетельствует возвышение старого служаки, иллирийца Кара. Со своим младшим и достойнейшим сыном Нумерианом он немедленно отправился заканчивать войну с сарматами и возобновлять военные действия против персов. Карина, человека ничтожного, он сделал своим соправителем и передал ему верховное командование германской кампанией. Позднее император, видимо, об этом пожалел и хотел уже на место разочаровавшего его сына назначить благородного и энергичного Констанция Хлора, отца Константина; если бы это случилось, мы имели бы примечательный случай отхода от укоренившихся стремлений к созданию династии.

При таинственных обстоятельствах Кар и вскоре затем Нумериан погибли на востоке (284 г.). Замысел убийства Нумериана принадлежал Аперу, префекту гвардии. Апер не входил в состав союза военачальников и, очевидно, захватил власть одной только дерзостью. Но когда о смерти цезаря стало известно, Апер, по-видимому, утратил хладнокровие, позволил схватить себя и предстал перед военным судом, проводившимся в присутствии целой армии. Здесь, «согласно выбору полководцев и офицеров», императором был провозглашен Диоклетиан, известный военачальник; он тут же бросился на Апера, ожидавшего разбирательства у подножия трибунала, и пронзил его мечом насквозь. Пожалуй, несправедливо было бы делать вывод о причастности полководца к преступлению Апера; объяснение этого поразительного происшествия заключается в следующем: в Галлии жрица-друидка однажды предсказала, что Диоклетиан станет императором, если убьет вепря, по-латыни именуемого арег. С тех пор, когда бы будущий порфироносец ни отправлялся на охоту, он всегда выискивал кабанов; и, когда он увидел перед собой настоящего вепря, нетерпение подхлестнуло его.

Диоклетиану оставалось только сразиться с Карином. Карин не был лишен полководческих способностей; он, очевидно, без особого труда разбил узурпатора Юлиана на пути в Северную Италию (285 г.). Он боролся с Диоклетианом полгода, и вполне возможно, что в битве при Марте (невдалеке от Семендрии), которая считается решающей, он одержал победу. Но гибель ему принесла его распущенность, вызвавшая ненависть солдат. Диоклетиана незамедлительно признали обе армии. Вкупе с тем фактом, что он не сместил офицеров, не провел конфискаций и даже сохранил на посту префекта гвардии Аристобула, это может свидетельствовать о том, что с армией Карина существовала предварительная договоренность; но мы скорее готовы согласиться со старшим Аврелием Виктором, согласно которому причина — исключительно в мягкости характера и глубоком понимании ситуации, присущим их новому императору и его окружению. Сам он торжественно заявлял, что добивался гибели Карина не из честолюбия, а из соображений общего блага. В этом мы вполне можем поверить человеку, выказывавшему в других случаях такую беспримерную снисходительность.

Глава 2
ДИОКЛЕТИАН: ЕГО СИСТЕМА УСЫНОВЛЕНИЙ И ПРАВЛЕНИЕ

Исполнились знамения и оправдались предсказания оракулов, когда сын далматинских рабов, принадлежавших римскому сенатору Анулину, в возрасте тридцати девяти лет взошел на трон мира. Мать и сын получили свои имена по названию крошечного родного селения, Диоклеи, близ Каттара; теперь Диокл, «прославленный Зевсом», из почтения к римлянам присвоил обычное латинское окончание и превратился в Диоклетиана. Элемент *Дио* продолжал напоминать о царе богов, отразилось и в cognomen (дополнительном имени) императора — Иовий.

О военных достижениях, правлении и характере этого властителя (предмет, неоднократно обсуждавшийся) будет сказано в свое время. Сейчас нас интересует его особое понятие об императорской власти и то, как он берег, разделил и завещал эту власть.

Некоторым из предшествующих императоров распорядиться касательно короны помешала насильственная смерть; другие сознательно передали решение своим военачальникам. То, что Кар так бесцеремонно объявил своими преемниками сыновей, возможно, и стало основной причиной их падения. По-видимому, жена Диоклетиана, Приска, подарила ему только дочь, Валерию, и правитель вынужден был искать другое

решение проблемы наследования. Если бы в империи царил мир, вопрос этот на время можно было бы отложить; но на границах собирались тучи, а в самой стране после смерти Кара появились толпы претендентов на титул — а ведь, по сути, власть Диоклетиана была такой же узурпацией, пусть даже и признанной сенатом. Где же искать спасительное средство?

Решение Диоклетиана, с одной стороны, свидетельствует о благородстве и интуитивном понимании происходящего, с другой — кажется неожиданным и странным. Опыт предшествующих десятилетий показал, что даже наиболее деятельных правителей, спасавших империю, неизбежно погубят предательство и разгулявшиеся солдатские страсти. Этого не могли предотвратить могущественные военачальники, окружавшие императора; кое-кто и не хотел, так как честолюбие пусть и осторожно, но все же подталкивало к трону. В итоге неминуемо должна была повториться ситуация, сложившаяся при Галлиене и тридцати тиранах, и в 285 г. все указывало на ее быстрое приближение; империя снова грозила распасться, может быть, навсегда.

Диоклетиан использовал верное средство: он окружил себя преемниками и равными по званию. Так венец честолюбивых мечтаний узурпаторов стал менее достижимым, и вероятность военных восстаний сократилась. Если бы даже пал один из императоров или цезарей, но не двое или четверо, находившиеся обычно в Никомедии, Александрии, Милане и Трире, тогда неумолимым мстителям оставалось бы только дожидаться расправы. Все добрые люди быстро поняли, кого поддерживать, чтобы не искать защиты у солдат. Кроме того, структуру, изобретенную Диоклетианом, выгодно отличала от прочих возможность разделения задач между правителями. Теперь проблемы решали спокойно, вдумчиво и хорошо, в соответствии с ясным общим планом.

Но система усыновлений, созданная этим императором, остается загадкой. Проще всего было бы, конечно, усыновить несколько одаренных братьев и распределить их по провинциям, и таким образом осуществить то, чего не сумел достичь род Кара, отчасти по вине Карина; преобразовать пунктирную линию цезарей в династию, к которой по определению тяготеет любая монархическая форма правления. Боялся ли Диоклетиан, что таким образом возвеличенное семейство сместит его самого? Человека столь могучего нелегко было оттеснить. Потерял ли он веру в спасительную силу кровного родства в этот век нравственного разложения? Он сам женил цезарей на дочерях императоров. Или он просто хотел удовлетворить как можно больше амбиций? Он знал лучше любого другого, что самых опасных людей удовлетворить нельзя; вряд ли он стал бы пытаться потрафить всем и добиваться всеобщей любви. Мы попробуем ответить на поставленные вопросы, рассмотрев конкретные ситуации и причины их возникновения — очевидные или предполагаемые, хотя недостаток материала не всегда нам это позволит.

Уже в 285 г., помня о крестьянском восстании в Галлии, Диоклетиан сделал своего товарища по оружию Максимиана цезарем, а на следующий год — августом. Их родство через усыновление отразилось в новом имени Максимиана — Геркулий, взятом в честь сына Зевса. После того как они вдвоем шесть лет вели непрекращающуюся войну с варварами, мятежными провинциями и выступавшими по всей стране узурпаторами, не деля между собой империю, в 292 г. они назначили цезарями двух военачальников — Галерия и Констанция Хлора. По этому поводу Диоклетиан заявил, что «в государстве должно быть двое старших правителей, обладающих верховной властью, и двое младших, в качестве помощников». Сын Максимиана Максенций был бесцеремонно обойден; вместо того были созданы искусственные узы сыновней преданности путем женитьбы цезарей на дочерях императоров. Галерий женился на Валерии, а Констанций — на Теодоре; последняя, строго говоря, была падчерицей Максимиана. Цезари прошли школу Аврелиана и Проба. Констанций был благородного рода, со стороны матери он приходился внучатым племянником Клавдию Готскому. Галерий был крепко сложенный сын пастуха, и потому любил говорить, что мать зачала его от бога, принявшего облик змеи, или, подобно Рее Сильвии, от самого Марса. Так образовались четыре двора, четыре правительства и четыре армии. Констанций правил Галлией и Британией; Галерий — Придунавьем и Грецией; Максимиан — Италией, Испанией и Африкой; а самому Диоклетиану, источнику всей их власти, остались Фракия, Азия и Египет. Более двенадцати лет сре- ди людей столь несходных и, в некоторых случаях, столь грубых царила поистине замечательная гармония, которая становится уж вовсе необъяснимой, когда мы видим, как один из правителей принимает участие в руководстве провинцией другого или — как мало Диоклетиан щадил в своих речах вспыльчивого Галерия, даже выступая перед целой армией. Все, что исходило от Диоклетиана — планы наиболее сложных сражений, решения самых сложных вопросов, — выполнялось безоговорочно, с сыновним послушанием; нет сомнения, что душой целого был он. «На Валерия они смотрели с уважением, — говорит Аврелий Виктор, — как на отца или даже как на великого бога; насколько это прекрасно и какое имеет значение для нас, доказывается на примерах братоубийств, начиная с основателя города и до наших дней».

Решающее испытание эта преданность выдержала в 305 г., когда Диоклетиан потребовал от

императора Максими-ана отречься вместе с ним от престола, о чем они договаривались задолго до того. Максимиан подчинился, хотя и с огромной неохотой. Он смирился с тем, что при провозглашении двух новых цезарей (Галерий и Констанций стали теперь императорами) его сын Максенций снова был обойден и что он сам, почтенный победитель багаудов, германцев и мавров, при этом назначении не имел права голоса. Эту привилегию Диоклетиан сохранил исключительно для своего приемного сына Галерия; тот объявил цезарем западной части империи надежного офицера Севера, а цезарем восточной части — его племянника, Максимина Дазу. На долю Констанция Хлора выпало такое же испытание, как и Максимиану; хотя его и возвели в ранг императора, он вынужден был довольствоваться Севером в качестве будущего цезаря, вместо кого-нибудь из собственных сыновей. Христианские авторы восхваляют его благоразумную сдержанность, впрочем, совершенно зря.

В «De Mortibus Persecutorum» Лактанция, составленном вскоре после этих событий, пестро и ярко представлены личные мотивы этих поступков государственного человека. Гиббон понимал, что это не объективное повествование, что оно написано обиженным противником; в частности, неверно представлять отречение императоров как результат запугиваний Галерия. Но одна весьма примечательная деталь, вероятно, все же имеет под собой фактическое основание: Га-лерию приписано намерение отречься от престола через двадцать лет, подобно Диоклетиану, если будет обеспечено следующее правление. Автор видит в этом добровольное решение, и его жгучая ненависть к данному человеку — причина крайней неохоты, с которой он об этом рассказывает. Но если мы не дадим ввести себя в заблуждение, мы увидим работающие здесь важнейшие принципы системы Диоклетиана, которые современники смогли постигнуть лишь отчасти. Установление двадцатилетнего срока пребывания в должности императора обеспечивало основу и безопасный контроль целостности страны. Ограничения состояли в том, чтобы наложить на усыновление и наследование печать необходимости и обязательности. Но на следующий, 306 г. вся система безнадежно развалилась, так как власть захватили сыновья императоров, решившие, что они были несправедливо обойдены. Константин (Великий) при поддержке войска объявил, что он наследует своему отцу, Максенций добился для себя Италии, и даже старый Максимиан позабыл о своей нежеланной отставке, чтобы помочь сыну. Это нарушение установленной Диоклетианом преемственности обратило в ничто все принятые им меры, и империя, как он полагал, оказалась обречена. Естественно, что глубокой скорбью были полны последние годы его жизни, которые он провел, больной и усталый, в чертогах дворца в Салонах, замышлявшегося как римский военный лагерь.

Вообще говоря, идеальная система государственной власти, как она представлялась Диоклетиану, являет собой нечто довольно странное и в своем роде замечательное. Рассматривая возможные результаты правления военачальников (к которым относились все императоры той эпохи), мы должны приготовиться к интересным открытиям; нельзя с точностью утверждать, что из опыта современной Европы пригодится нашим потомкам. Двойной двадцатилетний срок с принудительной отставкой; назначение цезарей; особые привилегии для старших императоров; вечно раздраженные и обиженные пренебрежением к их сыновьям отдельные правители — так создавалась искусственная династия. В результате принципиального разделения власти обеспечивалась определенная ее безопасность, и задача узурпатора, пришедшего извне, становилась бесконечно более трудной при наличии четырех правителей, нежели одного, — но как было предотвратить захват власти внутри самого императорского дома? Это лишь немногие из загадок, на которые Диоклетиан не дал ответов.

Для их решения недостаточным будет только выяснение политических и психологических причин. Отсутствующий элемент восстанавливается путем введения фактора религиозных суеверий, которые управляли всеми мероприятиями императора, пронизывая их.

О значении предзнаменований и пророчеств в жизни Диоклетиана уже упоминалось. О нем говорят как об «испытателе грядущего», «всегда следующем священным обычаям». Мы видим, как он, окруженный жрецами, усердно изучает внутренности жертвенных животных, исполненный беспокойства по поводу зловеще сверкнувших молний. Он обращал внимание на разные знаки даже в том, что касалось личных имен. Галерий должен был взять имя Максимиана, чтобы обеспечить магическую связь со старшим Максимианом, преданность которого была доказана; по той же причине молодой Даза принял родовое имя Максимина. Очевидно, император претендовал на особые отношения с божеством, имя которого он носил; Юпитер очень часто появляется на аверсе его монет. Акт его отречения совершился под колонной со статуей Зевса в чистом поле близ Никомедии, и привлекает внимание восьмигранный храм этого бога в резиденции Диоклетиана в Салонах. Его официальные объявления также отличаются заметной религиозной окраской; вступление к закону о браках 295 г. читается как проповедь, и закон 296 г. против манихеев дышит личным чувством.

Его соратники были почти так же суеверны, без чего, впрочем, трудно было бы объяснить столь длительную их покорность. Они, конечно, прекрасно понимали, что своим возвышением обязаны исключительно мистическим соображениям. Что за удивительные тревоги, совершенно нам непонятные, предшествовали усыновлениям Диоклетиана! Например, во сне ему являлся некто и тоном, не терпящим возражений, повелевал выбрать в качестве преемника конкретного человека, чье имя называлось. Диоклетиан считал, что против него применяется магическое воздействие, и в конце концов вызывал этого человека и говорил ему: «Получай власть, которой ты требуешь у меня каждую ночь, и не докучай своему императору, когда он отдыхает!» Мы не знаем ни того, к кому относится этот дворцовый анекдот, ни того, правдив ли он; тем не менее он, конечно, весьма показателен.

Максимиан был великим, по крайней мере способным, полководцем, и Диоклетиан, возможно, просто оказал ему уважение, как давнему поверенному своих высоких планов; но вполне может быть, что решающим фактором в его возвышении стала дата его рождения, совпадавшая с датой рождения Диоклетиана. Касательно Константина мы можем предположить с известной долей уверенности, что провозглашение его цезарем состоялось исключительно благодаря пророчеству жриц-друидок.

Констанций, как уже говорилось, был родом из Далматии; Максимиан — сын крестьянина из Сирмия (Митровица-на-Саве), родины мужественнейших императоров III столетия; Галерий был пастухом, родом из Дакии или Сардики (теперь София в Болгарии); Максимин Даза, по-видимому, из тех же земель; Констанций Хлор во время рождения сына Константина находился в Ниссе, в Сербии; Лициний, позднее выступавший как друг Галерия, был крестьянином из Нижнего Придунавья; родина Севера неизвестна. Есть вероятность (но нет объективных данных), что этих властителей связывала особая местная религия или ряд поверий. По поводу отречения Максимиана мы знаем только формулу, произнесенную им в храме Юпитера Капитолийского (находившегося, очевидно, в Милане): «Возьми назад, о Юпитер, то, что ты даровал». Обеты, жертвы и дары храмам, возможно, заменяли Диоклетиану то, для чего политическим его мероприятиям недоставало действенности и стабильности.

Читатель, не желающий принять наше объяснение, может предположить, что в случае с возвышением Максимиана Диоклетиан не мог отказаться от сотрудничества с человеком *с* его талантом к военному делу, а сына Максимиана Максенция обошел вниманием потому, что Галерий долго враждовал с ним. Однако согласуется ли подобный способ действий с характером Диоклетиана и его бесспорными качествами властителя — вопрос спорный. Есть некая глубинная значимость в его постановлениях, особенно в ограничении императорской власти определенным сроком. Если другие рассматривали эту власть как источник удовольствий, то Диоклетиана в этом обвинить было нельзя; он видел в ней долг и огромную ответственность, от которой следует держать в отдалении детей и стариков — для их же собственного блага и для блага империи. В то же время бралось в расчет разумное честолюбие цезарей — теперь они могли высчитать день и час, в который (если ничего не случится в промежутке) они получат трон. С чувством человека, который знает время своей смерти, через каждые пять лет император справлял сперва квинквенналии, затем деценналии, затем квиндеценналии; неумолимо приближались виценнналии, когда он должен был сбросить пурпур. Такова была воля «всемогущих богинь судьбы», которых славили монеты, выпущенные в год отречения. Что его преемников уже ничто не связывает, Диоклетиан прекрасно понимал; но, по-видимому, он хотел подать пример. Более того, только установленный законом двадцатилетний срок мог гарантировать, что сыновья императоров останутся в стороне, что было бы невозможно при неограниченном сроке правления. Остается вопросом, было ли благоразумно умножать таким образом враждебные, разрушительные элементы в стране, где из-за строго фиксированного срока правления восстание вполне могло оказаться успешным; но были и средства противостоять мятежу. Во время болезни, предшествующей отречению Диоклетиана, в течение полутора месяцев люди не знали, останется ли он вообще жив; тем не менее ни один меч не поднялся против него в государстве, где царил порядок.

Интересно заметить, что те же проблемы и те же процессы имели место в государстве Сасанидов, недружелюбного соседа империи на востоке. О Бахраме III, находившемся у власти в течение всего нескольких месяцев 293 г., авторитетные источники в первую очередь сообщают, что у владыки Персии наследником, которого он сам избирал, был сын или брат, временно исполнявший должность начальника области и носивший титул шаха; сам Бахрам, пока был жив его отец Бахрам II, именовался просто шахом Сегана или Систана. После его короткого царствования, по-видимому изобиловавшего жестокими возмущениями, на трон вступил его младший брат Нарси, который затем провозгласил своим наследником сына Хормуза и в 301 г. удалился на покой, в тишину частной жизни, «под тень благости Бога». Согласно Миркхонду, на этот шаг его подвигли мысли о смерти, «чья пора записана в вечном законе и которой нельзя избегнуть». Возможно, маги предсказали

точный час его смерти и этим лишили его радости жизни. Но существует также предположение, что Нарси хотел избежать превратностей царской судьбы, о которых он получил богатое представление, ведя войны с римлянами. «Путь долог, — говорил он, — часто человек должен подниматься, и часто — спускаться вновь». Нет ничего невозможного в том, чтобы пример Нарси оказал свое влияние на Диоклетиана.

Торжественной пышности и всему, что сопутствовало религиозности, наполнявшей жизнь Диоклетиана, сродни внезапное поразительное усложнение дворцового церемониала. Старший Аврелий Виктор предпочел объяснить это развитие тем, что для выскочки Диоклетиана естественна была жажда внешнего блеска. Но в таком случае странно, что никто из великих солдатских императоров III столетия, при том, что практически все они взошли на трон, будучи незнатного рода, не стал здесь его предшественником. К примеру, мы видим, как могущественный Аврелиан запросто общается со всеми своими старыми друзьями и удовлетворяет их нужды, так что они выходят из нищеты. Шелковые одежды казались ему слишком дороги, и он хотел прекратить использование золота для украшения зданий и тканей. Он легко мог позволить приобретать дорогостоящие и недолговечные безделушки другим, но не себе. Своих слуг он одевал не более пышно, чем одевался сам, прежде чем стал императором. Аврелиан неуютно себя чувствовал в роскошном дворце на Палатинском холме, чьи стены из цветного мрамора были запятнаны кровью многих властителей; подобно своему предшественнику, Веспасиану, он предпочитал сады Саллюстия, и ежедневно можно было видеть, как среди их просторов он тренируется сам и испытывает возможности своих лошадей. Теперь все изменилось. У Диоклетиана оставались давние друзья, но доверие было утрачено, возможно, с обеих сторон; он имел причины опасаться, что близость с третьими лицами нарушит искусственно созданную гармонию между людьми, равными ему по положению. Вместо обычного пурпура, которым удовлетворялись почти все его предшественники, исключая безумных императоров, Диоклетиан после *293 г.* носил шелковые, шитые золотом одеяния, и даже обувь его декорировалась драгоценными камнями и жемчугом; голову же его украшала диадема, белая полоска, усаженная жемчужинами. Естественно, было и парадное облачение, которое он надевал лишь в торжественных случаях. Во время стремительных маршей и походов он и Максимиан придерживались совершенно другого стиля, так же, как и цезари, перенимавшие все на лету; в особенности простоте был предан Констанций. Но в Никомедии Диоклетиан требовал пышности. Доступ к его священной особе с каждым днем оказывался все труднее из-за усложнения церемониала. В передних дворах и коридорах дворца стояли военные чины, придворные и гвардейцы; во внутренних покоях властвовали могучие скопцы. Если чье-либо дело или звание открывали доступ к императору, посетитель должен был, следуя восточному обычаю, пасть ниц при приветствии. Даже о церемонии при встрече Диоклетиана с Максимианом в Милане (291 г.) панегирист Мамертин говорит: «Преклонение лелеемо в потайных комнатах святилища, и сила его удивит и восхитит лишь тех, кому титул и звание даруют доступ к вашей особе».

Изменения не ограничились безгласными проявлениями; прозвучала и настоящая критика. Император более не именовал себя титулами республиканского Рима, потерявшими всякое содержание, то есть консулом, трибуном и так далее; теперь он называл себя Dominus (Господин). Римлянин никак не мог примириться со словом Rex[1] из-за связанных с ним неприятных ассоциаций. Греки всегда использовали царский титул, говоря о Спарте и соседних полуцивилизованных странах, и сами в течение

столетий называли так преемников Александра; с самого начала они звали римских императоров царями, поскольку им незачем было пытаться сохранять видимость республиканского правления. Но теперь царского титула оказалось недостаточно, и, чтобы выразить отношения между абсолютным властителем и подданными, был введен другой. Теперь уже подлинное обожествление стало вопросом времени. Сенат пользовался правом канонизации умерших императоров, при том, что та же честь оказывалась живым правителям, — перед их статуями приносились жертвы и давались клятвы, в связи с чем употреблялось двусмысленное и потому непереводимое выражение numen imperatoris[2]. Максимиан и в самом деле велел изобразить себя на монетах в львиной шкуре своего божественного покровителя — слабость, которую он разделял с Коммодом и другими своими высокопоставленными предшественниками.

Человек столь значительный и опытный, как Диоклетиан, не принял бы бремя такого положения без достаточных оснований. Больше того, мы знаем, что он часто жаловался на недостатки уединенной жизни. Он сознавал, какие огромные выгоды может извлечь правитель из

---

[1] Царь (лат.).

[2] Numen (лат.) означает одновременно «божество», «изображение божества» и «воля».

личных контактов со своими подданными — от высших чинов до простых жалобщиков. «Собираются четверо-пятеро человек, — говорил Диоклетиан, — договариваются между собою обманывать императора и подсказывают ему, что он должен утвердить. Император, запертый в своем доме, не знает истины. Он вынужден знать только то, что говорят ему эти люди; он назначает судьями тех, кого не следовало бы назначать, отстраняет от государственных дел тех, кого он должен был бы привлекать. И так будет обманут даже лучший и мудрейший из императоров».

Можно, впрочем, догадаться, что заставило Диоклетиана принять эти ограничивающие его свободу меры, несмотря на ясное понимание их невыгод. После военных кампаний Аврелиана и Проба двор, а в особенности генеральный штаб, переполнили, вероятно, офицеры из варваров, которые, будучи разного происхождения и не получив римского образования, не могли присоединиться к приятной атмосфере товарищества, царившей некогда при императорском дворе. Кроме того, до начала эпохи великих гонений множество должностей занимали христиане; и торжественность дворцового церемониала предупреждала неприятные инциденты с язычниками. Конечно, присутствовала здесь и известная склонность к напыщенности, проявлявшаяся также в эдиктах; но тот факт, что император отложил до конца правления (303 г.) триумф, единственный после серии блистательных побед, и что праздновался этот триумф довольно скромно, показывает, как мало двигали им простое тщеславие и любовь к показному блеску.

Диоклетиан отошел от римских традиций в нескольких отношениях. В частности, с самого начала своего царствования он не проявлял особого интереса к городу Риму. В течение всего III столетия императоры, как правило, жили на Палатинском холме, думается, не столько из-за святости прошлого, не столько из-за храмов столицы мира, сколько из-за того, что центральное положение, великолепие, выбор имевшихся в распоряжении удовольствий делали этот город наиболее подходящим для роли императорской резиденции, и еще потому, что, даже если забыть о былых притязаниях, здесь еще оставались следы подлинного могущества. Ибо в Риме находился сенат, который совсем недавно смещал, назначал и утверждал императоров. Никто, кроме Элагабала, не осмеливался изгнать сенат из города. Многие втаптывали в грязь достоинство этого учреждения и пытались развалить его; умнейшие правители умели добиваться взаимного согласия. Страх перед народными волнениями и мятежом оставшихся преторианцев был одним из самых незначительных оснований уважать сенат, по крайней мере у наиболее одаренных правителей; для слабого властителя опасностей в Риме было столько же, сколько и за его пределами.

Но когда требования обороны границ потребовали разделения императорской власти, Рим уже не мог оставаться местом пребывания только одного из двух или четырех правителей. Безопасность рубежей империи взяла верх над сохранением сердечных отношений с сенатом, которые правитель с истинно римскими настроениями все равно бы так или иначе удержал. Максимиан выбрал в качестве своей резиденции Милан, который в результате натиска алеман-нов, приободрившихся после смерти Проба, стал почти пограничной крепостью. Это был хорошо обдуманный шаг, так как, с одной стороны, любое расположение войск южнее Альп позволяло обезопасить Галлию, а с другой стороны, Милан давал возможность наблюдать за Италией или вторгнуться в Африку. Цезарь Констанций, который вел продолжительную войну, чаще всего появлялся в Три-ре, а позднее — в Йорке. Диоклетиан обосновался в Вифинии, а именно — в Никомедии, у глубокого залива Мраморного моря. Оттуда он мог контролировать передвижения готов и других понтийских племен, угрожавших низовьям Дуная; в то же время он находился неподалеку от верховья Евфрата, где продолжались стычки с персами. В первые годы его правления постоянных резиденций у правителей, конечно, не могло быть; оба августа постоянно торопились с одного поля битвы на другое, как и цезари. Это, однако, не повлияло на почти болезненную страсть Диоклетиана к строительству. Он превратил четверть Никомедии в огромный, тщательно распланированный дворец, за модель которого, как и позднее — дворца в Салонах, был, вероятно, взят военный лагерь. Там имелись базилики, цирк, монетный двор, арсенал и отдельные дома для жены и дочери императора. Естественно, город рос, как это свойственно всем королевским резиденциям. Известно, что в начале IV столетия Никомедия составляла примерно четверть (regio) Рима. В Милане большинство зданий, которыми восхищался поэт IV века Авзоний, предположительно были выстроены Максимианом.

Рим, разумеется, не мог не ощутить изменения своего положения, даже если внешне он ничего не утратил. Враждебно настроенный автор (Лактанций) сообщает, что Максимиан набросился на имущих сенаторов, ложно обвинив их в честолюбивом стремлении к власти, так что на долгое время огни сената потухли, а глаза — ослепли. Попытки обвинять или оправдывать тех или других бессмысленны. В хронике Зосимы, единственного, кто более-менее правдиво и полно описал и оценил характер Диоклетиана, наличествует лакуна в двадцать лет. Может быть, ревностные христиане сочли отчет о последнем великом гонении слишком снисходительным к гонителю и решили, что легче исказить текст, чем опровергать его, так же, как язычники того времени

изуродовали работу Цицерона «О природе богов», чтобы не дать христианам опереться на нее в своем споре с политеизмом.

Напряжение между сенатором и императорами возникло потому, что Диоклетиан и сам стал августом, и выбрал себе помощников без всякого участия сената. Последнему оставалось только признать их и, дабы соблюсти формальности, время от времени даровать им консульские титулы. К этой его привилегии Диоклетиан питал столь мало уважения, что однажды уехал из Рима за несколько дней до церемонии своего вступления в должность. На встрече императоров в Милане в 291 г. присутствовала депутация сенаторов — видимо, в знак верности. Панегирист Мамертин провозгласил в присутствии Максимиана: «Сенат даровал отсвет своего величия Милану, так что теперь, когда здесь встретились два императора, он обретет значение центра империи». Слова эти звучат не вполне дружелюбно, и мы не знаем, как они были приняты; но как бы то ни было, это означает, что в тот год отношения между сенатом и императорами еще не были открыто враждебны. Когда и как они ухудшились, остается загадкой. Максимиан по природе был жесток и вероломен, да и Диоклетиан не удержался бы от того, чтобы преступить закон, когда это могло принести пользу. Оба находили «свободную, если не дерзкую манеру говорить» римлян в высшей степени безвкусной. Особенно не понравились новым правителям заранее подготовленные, скандировавшиеся ритмически лозунги, которыми в цирке народ и сенаторы в торжественном облачении выражали свою преданность или произносили предостережение императорам. Конечно, без достаточных оснований они не пожертвовали бы главами сената, если, конечно, дела и впрямь зашли так далеко и наш автор не раздул, по своему обыкновению, несколько незначащих деталей в чудовищное преступление.

Но к населению Рима (чтобы избежать профанированного выражения «народ Рима») Диоклетиан и его помощники впоследствии выказывали всяческое благоволение. Как если бы город нуждался в местах увеселений, они возвели на Виминале самые большие из всех римских бань (299 г.). Среди десятка или около того бань, построенных предыдущими императорами или отдельными филантропами, наиболее впечатляли бани Каракаллы с их гигантскими залами. Строительное искусство не в силах было состязаться с их ошеломляющими сводами, но Диоклетиан превзошел Каракаллу в отношении площади. Периметр его бань составлял тысячу двести шагов, в них было три тысячи комнат. Центральное здание, чьи гранитные колонны имеют в окружности пятнадцать футов, ныне — сердце картезианской церкви; в немалом удалении можно обнаружить руины других помещений, среди монастырей, виноградников и заброшенных улочек. В том же году Максимиан начал сооружение бань в Карфагене, вероятно, с той же целью — умиротворить народ. В прошлом Карфаген был основной площадкой для первого выступления узурпаторов. Следует упомянуть другие постройки, осуществленные в период этого правления. Так, сенаторский дворец, сожженный в царствование Карина, форум Цезаря, базилика Юлия и театр Помпея были восстановлены; появились и новые здания — помимо бань, два портика в честь Юпитера и Геркулеса, три статуи нимф, храмы Изиды и Сераписа и триумфальная арка. Возможно, многочисленные роскошные здания, построенные Диоклетианом для недоброжелательных и опасных антиохийцев, долженствовали отвлечь их внимание от политических забот. Ко вновь возникшим зданиям в Антиохии, известным по названиям, относятся храмы Зевса Олимпийца, Гекаты, Немезиды и Аполлона, дворец в городе и в пригороде под названием «Дафна», несколько бань, зернохранилищ и стадион; большинство из них были построены заново, некоторые просто отреставрированы.

В Риме не прекращались публичные раздачи хлеба и игрища; только после отречения в 305 г. Галерий осмелился отменить все особые привилегии древней владычицы мира. Но Диоклетиан, как уже говорилось, оскорбил Рим иначе. Позади его бань, окруженных с трех сторон стеной Аврелиана, расположен большой виноградник, позднее — собственность иезуитов, где вдоль стены идут полуразрушенные арки. Некогда это был преторианский лагерь, обитатели которого так часто поднимали на острия своих мечей императорский пурпур. Ранее делалось много попыток распустить их и избавиться наконец от этой угрозы; но в III веке восстановилось, по-видимому, изначальное положение вещей, то есть к окрестностям Рима и прилегающим областям Италии оказалось приписано несколько тысяч воинов; они рассматривались теперь не как императорская гвардия, а как столичный гарнизон. Теперь Диоклетиан значительно сократил их число, конечно, не просто из страха перед беспокойными и требовательными итальянцами, составлявшими основу этого корпуса, но также из соображений экономии и потому, что в результате происходивших событий место их заняли другие воинские подразделения. Империю спас ряд иллирийских императоров, открытый Децием; ничего удивительного, что за тридцать лет войны их окружила группа преданных соотечественников, которые были ближе императорам, чем преторианцы — латиняне и сабиняне. В пользу иллирийцев говорило и то, что они умело обращались с национальным оружием. Из них были составлены два легиона, каждый по шесть тысяч человек, удостоенных чести именоваться иовианцами и геркулианцами — по дополнительным

именам императоров; до того они назывались мартиобарбулы — по свинцовым шарам, пять штук (или пять пар) которых были прикреплены к щиту каждого из них и которые они могли метать со скоростью и силой стрелы. Теперь им официально отдавалось предпочтение перед всеми другими легионами, но это не значило, что они все время квартировали рядом с особой императора. Хотя преторианцы вызывали в Риме по большей части страх и ненависть, их роспуск стал расцениваться как умаление могущества города. Ненависть объединяет, и несколько преторианцев, оставшихся в лагере, впоследствии приняли участие в восстании против Галерия, достигнув взаимопонимания с сенатом и народом.

Римляне могли сетовать и терзаться по поводу такого поворота событий, но фактически им не причинили никакого вреда. Их глубокое заблуждение, что император продолжает оставаться магистратом и представителем местной римской или даже итальянской жизни и народа, должно было наконец рассеяться. Если бы Диоклетиан и не ознаменовал завершение эпохи первенства Рима, перенеся императорскую резиденцию, введя восточный дворцовый церемониал, пренебрегая сенатом и сократив число преторианцев, христиане вскоре осуществили бы то же самое на свой лад, ибо они нуждались в новых центрах сосредоточения сил. Нужно также иметь в виду, при каких тяжелых и страшных обстоятельствах возымели свое действие нововведения Диоклетиана — в то время он и его помощники обороняли империю на всех рубежах и по кусочку вырывали ее из рук узурпаторов; нельзя забывать об этом, оценивая его деятельность.

Его дворцовый церемониал пользовался успехом, что свидетельствует о наличии в Риме людей, готовых принять такое нововведение. В переходный период, каким было правление Диоклетиана, император испытывает потребность в публичных похвалах; чистая военная деспотия вполне может обходиться без такого рода признания, презирать его, а то и отвергать. Но люди только что расстались с эпохой античности, когда все участвовали в общественной жизни или, по крайней мере, интересовались ею, когда политика была человеку необходима, как воздух. Образование оставалось сугубо риторическим, публичные выступления имели в жизни человека такое значение, какого не сможет представить себе наш современник. К этим выступлениям относились панегирики, произносившиеся на ежегодных праздниках или по другим торжественным случаям известнейшим оратором города или области в присутствии императора или другого высшего должностного лица. До нас дошел знаменитый «Панегирик Траяну» Плиния Младшего; за ним, после длительного перерыва, как это обычно бывает, идет сборник хвалебных речей в честь соправителей Диоклетиана и последующих императоров. В качестве исторических источников эти произведения ораторского искусства должны, естественно, использоваться с осторожностью; но они все же сообщают нам много ценного, и ими ни в коем случае нельзя пренебрегать как литературными памятниками. Их льстивость, конечно, является результатом развития стиля, свойственного утраченным панегирикам III столетия. С реалистичностью, почти переходящей в грубость, ритор отождествляет себя с императором, который при этом сам присутствует при речи, и представляет его в наиболее возвышенных выражениях. По очереди он обожествляет мысли, идеи и чувства правителя; здесь оратор, искусный в дворцовых делах, проявляет сдержанность, поскольку даже идеализация выдумки без крупицы правды может оказаться нескромной. Но все уравновешивает переполняющее текст множество откровенных, исступленных восхвалений, рассчитанных на то, чтобы ублаготворить Максимиана — хотя Максимиан едва ли достаточно образован, чтобы уловить все приятные аллюзии и ассоциации. Старательно обыгрывается второе имя Максимиана — Геркулий, и в историю его жизни постоянно вплетаются параллели с жизнью Геркулеса; но даже доблесть полубога оказывается недостаточна, ибо его победа над Герионом — мелочь в сравнении с победой Максимиана над багаудами. Сравнение с Юпитером, обычно приберегаемое для старшего императора, заводит панегириста еще дальше; детство Юпитера, как и Максимиана, взраставшего на берегах Дуная, полнилось сигналами военной тревоги. Без устали нанизывает оратор образ за образом, воспевая согласие императоров: царство их слияние, как для двух глаз — дневной свет; поскольку они рождены в один день, они подобны близнецам Гераклидам, правившим в Спарте; Рим теперь счастливей, чем при Ромуле и Реме, из которых один убил другого; Рим теперь может называться и Геркулией, и Иовией одновременно. Как историю Геркулеса использовали для прославления Максимиана, так миф о Зевсе прилагали к Диоклетиану, особенно что касалось вездесущности царя богов, с которой, казалось, соперничали стремительные перемещения императора. Но сквозь мерные каденции периодов эхом отдается явное, бесстыдное предпочтение Максимиана, которое, быть может, и любил слушать с непроницаемым лицом этот император. «Приняв должность соправителя, ты дал Диоклетиану больше, чем получил... Ты

соперничаешь со Сципионом Африканским; Диоклетиан соперничает с тобой». Мамертин дерзает возгласить нечто подобное перед всем двором в трирском замке. Конечно же такие фразы перемежал обильный поток цветистой лести, предназначенный обоим императорам. «Как Рейн может спокойно осушить свое русло после побед Максимиана за его берегами, так Евфрату незачем более защищать Сирию теперь, когда Диоклетиан перешел его... Вы оба отложили свои триумфы во имя новых побед; вы всегда стремитесь к еще величайшему». Значительно меньшие достижения так же смело раздувались. По случаю встречи 291 г., когда Диоклетиан примчался в Милан с востока, а Максимиан в разгар зимы пересек Альпы, Мамертин провозглашал: «Тому, кто не путешествовал с вами, легко поверить, что Солнце и Луна одолжили вам дневную и ночную колесницы. Могущество вашего величия уберегло вас от мороза. Нежные весенние зефиры и солнечное тепло сопутствовали вам там, где до сих пор все укрыто льдом. Презираю тебя, Ганнибал, прошедший через Альпы!» В связи с этим цветистым образом следует заметить, что годы правления этих императоров были отмечены неожиданным плодородием почвы. За несколько лет до того поэт Кальпурний Сикул в еще более явном буколическом тоне воспевал цезаря Нумериана (в восьмой или четвертой эклоге): в его присутствии леса благоговейно смолкали, ягнята веселей резвились, овечье руно делалось пышнее, а молоко — обильнее, поля и сады начинали буйно цвести, ибо внутри его смертной оболочки скрывался бог и, может быть, сам верховный Юпитер.

Образованного цезаря Констанция Хлора оратор Евме-ний воспевал более утонченно. Так, он говорит, что галльское юношество непременно должно созерцать огромную карту мира, нарисованную на стене в отенском здании, расположенном между храмом Аполлона и Капитолием с его святилищем Минервы. «...Пусть они представляют себе то Египет, очнувшийся от своего безумия под твоим милостивым правлением, Диоклетиан Август, то мавров, сраженных твоими молниями, о непобедимый Максимиан, то Батавию и Бретань, под твоей десницей снова возносящих свою главу из лесных дебрей и топей, о владыка Констанций, то тебя, цезарь Максимиан, попирающего ногами персидские луки и колчаны. Теперь мы можем с радостью созерцать картину мира, именно теперь, когда мы не видим на ней ни одной земли, принадлежащей чужестранцам». За вдохновенное описание золотого века мы проща- ем оратору все его символические ухищрения, которые он изобретает ради восхваления самой системы правления четырех. Он прозревает в числе четырех основной принцип космического порядка, проявляющийся в наличии четырех стихий, четырех времен года, даже четырех континентов. Не случайно искупительная жертва совершается по прошествии четырех лет; в небесах четверка лошадей мчит колесницу солнца; а двум великим небесным светильникам, солнцу и луне, сопутствуют два меньших светоча — утренняя и вечерняя звезда. Если где-нибудь в Галлии раскопают мозаику, в которой все эти образы объединятся в стройную художественную композицию, в этом не будет ничего удивительного. Изобразительное искусство и риторика часто прибегали к схожим средствам для решения подобных задач. Евмений, к слову, отличался от прочих панегиристов не только тактом и талантом; мы видим в нем честного патриота, который льстит не ради личной выгоды. Здесь, как и в тысяче других случаев, суд историка должен определить, в какой степени на отдельного человека повлияли эпоха и окружение, а что он совершал по собственной воле.

Стали ли при дворе Диоклетиана изъясняться подобострастнее, наводнили ли речь льстивые фразы — этого мы не знаем. В любом случае требования церемониала, поскольку они относились к особе императора, оставались довольно-таки простыми и невинными. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с дворцовой процедурой в поздней Византии, где в X веке император Константин Багрянородный был вынужден сам исполнять обязанности гофмейстера и составил систематический трактат, дабы современникам и потомкам дать направление в запутаннейшем лабиринте священных обычаев, узам которых, после того как церковный и дворцовый церемониал переплелись и обогатили один другой, постепенно подчинялись блаженные, любимые Богом автократоры.

Если, начинаясь от трона, иерархичность титулов и чинов постепенно пронизала все римское общество, вина за это лежит не только на Диоклетиане. Это был неизбежный результат окостенения, охватившего античный мир. Долгое время управление строилось почти исключительно по военному образцу. Такой режим всегда моделирует государственный механизм по своему подобию; основа его — субординация, и общество должно подчиниться системе чинов и степеней, со зримыми и четкими границами уровней. Многие организации такого рода, создание которых приписывается Диоклетиану, с тем же успехом могли быть учреждены его предшественниками. Полное преображение государства осуществилось только при Константине.

Диоклетиан значительно увеличил число чиновников. Это бремя умножили не столько четыре двора, сколько четыре управляющих аппарата. Согласно Лактанцию, Диоклетиан подлежал следующим страшным обвинениям: «Он назначил даже трех соучастников своего правления, поделив мир на четыре части и увеличив войско, так как каждый из них стремился иметь значительно больше воинов, чем было у прежних принцепсов, руководивших государством в

одиночку. Число взимающих настолько стало превышать число дающих, что колоны, разоренные непомерными повинностями, забрасывали поля, и хозяйства превращались в леса. А чтобы разоренные были исполнены страхом, провинции также были без толку разрезаны на куски. Множество чиновников и должностных лиц стали править в отдельных областях и чуть ли не в городах так же, как и многочисленные казначеи, магистры и викарии префектур. Из-за них всех частные дела стали чрезвычайно редкими, а частыми только лишь штрафы и проскрипции, бесчисленные же повинностные дела даже не частыми, а постоянными, и в том, что касалось податей [царило], невыносимое беззаконие». Диоклетиан, кроме того, скопил неограниченные богатства.

Теперь стоит выслушать христианина, который со своей стороны не менее пристрастен, чем Лактанций. Вот что говорит Евсевий: «Какими словами описать изобильные и благословенные времена перед началом гонений, когда императоры дарили нас миром и дружбой, и празднование двадцатилетнего срока их правления проходило в совершенном спокойствии, с торжествами, зрелищами и пиршествами». Нельзя ли хотя бы частично снять обвинения Лактанция?

Рост армии при Диоклетиане был абсолютно необходим, ибо, как будет видно, он должен был вырвать пол-империи из рук узурпаторов и варваров. Какая сила требовалась для этого, никто не может судить лучше его. Касательно объемов роста численности войск сведениями мы не располагаем; кто хочет, может поверить сочинителю, утверждавшему, что армия Диоклетиана более чем в четыре раза превосходила армию Аврелиана и Проба.

Теперь разберем обвинение в стяжательстве, обвинение, которого не избежал ни один властитель. Многие правители действительно собирали огромные запасы драгоценного металла, ошибочно веря в его абсолютную ценность, и не могли заставить себя вовремя и с пользой его потратить. Восточные деспотии в особенно сильной степени заражены этой болезнью, и подданные следуют примеру своего деспота и зарывают в землю каждую серебряную мелочь. Но вряд ли действия Диоклетиана можно объяснить скупостью. Расходы на восстановление и перестройку раздробленной империи явно были слишком велики, чтобы еще какой-то неестественно огромный излишек оставался в виде сокровищ. Одни только требования обороны границ, крепости, протянувшиеся от Нидерландов до Красного моря, вместе с их гарнизонами, уже делали невозможным наличие какого бы то ни было излишка даже в поздний и более мирный период правления Диоклетиана.

В то время империи приходилось напрягать все силы, а когда цели столь грандиозные достигаются настолько успешно, как это в целом было в случае Диоклетиана, правителя можно избавить, по крайней мере, от заурядного обвинения, что он мучил людей только затем, чтобы присвоить себе их золото и серебро. Бесчисленные здания, им построенные, в самом деле могут вызвать подозрения в расточительности, но основное их количество представляло собой, по-видимому, политические дары конкретным городам, с помощью которых можно было уменьшить нужды гарнизонов. По сравнению с действительно расточительным строительством Константина подобного рода расходы Диоклетиана незначительны. Дворец в Салонах занимает большую площадь, это правда, но отдельные его комнаты не примечательны ни высотой, ни объемом и не могут сравниться с гигантскими залами римских бань. Очень возможно, что при восстановлении Никомедии производились некоторые конфискации, как это было, когда основывали города правители периода эллинизма, и как это еще будет, когда начнется восстановление Византия; но полагать, что Диоклетиан возлагал все столичные расходы на первого встречного владельца ухоженного поместья и симпатичного домика, может только очень легковерный человек. Весьма печально, что многие процветавшие люди были разорены из-за жестокой нужды в деньгах; но это, конечно, дело рук жестоких чиновников, от которых правительство страдало задолго до времен Диоклетиана.

Новое деление империи на сто одну провинцию и двенадцать диоцезов, разумеется, не было бы им проведено без достаточных оснований, да и число должностных лиц не возросло бы без нужды. Сам Диоклетиан был самым трудолюбивым магистратом в своей империи. Помимо военных походов, он постоянно в спешке ездил с места на место, везде принимая необходимые решения. Его перемещения в 293—294 гг., например, могут быть описаны почти неделя за неделей и день за днем по датировке его рескриптов. Своды законов содержат более тысячи двухсот его рескриптов по предметам частного права. Причина нового разделения империи на меньшие провинции и увеличения числа чиновников, вероятно, состоит в том, что существовавший аппарат казался императору несовершенным и он считал необходимым добиться более строгого государственного контроля и лучшего исполнения приказов. Он мог работать только с тем материалом, который имелся под руками, и никто не знал лучше, чем он, насколько неудовлетворителен был этот материал. В любом случае различия между провинциями оказались стерты в пользу единообразного управления. То, что начал Диоклетиан, Константин завершил и

усовершенствовал.

Все согласятся, что римская финансовая система в целом была угнетена и несовершенна, и нет оснований предполагать, что Диоклетиан обладал необходимыми для подъема национальной экономики сверхъестественными способностями; достойнейшие из императоров таковыми не обладали. Положение современных нам великих европейских наций наглядно демонстрирует, какой длительный период времени должен пройти между осознанием недостатков финансовой системы и избавлением от них. Но то свидетельство, которое старший Аврелий Виктор, один из наиболее честных критиков Диоклетиана, выдвигает против него в качестве особого обвинения, с тем же успехом может говорить в его пользу. В тексте, к сожалению испорченном и неясном, сказано, что часть Италии была подвергнута обложению некими общими налогами и повинностями (репзюпез); «при имевшихся ограничениях» это было еще терпимо, но в VI столетии это повлекло за собой распад страны. Каковы бы ни были эти налоги, в любом случае было только справедливо заставить Италию нести вместе со всеми бремя империи, раз она не могла уже спасти страну и править ею.

Что касается критики римской финансовой системы в целом, следует обратиться к специальным исследованиям этого вопроса; однако один частный момент все-таки необходимо здесь затронуть. Под 302 г. разные анналы сообщают, что «императоры в это время приказали, чтобы было подешевение», то есть Диоклетиан установил потолок цен на пищевые продукты. Согласно господствующему ныне взгляду, нет более опасной экономической меры, чем установление максимальных цен; их поддержание обеспечивает бесперебойную работу гильотины, как показывает поучительный пример французского Национального конвента. Применение данной меры может быть вызвано или чрезвычайной и отчаянной необходимостью, или полным пренебрежением к подлинному содержанию понятий стоимости и цены. Результаты не заставят себя ждать. Товары станут скрывать, невзирая на запрет, они вздорожают, и, прежде чем закон будет отменен, бесчисленные продавцы подвергнутся смертной казни.

Достоверное свидетельство о происходившем сохранила надпись из Стратоникеи, воспроизводящая эдикт целиком вместе с несколькими сотнями цен (местами нечитаемая и трудная для истолкования). В преамбуле императоры высказываются приблизительно так: «Цена вещей, покупаемых на рынках или привозимых в города, настолько превосходит все границы, что безмерную алчность не могут сдержать ни богатые урожаи, ни изобилие товаров. <...> Беспринципная жадность проявляет себя везде, где бы ни проходили наши армии, повинуясь велениям общественного блага, не только в деревнях и городах, но и на дорогах; в результате цены возрастают не только в четверо и даже не в восемь раз, но превышают любые средства. Часто одна-единственная покупка поглощает весь заработок солдата со всеми нашими премиями. <...> Наш указ положит меру и предел этой алчности». Следуют обещания строжайших наказаний всем, кто преступит закон.

Соображения, вынудившие правителей решиться на этот шаг, не менее загадочны, чем содержание закона. Простейшее объяснение состоит в том, что некая группа спекулянтов на востоке спровоцировала резкий скачок цен на продукты первой необходимости, что от этого скачка пострадали все и что тяжесть положения армии уже означала реальную и крупную опасность. Преобладающая часть дохода империи поступала натурой, но, тем не менее, не представлялось возможным сделать достаточные запасы, доступные в нужный момент каждому отдельному гарнизону. Когда было принято решение исправить ситуацию, наверное, в спешке или в минуту эмоционального всплеска, нововведение захватило все сословия и все товары, причем городскому населению было оказано некоторое послабление.

Дощечки с текстом являют собой документ чрезвычайной важности, ибо они сохранили для нас официальное свидетельство о сравнительной стоимости товаров и услуг по отношению друг к другу. Пересчет конкретных цен на деньги, имеющие хождение в настоящее время, представляет собой значительно большую сложность. Ученые пока не пришли к согласию в вопросе о стоимости денежной единицы, обозначенной в эдикте звездочкой; некоторые считают, что это серебряный денарий, другие — что медный. Если монета серебряная, цены выглядят чудовищно; если медная, они не слишком отличаются от наших. Поэтому медь как материал более вероятна, конечно, если наши предположения о весе и мерах справедливы. Принимая в качестве единицы медный денарий, получаем следующие основные расценки. Фиксированная заработная плата несколько ниже, чем средний уровень, наблюдавшийся во Франции три десятилетия назад (1820 г.), в пересчете она равна 1,25 франка. Сельские работники получали 65 сантимов в день; каменщики, плотники, кузнецы, пекари, обжигальщики извести — 1,25 франка; погонщики мулов, пастухи, водоносы, чистильщики одежды и им подобные — питание и от 50 до 65 сантимов. Что касается учителей,

paedagogus (в строгом смысле слова)[1] получал ежемесячно 1,25 франка за каждого подопечного, как и учителя чтения и письма; учителя арифметики и скорописи брали 1,90 франка; преподаватель греческого языка и литературы — 5 франков, столько же — преподаватели латинского языка и геометрии. Цены на обувь были таковы: для крестьян и возчиков — Ъ франка; для солдат — 2,50 франка; для патрициев — 3,75 франка; для женщин — 1,50. Естественно, были отклонения в зависимости от качества обуви и искусства мастера. Цены на мясо за один римский фунт в 12 унций: говядина и баранина — около 28 сантимов; мясо молодого барашка и свинина — около 35 сантимов; не будем упоминать разнообразные колбасы, подробно перечисленные в списке, и особые деликатесные кушанья. Обычное вино, считая sextarius[2] за пол-литра, было несколько дешевле, чем сейчас, а именно стоило 20 сантимов. Выдержанное вино лучшего качества стоило 60 сантимов; благородные италийские вина, включая сабинское и фалернское — 75 сантимов. Пиво шло за 60 сантимов, а более дешевая его разновидность — за 5 сантимов. Эти цифры, взятые из расчетов Дюро де ла Маля, без сомнения, занижены, но они демонстрируют истинное соотношение расценок. К несчастью, не приведена цена на пшеницу, являющаяся опорным показателем. В эдикте, без сомнения, даны самые высокие цены, так как изначально требовать их снижения было бы бессмысленно; нас не должно обманывать утверждение Идейских хроник, что «императоры... приказали, чтобы цены снизились».

Из всех нововведений Диоклетиана установление потолка цен, возможно, подлежит наиболее острой критике. На сей раз привычка полностью опираться на государственные средства принуждения подвела его; однако нельзя забывать о благих намерениях императора. О них свидетельствуют новые налоговые списки, которые он велел составить по всей империи в последний год своего правления (305 г.). Наш источник сообщает, что «он повелел измерить земли и утяжелить бремя налогов», но, очевидно, Диоклетиан хотел не просто увеличить сборы, но распределить их тяжесть более справедливо.

В целом правление Диоклетиана должно рассматриваться как одно из лучших и наиболее милосердных, какие когда-либо знала империя. Если относиться к нему без предубеждения, которое вызывают ужасные картины гонений на христиан и искаженные и преувеличенные описания Лактанция, то черты великого правителя предстанут перед нами в совершенно ином свете. Современник, посвятивший ему свой труд, не может рассматриваться как беспристрастный свидетель; тем не менее следует упомянуть, что, согласно биографу Марка Аврелия в «Historia Augusta», Марк был образцом для Диоклетиана в том, что касалось нравственности, поведения и милосердия, и его образ занимал важное место в домашнем культе императора. Более поздний автор также заслуживает цитаты. Старший Аврелий Виктор, который отнюдь не закрывал глаза на отрицательные качества Диоклетиана и был даже настроен враждебно к нему в вопросе о полиции, говорит: «Он хотел быть для всех господином, но был отцом родным; достоверно установлено, что этот мудрый человек хотел доказать, что грозные дела тяготят гораздо больше, чем ненавистные имена». И чуть дальше, после перечисления войн, которые он вел: «С неменьшей заботой была урегулирована справедливейшими законами и гражданская служба... Наряду с этим много внимания и забот было уделено снабжению столицы продовольствием и благосостоянию плательщиков податей; повышению нравственности содействовали продвижение вперед людей честных и наказания, налагаемые на преступников». И наконец, в связи с отречением, Виктор заключает: «Хотя люди судят об этом по-разному и правду нам узнать невозможно, нам все же кажется, что его возвращение к частной жизни и отказ от честолюбия свидетельствуют о выдающемся характере».

Кроме того, этот полновластный правитель, силой отобравший свою страну у узурпаторов, оказался достаточно великодушен, чтобы покончить с политическим шпионажем. По-видимому, он полагал, что столь надежно защитил свою власть, разделив ее с другими, что уже не нуждается в подобных услугах. Во всяком случае, политической разведкой в то время занималось такое учреждение, которое само по себе представляло опасность для власти. Изначально frumentarii[3] занимались снабжением армий; позднее они стали связными, и наконец им стали поручать передавать и выполнять разные сомнительные приказы. Они выродились в клику, которая, сочиняя ложные обвинения и угрожая ложными обвинениями, шантажировала наиболее уважаемых граждан, большей частью жителей отдаленных провинций. О них не так много известно, но можно

---

[1] Первое значение этого слова — слуга, приставленный к ребенку для надзора и сопровождения (греч.).

[2] С е к с т а р и й — мера жидкостей и сыпучих тел, равная 0,547 л.

[3] Интендант по продовольствию *(лат.)*.

предположить, что они совершали свои преступления с огромным размахом. Это была банда негодяев, имевших протекцию в верхах, каждый из которых покрывал и поддерживал другого, подслушивал и использовал в своих целях любой мало-мальски подозрительный каприз императоров; и еще они с высоты своего положения терроризировали древние почтенные рода в Галлии, Испании, Сирии и заставляли их жертвовать всем, чтобы не быть разоблаченными как участники воображаемого заговора. При Константине, хотя он все время выказывал свою ненависть к наушникам, все это возродилось, но уже под другим именем. Презренную роль приняли управители императорских перевозок, назвавшиеся agentes in rebus или veredarii.

В прочих отношениях деспотии римских императоров не было свойственно то болезненное внимание к мелочам, — когда регламентируется каждая деталь, в том числе и культурной жизни страны, — которое так портит современное государство. Власть императоров, столь ненавидимых за то, что они пренебрегали судьбой отдельной личности, что взимали жестокие налоги, что не могли толком обеспечить общественную безопасность, — эта власть вынуждена была заниматься лишь самыми насущными вопросами, оставив в покое провинции, которые некогда подчинила, залив их кровью. С другой стороны, правительство часто не вмешивалось в их дела даже тогда, когда имело такую возможность. Таким образом, неизбежно сохранялись и умножались не только местные, но и сословные различия. В число аристократов, освобожденных от налогов, входили, в частности, сенаторские рода, учителя и врачи, назначенные го сударством, и некоторые другие категории населения, к которым отнесли в конце концов и христианских священников. Нечего было и думать о новой, жизнеспособной организации управления; даже такой правитель, как Диоклетиан, мог надеяться лишь сохранить прежние границы империи и постепенно изжить нарушения внутри них.

Глава 3
ЗАПАДНЫЕ ПРОВИНЦИИ И ПРИЛЕЖАЩИЕ ОБЛАСТИ

На неполноту обобщений, касающихся многих важнейших проблем поздней Римской империи, было указано в предыдущей главе. Недостает основного — знания ситуации в каждой отдельной провинции. Разрозненные указания историков, большое число дошедших до нас документов, художественные тексты, имеющие историческую ценность, предоставляют нам много конкретных и ценных сведений как прямо, так и косвенно, но наличие огромных невосполнимых пробелов не может не повергать в уныние. Поэтому здесь мы сможем только собрать, отступая от главной линии повествования, значимые факты, касающиеся тех провинций, которые, будучи подобны открытым ранам на хилом теле внешней политики Рима, так или иначе, потребуют пристального внимания. Прежде всего мы обратимся к тогдашней Галлии, с судьбой которой была тесно связана судьба Британии.

Великие тираны Галлии некогда отважно защищали запад от вторжения германцев. Но насилие, неизменно сопутствовавшее их восхождению на престол, постоянная борьба с иноземцами и, наконец, гражданская война между приверженцами Тетрика и сторонниками италийских императоров, окончанием которой стал поход Аврелиана в Галлию и битва при Шалон-на-Марне, — все это привело к тому, что всеобщая нищета выросла до непереносимых размеров и пали все политические и нравственны ограничения. Возобновлена была борьба с фрарнками и алеманами; последние были разбиты при Виндише военачальником Констанцием Хлором при Аврелиане (274 г.), в день, когда родился его сын Константин. Но победы, казалось, только призывали из-за Рейна новые полчища этих юных и не ведающих усталости народов. Способные офицеры уже не могли добиться желаемого, спаивая посланников до положения риз и выпытвая у них все секреты. Варваров больше не впечатляла рассчитанная пышность высочайших приемов, когда перед рядами ратников, изогнутыми в ывиде полумесяца, стоял на высокой трибуне облаченный в пурпур император, а внизу золотились орды легионов, императорские изображения, знамена армий на серебряных древках. При Пробе война вновь приобрела устрашающий размах, и без искусства и отваги этого великого императора Галлия была бы потеряна. Тем не менее возникло, главным образом в Лионе и окрестностях, новое движение за возрождение Галльской империи по образцу Постума и Викторина. Вероятно, Диоклетиан учитыввл все эти обстоятельства, когда принимал решение о разделе императорской власти. Но прежде чем это случилось, завоеванное Пробом в южной части Германии снова было утрачено и по несчастной Галлии опять путешествовали оды германцев. Карин нанес им поражение и оставил в Галлии войско, но это войско он отозвал, когда ему понадорбились силы для борьбы с узурпатором Юлианом и наситупающим Диоклетианом. После этого рухнула вся общественная структура Галлии.

Тогда, как и впоследствии, во времена жестоких кризисов в древней Франции, именно крестьяне начали восстание, неожиданное и ужасающее по размаху. В то время они жили в условиях рабства, установленного издревле, хотя эта система отношений отнюдь не всегда

называлась своим настоящим именем. Многие крестьяне дейсивительно были рабами в том или ином хозяйстве; другие – сервами, прикрепленными к земле; третьи именовались coloni, то есть арендаторы, отдающие половину своей продукции владельцу. Были и другие арендаторы, находившиеся в лучшем положении, которые выплачивали ренту деньгами; наконец, существовало множество так называемых вольнонаемпных рабочих. Но всех их теперь объединяло общее несчастье. Владельцы земли, изнуренные грабительскими налогами поделенного государства, стремились возместить убытки за счет крестьян, так же, как поступали французские дворяне после битвы при Пуатье, когда от них требовался выкуп за рыцарей, взятых в плен вместе с Иоанном Добрым. В первом случае последовало восстание багпаудов, во втором – Жакерия (1358 г.). Толпы крестьян и пастухов бросали свои хижины и отправлялись нищенствовать. Изгнанные отовсюду, прогнанные городскими гарнизонами, они собирались в bagaudae, то есть банды. Они забивали свою скотину и пожирали ее мясо; они вороужались тем, что имелось в хозяйстве, седлали лошадей и скакали через поля – не столько чтобы утолить голод, сколько чтобы разорить все в своем неутолимом отчаянии. Они стали угрозой для городов, где разоренные пролетарии, жадные до грабежа, зачастую сами открывали им городские ворота. Всеобщее отчание и присущая уроженцам Галлии жажда приключений вскоре увеличили армию багаудов настолько, что они отважились провозгласить двоих императоров, Элиана и Аманда, и так возобновить требование о воссоздании империи. Двор этих деревенских императоров был, вероятно, весьма разнороден и своеобразен. III столетие сажало на мировой трон многих храбрых крестьян и сыновей рабов, но обычно они все же приобретали высший авторитет в армии, а затем – в императорском генеральном штабе. Элиан и Аманд не имели таких прав, но, может быть, другое восполняло эту нехватку. Христианская традиция, документированная с VII века, сделала из них христиан и этим оправдала их выступление против императоров-идолопоклонников. Легко предположить, что среди нищих и жалких людей, присоединившихся к багаудам, было множество христиан и прочих, кто по той или иной причине подвергался преследованиям, в том числе преступников.

Как представляется, южная и западная часть Галлии были в меньшей степени затронуты этим движением, чем северная и восточная, где ситуация была еще тяжелее из-за варварских набегов. В часе пути от Винсенса могучее течение Марны, перед тем как слиться с Сеной, обтекает полуостров, где позднее было построено бендиктинское аббатство Сен-Мар-де-Фос. Древние кельты предпочитали именно такие места, когда строили свои укрепления (oppida), и, конечно, на полуострове уже был вал, ров с водой и стены, когда Элиан и Аманд сделали его крепостью багаудов; он столетиями носил это название, хотя мало что можно было успеть на нем построить за 285—286 гг. Из этого неприступного пункта, которого нельзя было достигнуть вброд или по мелководью, они устраивали свои вылазки и сюда же приносили награбленное. Со временем они осмелели настолько, что не только в слабейших городах проводили свои конфискации, но стали уже осаждать и более мощные. Им удалось взять древний и прекрасный город Августодун (Отен), и они не пощадили ни его храмов, ни базилик, ни купален; все было разграблено и уничтожено, а жители изгнаны.

От багаудов следовало избавиться прежде, чем они подобным же образом принялись бы уничтожать один город за другим, и с ними — все укрепления, способные противостоять натиску варваров. Такова была задача, стоявшая перед Максимианом Геркулием, тогда еще цезарем, и успех принес ему титул августа. Нам известно только то, что с этой задачей он справился быстро и легко, сокрушив некоторые группы мятежников путем открытого нападения, а другие, будучи осаждены, сдались, вынуждаемые к этому голодом и чумой. Последовало ли за этим реальное освобождение от непосильного бремени, вызвавшего восстание, — более чем сомнительно, так как жалобы на чрезмерные налоги скорее участились. Но косвенно ситуация в стране в целом улучшилась, так как германцы успокоились на несколько десятков лет, а узурпации прекратились. Однако в V столетии, а возможно, уже и в IV, схожие причины дали схожие результаты. Багауды снова подняли голову, и можно быть почти уверенным, что это движение никогда полностью и не затихало.

Но вернемся ко временам Диоклетиана. Многие области Галлии пребывали в запустении. К примеру, землевладельцы Отена, погрязшие в долгах, не сумели ко временам Константина оправиться настолько, чтобы как-то улучшить старинную систему ирригационных и мелиоративных работ. Почва вырождалась, и появлялись болота, заросшие вереском; виноградники Бургундии увяли, а лесистые холмы стали прибежищем диких зверей. «Эта долина, простирающаяся до самой Соны, была некогда приятной, когда благодаря тщательной обработке земли отдельных владельцев бегущие источники имели выход на открытые долины. Теперь же все низменные земли превратились в омуты и болота. Наконец, и виноградники так выродились из-за запустения, что их почти не замечают... Начиная с того поворота, откуда дорога поворачивает на Бельгику [то есть

от Отена], все пусто, необработанно, заброшено, безмолвно, мрачно. Даже военные дороги так неровны и круты и так опасны, что через них с трудом можно переправить двухколесную повозку, наполовину полную или пустую». Только еще один раз на протяжении Средневековья, во времена Орлеанской девы, дела пошли настолько плохо, что, как сказано, от Пикардии до Лорена не было ни одной не покосившейся крестьянской хижины. Но жизнеспособная нация в двадцать лет сумеет оправиться от того, что станет дуновением смерти для народа, время которого подходит к концу.

Чего добились Максимиан и Констанций своими непрестанными усилиями и стараниями? Защита Рейна, которой они посвятили все искусство и мужество, обеспечила возможность выздоровления страны, но не само это выздоровление. Тем не менее усердие двух правителей принесло значительные плоды, и германцы надолго запомнили их атаки. Несколько раз Максимиан пробивал себе путь через Рейн, как раньше Проб, и в 287—288 гг. подчинил бургундов, алеманнов, герулов и франков. Констанций освободил от франков землю батавов (294 г.) и победил алеманнов, которые были вторично разбиты в жестокой битве при Лангре (298 г.; согласно некоторым источникам, 300 г.), когда они потеряли шестьдесят тысяч человек. Римлянам, конечно, помог внутренний кризис германцев, о котором нам, к несчастью, почти ничего не известно. Мы знаем, что «истготы уничтожили бургундов, но алеманны взялись за оружие на стороне побежденных. Вестготы с воинством тайфалов выступили против вандалов и гепидов... Бургунды захватили территорию алеманнов, но понесли тяжелые потери, и теперь алеманны хотят вернуть утраченное ими». В этом, очевидно, и состоит причина уникального, лишь изредка нарушавшегося, перемирия между римлянами и германцами, которое наступило при Константине Великом. Он не смог бы осуществить столь значительные перемены при наличии серьезного военного вмешательства извне. В то же время на далеком Востоке перемирие 297 г. и смирение Шапура II из династии Сасанидов послужило той же цели.

Тем временем Максимиан и Констанций завершили фортификацию Рейна, ставшего теперь границей. Ради этих «крепостей с войсками кавалерии и когортами» у реки было ограничено намечавшееся восстановление «городов, что тонут в лесной тьме и которые навещают дикие звери», хотя панегирист, которому мы обязаны этими словами, пишет об этом в тексте хвалебной речи, описывая возвращение золотого века. Там, где некогда стояли города, IV столетие знало лишь крепости, и, тем не менее, оставалось немало брешей.

Пожалуй, только Трир, северная резиденция императоров, был восстановлен со всей пышностью. Из развалин, оставшихся после набега франков, а возможно, и багаудов, вырос огромный цирк, несколько базилик, новый форум, великолепный дворец и несколько других пышных построек. Несчастный Отен обрел преданного защитника в Ев-мении, который показал всем лучшие его стороны. Евмений был секретарем (msgister sacrae memorae) при Констанции и получал пенсион, вероятно, в награду за немалые услуги размером более двадцати шести тысяч франков, а также имел синекуру — должность главы школ Отена, где его дед, гражданин Афин, в свое время преподавал. И теперь он решил отдать весь свой доход, хотя у него была семья, на пользу этих школ, и более того, привлечь внимание Констанция и затем Константина к разрушенному городу и его искалеченным учреждениям. Это тот самый местный патриотизм на античный манер, который привлекает нас и примиряет со столь многими греческими и азиатскими софистами I и II века христианской эры, из тех, о ком рассказано в «Жизнеописаниях» Филострата. Мы должны научиться понимать ту уникальную смесь благородства и лести, которая отличает данный период. «Мне следует принять это вознаграждение, как знак оказанного мне почета, — говорит Евмений, — но я употреблю его на пользу моей родине... Кто может в настоящее время быть столь низким и презренным, столь равнодушным к заслуженным похвалам, чтобы не стараться воскресить воспоминания о своих родичах, как бы скромны они ни были, и тем заслужить одобрение и себе?» В восстановленных школах людей учили, как следует восхвалять своих владык; лучшего применения красноречию найти было нельзя. Сам старый Максимиан оказывался, совершенно незаслуженно, связан с Геркулесом Мусагетом, предводителем муз; ибо главенство над школами в Отене стало для него не менее важным делом, чем начальство над кавалерийским полком или преторианской когортой. Но до восстановления всего города было еще далеко; только Константин, освободив население от налогов и предоставив субсидии, смог реально помочь ситуации. Описание торжественного вступления Константина в город (311 г.), сделанное Евмелием, почти трогательно: «Для тебя мы украсили улицы, что ведут ко дворцу, так, как позволили наши скудные средства. И все же мы вынесли знаки всех наших гильдий и корпораций и изображения всех наших богов. Ты несколько раз повстречал наших музыкантов, потому что боковыми дорожками мы стремились настичь тебя вновь и вновь. Ты, должно быть, заметил добронравное тщеславие бедноты».

В пустынных северных и восточных областях Галлии можно было действовать, хорошо ли, плохо ли, лишь по системе, учрежденной при Клавдии и Пробе: взятых в плен германцев селили там как рабов в том или ином хозяйстве, некоторых — как свободных крестьян и некоторых — даже как

стражей границ. Панегиристы в это время находят повод для восхвалений в том, что весь рынок забит пленниками, сидящими в ожидании своей судьбы; что ха-мав и фриз, некогда ловкие воры, теперь в поте лица возделывают поля и несут на продажу скот и зерно; что прежние варвары теперь исполняют воинскую повинность в пользу Рима и подчиняются военной дисциплине; что Константин привел франков с далеких варварских берегов и научил их обрабатывать землю и нести службу в пустынных краях Галлии; и так далее. Фактически же такие решения принимались по необходимости и были сопряжены с опасностью: северная Галлия стала наполовину германской. Если бы родичи пленников снова вторглись в Галлию, они нашли бы преданных союзников в лице этих поселенцев; для устранения такой возможности должно было пройти время.

Удача Константина, его талант и его жестокость предотвратили такое развитие событий. Судьба распорядилась так, что в первый год после смерти отца (306 г.) он уничтожил союз нескольких франкских племен, принадлежавших к тем франкам, которые впоследствии именовались рифейскими (по-видимому, это были хатты и ампсиварии вместе с бруктерами). Когда был жив его отец, они перешли Рейн; теперь же он сокрушил их и взял в плен их вождей, Аскариха и Регая (Мерогая). Обоих бросили диким зверям в трирском амфитеатре, чьи впечатляющие руины до сих пор можно наблюдать среди виноградников. Та же судьба постигла толпы пленных бруктеров, «которые были слишком ненадежны для солдат и слишком своенравны для рабов»; «дикие звери устали, так как жертв было слишком много».

Еще дважды, в канун 313-го и около 319 г., историки кратко упоминают мелкие военные походы против франков; очевидно, их значимость была невелика. Константин даже вернул часть правого берега Рейна и построил в Кельне огромный каменный мост, который простоял до середины X столетия, когда оказался в настолько обветшалом и опасном состоянии, что архиепископ Бруно, брат Отгона Великого, велел его снести. Предмостное укрепление называлось Дивицион, современный Дейц. Об этих успехах напоминало регулярно проводившееся торжество — франкские игры (ludi Francici). На триумфальном праздновании 313 г. обреченных на смерть франков бросили диким зверям, которых предварительно долго морили голодом.

Попытки воссоздать целостную картину древней Галлии, такой, какой она была при Диоклетиане и Константине, бессмысленны, так как более-менее полные из имеющихся источников восходят ко временам Валентиниана I. Сказанное выше дает приблизительное представление о судьбе большей части деревенского населения. Но галл ощущал свою нищету острее многих других обитателей империи.

Отлично сложенный, высокий и стройный, он любил чистоту, и ему претило ходить в лохмотьях. Он знал толк в еде и питье, особенно что касалось вина и других возбуждающих напитков, но он был и прирожденным солдатом, не ведал страха и до старости не боялся никаких тягот. Можно предположить, что таково было свойство этого народа, наделенного горячей кровью и могучей плотью; но галл оказывался в том же положении, что и хилый и слабый южанин, довольствовавшийся одной луковицей в день и щадивший в битве свою кровь и силы, столь экономно растрачиваемые. Не так поступали галльские женщины, красивые и крепкие, державшиеся в стороне от сражений; они наводили ужас на врагов, когда поднимали белые руки и принимались раздавать пинки и удары, «не слабее снарядов катапульты». Таких селян не так просто было довести до предела, и на какой-то стадии нищета неизбежно породила бы мятеж — как и произошло в действительности.

Но и в городах царили бедность и нужда. Наиболее значимой собственностью городского жителя в этой почти полностью сельской стране была земля, отданная арендаторам или возделываемая рабами; поэтому горожанин делил все беды с жителями деревень. Кроме того, здесь, как и во всей империи, государство давило на богачей с помощью декурий, поскольку владельцы надела, превосходившего двадцать пять акров, обязаны были выплачивать постоянно возраставшие налоги. Отдельные личности пытались уклониться от этой обязанности, прибегая к самым отчаянным способам и даже удирая к варварам. Если, тем не менее, известны примеры несметных богатств и ослепительной роскоши, простейшее объяснение состоит в том, что это были так называемые сенаторские фамилии, статус которых передавался по наследству и которые, помимо титула clarissimi и прочих почестей, также наслаждались свободой от выплаты декурий. Другим объяснением может служить одна примечательная черта галльского национального характера: галлы были склонны ко всякого рода союзам, которые превращались, особенно в тяжелые времена, в отношения клиента и патрона, когда сильный защищал слабого. Эти отношения приобрели широчайшее распространение ко временам Юлия Цезаря, который обнаружил полную зависимость народа от аристократии. Спустя пять столетий та же жалоба звучит вновь, практически в том же виде. Сальвиан оплакивает участь мелкого землевладельца, который, будучи ввергнут в отчаяние жестокими чиновниками и неправедными судьями, отдает себя и свою собственность во власть сильному мира сего. «Тогда их земля становится проезжей дорогой, а они —

колонами богача. Сын не наследует ничего, потому что отец однажды попросил помощи». Таким образом, какой-нибудь вельможа, арендующий государственные территории, вполне мог собрать воедино бесчисленные latifundia[1] и затем, на античный манер, вдоволь проявлять благородство по отношению к своему городу или провинции, например возводя роскошные общественные постройки, пока все кругом чахнут или живут его милостями. Хотя для Галлии и нельзя привести конкретных примеров таких случаев, тем не менее это единственное объяснение контраста между внешним великолепием городов (постольку, поскольку его нельзя приписать императорской щедрости) и общеизвестной нищетой их жителей. Еще и сегодня эти здания украшают свою округу, как когда-то, когда они, будучи невредимыми, восхищали поэта Авзония. Не говоря о всевозможных дарах, возместить необходимые расходы, из своих средств или из средств города, часто помогали декурии.

Теперь следует поговорить о просветительских учреждениях Галлии; они обеспечили этой области ее столь значительное положение, укрепив связи с римской культурой, которыми провинция так гордилась. Никакого желания вернуться на исконные кельтские пути больше не было; все усилия жителей направлялись на то, чтобы сделаться настоящими римлянами. Людям нужно было прилагать особые старания к тому, чтобы, например, забыть родной язык; сами по себе римские колонизаторы и администрация никогда не смогли бы искоренить его столь основательно. Вероятно, языковая ситуация в Эльзасе может предложить некоторую аналогию ситуации в Древней Галлии; прежний язык продолжает употребляться в повседневной жизни, но везде, где речь идет о предметах более ученых, и в делопроизводстве новый язык вытесняет старый, и каждый чванится его знанием, как бы плохо он им ни владел. Древняя религия галлов также облачилась в римские одеяния, и боги поменяли на римский лад не только свои имена (там, где это было возможно), но также и изображения; этот стиль не воспринимался, конечно, как провинциальный и изрядно устаревший, поскольку был заимствован на Юге, где понимают толк в искусстве. Но по меньшей мере в одном случае от скульптора требовалось воспроизвести настоящий кельтский идеал — если он изображал таинственных матрон с удивительными прическами, сидящих обычно по трое, держа чаши с фруктами. Множество местных божеств, имена которых поэтому необязательно было переводить на латынь, оставили по себе только надписи-посвящения, без изображений.

Но что же друиды, столь могучее некогда жречество, отправлявшее обряды религии галлов? В дни древности они вместе с аристократией составляли правящий класс. Знать контролировала управление государством и дела военные, друиды — судопроизводство, а также область оккультного знания и могучие суеверия, которыми они, как сетью, опутали всю жизнь людей. Отлучение, провозглашенное ими, было страшным наказанием; человек, не допускавшийся к сакральному, считался нечистым и находился вне закона. Посвященные божеству, друиды освобождались от налогов и военной службы. Вероятно, их святилища (или храмы, если можно так выразиться) имели обширные владения; конечно, там были сокровищницы, полные драгоценного металла, столь знаменитые, что даже вошли в поговорку.

Друиды к тому времени давно уже лишились своего высокого положения, но трудно сказать, когда это произошло и как. Чудовищный грабеж, осуществленный Юлием Цезарем, конечно, повредил храмовым богатствам, а значит, и власти друидов. Власть эта была умалена еще и потому, что произошло смешение римского культа с их собственным и появились жрецы-римляне. Волнение и недовольство явно обнаружились при Августе и Тиберии; последний, как сказано, был вынужден «истребить галльских друидов и прочих гадателей и знахарей». Но они про- должали держаться еще и после Клавдия, который, по словам Светония, «богослужение галльских друидов, нечеловечески ужасное и запрещенное для римских граждан еще при Августе, уничтожил совершенно». Это относится к человеческим жертвоприношениям; Клавдий также запретил опасные амулеты, которыми пользовались друиды, — например яйца некоторых видов змей, которые, как считалось, обеспечивали победу в спорах и успех правителям. Представители этого сословия неизбежно должны были теперь утратить связи между собой — собрания друидов, где сходились жители Дрё и Шартра, проводились все реже, путешествия учеников жрецов в Британию, которая с незапамятных времен славилась как высшая школа друидического знания, но которая теперь тоже стала римской, прекратились. Но эти жрецы продолжали свою деятельность еще и в христианские времена, без сомнения, потому, что народ в своей повседневной жизни не мог отказаться от языческих ритуалов, ими практиковавшихся. Нетрудно представить себе положение друидов в III столетии. Образованные люди уже давно пошли по римской дороге и оборвали всякие связи с древним культом своей родины. В результате его жрецы утратили высшую духовную власть и превратились в фокусников, шаманов и гадателей — преображение, аналогичное произошедшему с египетскими жрецами. В частности, друидессы представляются нам

[1] Обширное поместье, крупное земельное владение *(лат.)*.

чем-то вроде цыганок угасающей античности. Аврелиан спрашивал их — вероятно, это было какое-то объединение жриц — о наследниках престола империи, и, конечно, не в шутку, так как шутить таким образом было опасно. Иногда они произносили свои пророчества без всякой просьбы. Одна смелая женщина, не подумав о последствиях, сказала Александру Северу на языке галлов: «Иди, но не надейся на победу и не верь своим воинам!» Одна землевладелица — друидесса в земле тунгров (вблизи Льежа), когда младший офицер Диокл, впоследствии Диоклетиан, расплачивался с ней за свой ежедневный стол, сказала ему: «Ты слишком скуп, слишком расчетлив». «Буду щедрым тогда, когда стану императором», — ответил он. «Не шути, — сказала хозяйка, — ведь ты будешь императором, когда убьешь кабана».

Религия друидов долее всего должна была сохраниться в тех местах, где до сих пор остались следы темперамента и языка кельтов, то есть в Бретани и западной части Нормандии. Нам известно об одном друидическом семействе IV столетия, вышедшем из этой области, члены которого принадлежали к наиболее сведущим риторам бордоской школы. Они пользовались известным авторитетом благодаря тому, что в их роду передавалось по наследству звание жреца кельтского солнечного бога Беленуса. Но, что характерно, они сочли более выгодным грецизировать этот титул и называть себя слугами Феба Дельфийца.

По-видимому, там, где друиды выжили, они поддерживали, насколько могли, жизнеспособность своего учения, пока позднее, в эпоху христианства, простой народ не связал их ритуалы с огромными бесформенными каменными сооружениями, типичными для древних кельтов, среди которых встречаются колонны, плиты, столбы, скамьи, галереи и прочее, где ночами ярко пылали костры и огни жертвоприношений и где проводились различные празднования. Но времена упадка кельтского язычества скрыты в непроглядной тьме. В более поздний период друиды, которых прошедшие годы наделили волшебными свойствами, оживают уже великанами, друидессы — феями, и над гигантскими камнями, которые считаются колдовскими, Церковь тщетно произносит свои экзорцизмы.

Пока Максимиан покорял Галлию, в Британии империя потерпела поражение. Это была, с одной стороны, постлюдия к захватам власти тридцатью тиранами при Галлиене, а с другой стороны — прелюдия к окончательной потере Британии, которая произошла спустя сто сорок лет.

Со времен Проба воды вокруг острова, как и возле побережья Галлии, кишели пиратами, которых теперь считают или франками (впоследствии — салические франки), или саксами. Чтобы справиться с ними, требовался флот, который и был уже фактически снаряжен в Булони (тогда Гессориак). Командование этим флотом Максимиан поручил Каравзию, храброму воину, который знал море и уже успел доказать свое мужество в сражениях с багаудами. Каравзий был менапий (брабант) неизвестного происхождения, вероятно, не римлянин. Он вскоре воспользовался своим положением и стал играть в любопытную игру: он не мешал пиратам, когда те отправлялимсь на рейд, но перехватывал их на обратном пути, чтобы присвоить их добычу. Его богатство привлекло внимание, и Максимиан, узнавший все, вынес ему смертный приговор; но Каравзий оказался хитрее. Он привязал к себе своих солдат, так же как франков и саксов, богатыми подарками и объявил себя императором, будучи в Галлии (286 г.), но не захотел там оставаться. Каравзий направил весь свой флот в Британию, где римские солдаты сразу же его признали, так что страна оказалась в его подчинении; теперь Максимиану, чтобы настичь преступника, недоставало самого главного — людей. Захватчик правил островом, в те времена весьма изобильным, семь лет, обороняя северные границы от своих традиционных врагов, каледонцев. Булонь и окрестности он сохранил в качестве пункта переправы, служившего укрытием для грабителей, — роль, которую в конце Средних веков выполнял Кале. Будучи правителем Британии, Каравзий стремился поддерживать римскую образованность и искусство, но во имя союза с франками из тогдашних Нидерландов он и римляне стали носить их платье, и их юношей принимали в армию и флот, где те могли постичь все тонкости военного искусства римлян. Если бы Англия дольше пребывала в изоляции, при Каравзий ли, или же при его преемниках, она, несомненно, была бы варваризирована, не успев стать частью романо-христианского мира, культура которого является главным наследием античности. С другой стороны, страна вдруг осознала себя будущей владычицей морей, и это была впечатляющая картина; обосновавшись на острове, отважный выскочка распоряжался в устьях Сены и Рейна и держал в страхе все побережье. Но причина его популярности заключалась в том, что он защищал северные границы и что пираты, теперь состоявшие у него на службе, не беспокоили более приморских жителей.

Максимиану пришлось снарядить новый флот (289 г.), но его усилия, по-видимому, оказались тщетны: все опытные мореплаватели были на стороне узурпатора. Озабоченные тем, как бы Каравзий не распространил свою власть дальше, императоры вступили с ним в переговоры (290 г.).

Он получил остров и титул августа, и никто бы не помешал ему воспользоваться этим титулом. Но императоры не могли позволить захватчику наживаться и впредь. Как только

усыновили цезарей, под каким-то предлогом — возможно, таковым послужила ситуация в Булони, — было объявлено о разрыве (293 г.). Констанций Хлор осадил город. Моряки Каравзия не смогли помешать запереть гавань, где они находились, дамбой, и оказались в руках осаждающих. Вероятно, эти события повлияли на настроения в Англии, что дало Аллекту, близкому другу узурпатора, смелость убить его; народ и солдаты сразу же признали власть Аллекта. Тут Констанцию понадобилось время, чтобы создать надежную опору для будущего завоевания Британии, а притом еще удерживать правый фланг, который воевал с франками, захватившими земли батавов. Он победил их (294 г.) и переселил большую их часть на римскую территорию, близ Трира и Люксембурга. Одновременно был снаряжен новый флот, и спустя два года (296 г.) все было готово для решающей атаки. Аллект, чтобы следить за передвижениями врага, расположил свои корабли у острова Уайт; но командующий императорским флотом Асклепиодат, стоявший в устье Сены, сумел миновать остров под прикрытием густого тумана и высадиться на западном побережье. Здесь он сжег свои суда, очевидно, потому, что людей было слишком мало, чтобы еще делить их на сухопутную армию и на моряков. Аллект, ожидавший высадки булонского флота во главе с Констанцией возле Лондона, растерялся и поспешил на запад, не будучи к тому подготовлен. Посреди дороги он столкнулся с Асклепиодатом. Это, видимо, была совершенно незначащая стычка, в которой участвовало несколько тысяч человек, но она решила судьбу Англии. Когда Констанций высадился в Кенте, он обнаружил, что остров уже покорен. Вспоминая о крови, пролитой в эту войну, панегирист утешается мыслью, что это была кровь продажных варваров.

Констанцию пришлось даровать острову те же привилегии, которыми он пользовался при Каравзий; в частности, император должен был охранять границы и подолгу оставаться в стране. Поскольку франки были усмирены, исполнить первое не представляло особых сложностей; что же до второго, то в мирнее времена правитель делил свое время между Триром и Йорком, в котором и умер в 306 г.

Так была спасена та доля романской культуры, которая через пролив между Англией и Шотландией, между стеной Адриана и Ирландией провела и по сей день видимую разделительную черту. Трагедия V века произошла слишком поздно, чтобы полностью уничтожить ее четкие отпечатки.

Теперь нашей главной задачей должно стать описание положения германцев в то время, и не только на аванпостах империи, но настолько далеко к северу и востоку, насколько вообще возможно проследить судьбу этих племен. Будущие наследники империи, они заслуживают величайшего внимания, даже если, как теперь очевидно, эпоха Константина была для них временем упадка и внутреннего раскола. Самые ничтожные заметки и указания следует тщательно собирать и беречь, дабы восстановить, насколько возможно, нечеткий и фрагментарный облик этого огромного клубка народов.

Но автор падает духом перед этой задачей при мысли о научной дискуссии, посвященной основным вопросам древ-негерманской истории и продолжавшейся долгие годы, — дискуссии, в которой автор никак не в силах участвовать. Выводы, к которым пришел Якоб Гримм в своей «Истории немецкого языка», не только во многом изменили преобладавшие до тех пор представления о западных германцах, но и с той или иной степенью близости позволили отнести к этому народу древних жителей Дуная и Понта, в частности даков и гетов, и даже скифов, а также позволили отождествить гетов с позднейшими готами. Это совершенно поменяло бытовавшие воззрения касательно могущества и распространения германцев и не в меньшей степени преобразило древнюю историю славян, которые, будучи отождествляемы с сарматами античности, жили, по-видимому, среди вышеозначенных германских народов.

Но даже если мы сумеем точно восстановить местожительство, передвижения и смешения, по крайней мере, пограничных народов, от Нидерландов до Черного моря, в те пятьдесят лет, которые прошли от правления Диоклетиана до гибели Константина, внутренняя обстановка этих племен, тем не менее, будет представлять неразрешимую загадку. Где найти сведения об изменениях в характере германцев, произошедших со времен Тацита, о причинах возникновения великих племенных союзов, о внезапном завоевательном порыве понтийских готов в III столетии и о том, почему они столь же неожиданно успокоились в первой половине IV века? Какой мерой измерить степень проникновения римского духа в пограничные германские области? Слишком мало известно даже о привычках и образе жизни германцев, принятых под власть Римской империи, как о солдатах, так и о колонах. Нам приходится довольствоваться краткими упоминаниями о войнах, продолжавшихся на северной оконечности империи — тем же, чем мы располагаем в отношении границы, проходившей по Рейну. Очевидно, что северные войны не имели большого значения, судя по этим лаконическим сообщениям; фактически все сопутствующие обстоятельства, в том числе место и расположение войск, обойдены молчанием.

«Маркоманны полностью разбиты» — такова единственная запись (299 г.) в течение долгого

времени о народе, который при Марке Аврелии составлял центр огромного племенного союза, угрожавшего самому существованию империи.

Бастарны и карпы — по-видимому, готские племена с Нижнего Дуная — были побеждены Диоклетианом и Галерием (294—295 гг.), и целое племя карпов поселилось на римской земле, после того как при Пробе та же судьба постигла сто тысяч бастарнов.

Сарматы — очевидно, придунайские славяне — тоже периодически беспокоили страну. Диоклетиан боролся с ними, сначала один (289 г.), потом с Галерием (294 г.), и также переселил многих в империю. За последующие нападения их наказал Константин, организовав поход (319 г.), в ходе которого погиб их вождь Равзимод. Но в конце жизни (334 г.) Константин, как известно, пополнил число жителей империи не менее чем тремястами тысячами сарматов, после того как они были изгнаны с родины своими восставшими рабами (очевидно, племенем, покоренным ранее). К несчастью, какие бы то ни было сведения, способные прояснить причины такого включе- ния в состав империи целого народа, фактически отсутствуют; нельзя ни определить, принудительный или добровольный характер носило это переселение, ни догадаться о тех соображениях, военных или экономических, которые побудили к этому решению римских правителей. Один-единственный сохранившийся договор мог бы лучше прояснить ситуацию, чем любые догадки, к которым мы вынуждены прибегать при воссоздании хода событий, опираясь на всякого рода параллели.

Упоминается также о вторжении готов (323 г.), носившем явственно иной характер, нежели предыдущие и последующие нападения; по всей вероятности, его совершило одно племя, решению которого испытать крепость границ способствовало тайное римское попустительство. Известно, что Константин одним своим приближением приводил врагов в ужас, побеждал их, а затем заставлял возвратить взятых пленников. Вся эта война приобретает двусмысленную окраску в связи с нападением на Аициния (о котором пойдет речь ниже). Несколькими годами позже (332 г.) Константин со своим сыном-тезкой отправились по просьбе встревоженных сарматов в землю готов, то есть куда-то в Молдавию и Валахию. Как сообщается, сто тысяч человек (очевидно, с обеих сторон) погибли от холода и голода. Сын вождя Ариарика оказался среди заложников. Затем последовало вышеупомянутое вмешательство в дела сарматов и их переселение.

Каждый раз встает вопрос: чего хотели готы, а чего — сарматы? Эти названия обозначают целую группу племен одного происхождения, однако уже давно разделившихся, уровень культуры которых, вероятно, варьировался от вполне романизированной городской цивилизации до непритязательного быта диких охотников. Существование и характер готской Библии Ульфилы (созданной вскоре после Константина) a posteriori[1] определяют уровень просвещения племен, среди которых она возникла, как очень высокий даже в эпоху Константина. Однако другие обнаруживают варварскую грубость. Соединение отдельных разрозненных штрихов в цельную картину не входит в задачу автора и превосходит его силы.

Необходимое дополнение к этой картине составляют принадлежащие Риму постоянно или время от времени при-дунайские области Дакии (Трансильвания, Нижняя Венгрия, Молдавия и Валахия), Паннонии (Верхняя Венгрия, включая соседние с ней земли к западу и востоку) и Мезии (Сербия и Болгария), однако автор также не сможет уделить им достаточно внимания, поскольку не обладает сведениями обо всех значительных новейших находках в этих регионах. В рассматриваемый нами период данные области служили военным форпостом, которым, по сути, остаются и теперь, с той только разницей, что тогда там держали оборону против севера, а не против юга. После Филиппа Аравитянина сигналы военной тревоги никогда не смолкали в тех местах, и Аврелиан был вынужден фактически сдать готам опасное завоевание Траяна — Дакию. Но прежде эти земли заимствовали многое из культуры Рима, каковой процесс в областях, менее подверженных внешней угрозе, никогда не прекращался; даже там, где этот росток был вырван с корнем ввиду периодических миграций, плоды его все же не были полностью уничтожены и до сих пор вполне узнаваемы, к примеру, в румынском языке валахов. Великолепные придунайские города, как-то: Виндобона (Вена), Карнунт (Петронель), Мурса (Осиек), Таврун (Семлин), конечно, Сирмий (Сремска-Митровица), а к югу — Наисс (Ниш), Сердика (София), Никополь в Геме, по-видимому, сильно превосходили рейнские рубежи богатством и значением. Если бы современник мог иногда очищать эти древние города от следов пребывания славян и турок, их римская суть вновь оказалась бы видимой. История мира пошла бы другим путем, если бы просвещенные германцы, смешавшись с могучими обитателями Северной Иллирии, сумели создать в этих странах сильное и прочное государство.

Наконец, на Черном море германцы вместе с другими варварами столкнулись с греками,

---

[1] Из явлений, на основании опыта *(лат.)*.

происходившими в основном из Милета, колонии которого, являвшиеся северными аванпостами эллинизма на протяжении более чем восьмисот лет, позволили назвать Понт «Гостеприимным морем» (Еихетоз). Часть их уже давно объединилась с некими варварскими племенами, образовав так называемое Боспорское царство, охватывавшее больше половины Крыма, а также нижние склоны Кавказа за Керченским проливом, и таким образом контролировавшее выход в Азовское море, а кроме того, вероятно, и значительную долю его побережья. Монеты и надписи удостоверяют непрерывный ряд властителей до времен Александра Севера; затем с промежутками появляются имена Ининфинея, Тейрана, Фофорса, Фарсанза, а при Константине зафиксировано правление Радамсада с 317-го по 324 г.

Когда Рим превратил маленькие государства на своих восточных границах, одно за другим, в провинции, выстояли только Армения и Боспор, которые все более и более отдалялись от империи и, вне всякого сомнения, варвари-зировались. При Диоклетиане подданные Боспорского царства в союзе с сарматами вели безуспешную войну со своими соседями по всей восточной части Понта. Констанцию Хлору, собравшему против них армию на севере Малой Азии, херсонеситы предложили атаковать государство с запада, и этот маневр оказался весьма успешным. Бос-порцам пришлось вступить в переговоры, в результате которых к Херсонесу отошел почти весь Крым до самых окрестностей Керчи (Пантикапей, древняя столица Митридата Великого). Греческая колония, по счастью, признавала свои обязательства в качестве вассала империи, в то время как князь Боспора полагал, что общий кризис Римского государства снимает с него какие бы то ни было обязанности. Для греческих прибрежных городов эти князья оставались всего лишь архонтами, как именовались высшие городские магистраты в Элладе; соприкасаясь же с другими народами, они, не колеблясь, принимали титул «царя царей», как некогда делали властители Персии.

Но пора возвратиться из этого маленького государства обратно на запад. Из всего пышного венка греческих колоний, находки на месте которых начинают теперь пополнять музеи Южной России, две вызывают нашу особую симпатию своими стараниями сохранить греческую культуру в чистоте, невзирая на окружение. Победоносный Херсонес, нынешний Севастополь, был колонией Гераклеи-на-Понте, и таким образом косвенно относился к Мегаре. Расположенный невдалеке мыс Партений будил священные воспоминания: здесь еще высился храм жестокой Артемиды Таврической, которая до времен служения Ифигении требовала человеческих жертв. На монетах города изображена фигура богини. Под властью римлян Херсонес вновь пережил расцвет, а при Диоклетиане, как уже говорилось, он даже расширил свою территорию; он сохранил все греческие порядки и по случаю победы был полностью освобожден от налогов. Граждане составляли счетов; как в Афинах, год называли по имени архонта, руководившего советом. Имелось множество разнообразных чиновников — стратегов, агораномов, гимнасиархов; это были почетные исполнители разнообразных дорогостоящих должностей. Так, надпись конца языческого периода восхваляет Демократа, сына Аристогена, не только за его законопроекты, речи и то, что он был архонтом два срока, но также и за то, что он за свой собственный счет несколько раз ездил в качестве посла к императорам (Диоклетиану и Констанцию?), потому, что он оплачивал многие праздники и общественные работы и был добросовестным управителем. Надпись кончается так: «Хранителю, несравненному, другу своей страны от благородного совета, августейший народ». Наградой ему стал этот камень с надписью и ежегодные торжественные чтения особого почетного декрета. Подобно свободным городам империи времен позднего Среднековья, Херсонес владел превосходной артиллерией. В войне с боспорцами сразу же пошли в ход его военные колесницы с катапультами; его артиллеристы пользовались известностью.

Древняя и некогда могучая Ольвия (неподалеку от современного Очакова), основанная милетцами, ничуть не меньше заботилась о поддержании греческого духа. Граждане Ольвии демонстрировали свое ионическое происхождение в речи и в одежде. Они знали наизусть «Илиаду» и презирали поэтов, происходивших не из Ионии; множество весьма уважаемых впоследствии греческих авторов вели свой род из Ольвии. Звания и учреждения были не менее пышными, чем херсонесские. Город удерживал селившихся в округе варваров на почтительном расстоянии, однако иногда платил им дань. Антонин Пий посылал Ольвии помощь в борьбе с тавроскифами; нам еще только предстоит узнать о судьбе этого города в более поздние времена, когда пришла в волнение огромная масса окружавших его готов.

Как бы презирая опасность, в которой они постоянно находились, греки, постольку, поскольку их поселения доходили до севера Понта, с особым уважением относились к Ахиллу, древнему воплощению героического идеала их народа. Он истинный правитель Понта, Pontarchz, как титулуют его многие надписи. В Ольвии, как во всех прибрежных городах, ему были посвящены великолепные храмы. Ему приносились жертвы «ради спокойствия, отваги и изобилия в городе». В его честь состязались музыканты, игравшие на двойных флейтах, и метатели диска; особенной популярностью пользовались соревнования мальчиков по ходьбе,

проводившиеся на близлежащей дюне, именовавшейся «бегом Ахилла», так как существовало предание, что на этом месте герой некогда участвовал в таких соревнованиях. Если дюну занимали варвары-азиаты (небольшой народ синдов), то остров Левка-на-Понте, расположенный недалеко от устья Дуная, был целиком во власти духа Ахилла. Белый утес (таковы описания[1]) поднимается из моря, его почти окружают выступы скал. Ни на берегу, ни среди уединенных долин нет ни обиталища, ни даже следа человека; лишь стаи белых птиц кружат над вершинами. Благоговейный трепет охватывает всех, кто проплывает мимо. Никто из тех, кто ступил на остров, не осмеливается провести там ночь; навестив храм и могилу Ахилла, осмотрев обетные приношения, что оставляют там пришельцы со времен далекой древности, вечером путешественники вновь поднимаются на корабль. Это то самое место, которое Посейдон некогда обещал божественной Фетиде даровать ее сыну, не только для погребения, но для долгого блаженного бытия. Однако Ахилл — не единственный обитатель этого острова; постепенно предание дало ему в товарищи других героев и благословенных духов, которые на земле вели безупречную жизнь и кому Зевс не позволил отправиться во мрак Орка. На птиц, которые внешне выглядят зимородками, смотрят с почтением. Может быть, они — зримые воплощения этих счастливых душ, о чьем жребии так тосковало позднее язычество.

Глава 4
ВОСТОЧНЫЕ ПРОВИНЦИИ И ПРИЛЕЖАЩИЕ ОБЛАСТИ

Теперь мы обратимся к восточным рубежам, где также шла борьба за само существование империи. Диоклетиан получил в наследство мятежи и кровавые войны; ценой тяжких усилий он и его соправители сумели защитить земли на востоке и отчасти вернуть их под свою власть.

В то время враг, которому суждено было оказаться опаснейшим из всех, еще бездействовал. Арабы, что однажды обрекут весь Восток власти меча и Корана, пока обитали в Сирии и Палестине — сотни племен, верные своему искусству гадания по звездам и своим идолам, с собственной чародейской мудростью и своими жертвоприношениями. Кое-кто перешел в иудаизм, и в следующем веке появилось даже несколько христианских племен. Сердцем народа была Кааба в Мекке, основанной Измаилом. Неподалеку, в Окаде, каждый год проводились двадцатидневные празднества, где, помимо ярмарок и богослужений, устраивались поэтические состязания, следы которых — семь стихотворений, Mu'allaqat, — сохранились до наших дней. Отношения с Римом были непостоянны и дружелюбны. Арабские конники служили в армии римлян, и не так уж редко посещали арабы древние святые места Палестины, служившие одновременно рынками, как, например, окрестности Мамврийского дуба, связанного с Авраамом; но по большей части это были опасные соседи. Известно, что Диоклетиан брал в плен побежденных сарацин, но никаких подробностей до нас не дошло. В рассказах о битвах императоров за Месопотамию и Египет этот народ впервые упоминается только в конце IV столетия; час его еще не пробил.

Со времен Александра Севера несравненно большую опасность представляла собой империя Сасанидов. Поскольку территория ее была не столь уж обширна, а население, по-видимому, весьма разобщено, римляне, казалось бы, обладали всеми преимуществами. Разве Римской империи так уж сложно было противостоять народу, рассеянному на пространстве от верховий Евфрата до Каспийского моря и Персидского залива, к востоку же — вплоть до Ормузского пролива? Фактически нападения Сасанидов носили скорее характер грабежей, нежели завоеваний, однако проблема не исчезала и продолжала беспокоить Рим, так как одновременно императорам угрожали германцы, а зачастую — еще и мятежники и узурпаторы, поэтому на восточные рубежи сил оставалось очень немного. Царство Сасанидов заслуживает отдельного, пусть краткого, рассказа, с одной стороны, как постоянный противник Римской империи, и с другой — благодаря своей примечательной внутренней ситуации.

Следует прежде всего сказать, что страна эта представляла собой искусственное образование, якобы воссоздававшее давно отошедшее в прошлое положение вещей. Древнее Персидское царство после завоевания его Александром перешло большей частью в руки Селевкидов; отпадение Месопотамии и восточных холмистых областей повлекло за собой возникновение Парфянского царства Аршакидов, вскоре сделавшегося вполне варварским. Наследники Малой Азии, римляне, вели с

---

[1] Если понимать античные описания буквально, Левку будет столь же трудно локализовать, как и Острова блаженных или Острова Гесперид. Но если это некое конкретное место, с которым оказались связаны мифологические представления, то подойдет любой из маленьких островков в устье Дуная или же любая точка среди ныне простирающихся там песчаных дюн. Аммиан, который настаивает именно на Левке, несомненно, располагал какими-то определенными сведениями.

Аршакидами напряженную войну, сложную не столько из-за могущества этого не слишком цельного государства, верховному правителю которого сильно мешало своенравие его наиболее крупных вассалов, сколько из-за природы тех земель, мало благоприятствовавшей атакующей армии. Но, вынудив преемника Диоклетиана, Макрина, пойти на позорное перемирие и вывести войска, последний царь, Артабан, пал, когда власть захватил Ардешир Бабекан (Артаксеркс Сассан), который заявил, что ведет свой род от старинных правителей Персии, и сразу же сплотил вокруг себя жителей Фарсистана, чтобы, по восточному образцу, оттеснить парфян от управления государством. Он не только намеревался восстановить давно исчезнувшее государство Ахе-менидов, Дария и Ксеркса, со всеми его учреждениями, но также хотел, чтобы приверженцы древнего учения Зороаст-ра вытеснили парфянских звездочетов и идолопоклонников. Многие тысячи *магов* собрались на совет; каким-то чудом удалось возродить во всей чистоте культ огня, казалось бы, давно забытый; царь стал первым из магов, и их советы и пророчества пользовались таким же авторитетом, что и слова верховного правителя. В ответ маги провозгласили его богом и даже назвали язатой (yazata) — слугой Ормузда; yazata равен по рождению звездам и может считать себя братом солнцу и луне. Христиане не признавали подобных притязаний и поэтому жили хуже, нежели в Римской империи; там типично римское требование приносить жертвы императорам соблюдалось не с таким фанатизмом, как здесь. По-видимому, во времена Парфянского царства в эти земли бежало множество христиан, и Аршакиды терпели их, возможно, из соображений политических; все они теперь оказались в руках магов. Позднее, при Шапуре II (310— 382 гг.), иудеи, народ влиятельный и пользовавшийся поддержкой королевы, принимали участие в кровавых гонениях на христиан, в ходе которых было предано смерти в числе прочих не менее двадцати двух епископов.

На отвесном утесе невдалеке от Персеполя и по сей день можно видеть гробницы персидских царей колоссальных размеров и строгих, как подобает древности, очертаний. Сасаниды не желали отдавать врагам это священное место; ряд рельефов внизу изображает батальные сцены, торжественные церемонии и охоту, и главный их герой — царь. Враждебная Римская империя, по-видимому, предоставила художников для этой работы (возможно, это были военнопленные); во всяком случае, скульптуры, как и то немногое, что сохранилось от общих контуров здания, явно свидетельствуют о влиянии римского искусства времен заката. Дошли до наших дней полукруглые арки, ведущие в гроты, высеченные в скале, и дворцы Фирузабада и Сарбистана, построенные в стиле римских бань, с окнами в нишах и сводчатыми покоями, правда, довольно-таки варварские по исполнению. Строго говоря, в Персии не было храмов; центром религиозного обряда был пирей, или алтарь, и именно на ступенях этого алтаря мы зачастую обнаруживаем царя в окружении магов.

Правоверие стало главным принципом государства. Тщетно приходил в Персию со своей дощечкой, украшенной новыми символами, преобразователь Мани, мечтавший создать новое, благороднейшее целое из элементов христианства, парсизма и буддизма. Его победили в диспуте ученые мужи Бахрама I, а потом сам царь содрал с него кожу и натянул ее на ворота Дьондишапура как предупреждение всем. Правда, в одном случае мы видим, как царь пытается освободить свой народ от бремени правления магов. Сын Иездегерда I Алафима (400—421 гг.) Бахрам Гур похищен язычником — арабским владыкой Нуманом из Хиры, который впоследствии обратился в христианство. Но в итоге принца не узнали, «так как он пошел по путям арабов», и его соперником в настоящем состязании за корону стал король Кесра или Кхосру, выдвинутый знатью. Неподалеку от королевской резиденции в Мадаине тиару Сасанидов положили на землю между двумя голодными львами, чтобы выяснить, кто из претендентов на престол первым добудет ее. Кесра разрешил Бахраму Гуру первым сделать попытку, и тот убил обоих львов и сразу же возложил корону себе на голову. Но правоверие продолжало процветать. Когда позднее царь Кавад (491—498 гг.) стал последователем ересиарха Маздака, проповедовавшего коммунизм и общность жен, началось всеобщее восстание, и он был вынужден провести некоторое время в замке Забвения. Лишь в последние годы империи стал наблюдаться некоторый спад религиозного накала.

Что же касается политики — здесь мы видим картину, типичную для азиатской деспотии. Народу разрешено только проявлять обожание. Когда новый царь начинает свою первую речь, все простираются ниц и остаются в этом положении, пока владыка не повелит встать. Даже в Восточной Римской империи идея смирения столь широко распространится еще не скоро; при Диоклетиане ниц простирался лишь посетитель внутренних покоев дворца. Однако (что тоже можно проследить на этом примере) Восток любит и всякие удивительные проявления милости или щедрости — это порождает утешительные мысли о равенстве всех перед деспотом. Тем не менее царя окружала аристократия неизвестного происхождения, возможно, родичи знатных особ, пришедших за Ардеширом из Фарсистана. Эти вельможи вместе с магами оказывали немалое воздействие на двор, и на их счету — не одна попытка переворота. Представители этой аристократии подчинили себе Бахрама II (296—301 гг.) вместе с Великим магом (мобедом мобедов), они

посадили на трон Бахрама III (301 г.), который вовсе не желал такого поворота событий, они перерезали веревки шатра Шапура III, так что тот умер от удушья в завалившейся палатке. Но во многих вопросах, касавшихся наследования, они пользовались своей несомненной силой с таким благоразумием, что Римской империи оставалось только позавидовать. На самом деле заинтересованность знати в продолжении династии вполне естественна, ведь право наследования — основа ее собственного существования. Как контрастирует с калейдоскопической сменой императоров случай, когда, после смерти Ормуза II, персидские вельможи возложили тиару на потяжелевшее тело одной из его жен! Она уверяла, что ребенок будет мальчиком, и самому Ормузу еще задолго до того астрологи клялись, что сын его станет великим и победоносным царем. Мальчик родился, сановники назвали его Шапур II и управляли страной, пока он не достиг совершеннолетия. Он обязан был присутствовать на дворцовых церемониях десять раз в день. К счастью, он оказался сильным человеком, который очень рано стал расти и развиваться независимо; жизнь его и царствование длились семьдесят два года, и срок его правления равен сроку правления Людовика XIV. Другое мелкое сходство с Людовиком состоит в том, что он заставил аристократов оставить свои поместья и поселиться поближе к нему, в столице Мадаин (древние Ктезифон и Селевкия).

Но в деле престолонаследия, как мы уже отмечали, не обходилось и без насилия, хотя цари всячески пытались избежать его, коронуя наследников еще при жизни (см. гл. 2). Вельможи и, вероятно, также маги зачастую особенно благоволили к некоторым принцам из рода Сасанидов; даже признанные цари боялись захвата власти со стороны их родни. Чтобы избавить от таких подозрений своего отца Шапура I, Ормуз I послал ему свою отрубленную правую руку (типично восточное превращение символа в реальность), но отец отказался принять столь благородное признание собственной неспособности править.

Новая власть применяла заметно более благородные средства для достижения более благородных целей, нежели парфяне, остававшиеся варварским народом. О некоторых Са-санидах известно, что они совершали типичные благодеяния идеальных восточных владык: покровительствовали сельскому хозяйству, производили ирригационные работы, осуществляли правосудие, создавали законы, строили полезные и красивые здания (по крайней мере, вдоль царских дорог), основывали новые города, поддерживали школы и художников со всей округи. Традиция сохранила для нас не только внешний облик царей, но и их образ мыслей, запечатленный, как это принято на Востоке, в афористических изречениях.

Высказывание основателя династии, Ардешира I, звучит как общий ее девиз: «Нет царства без воинов, нет воинов без денег, нет денег без народа, нет народа без правосудия». Таким окольным путем он дошел до понимания нравственных основ государства. В любом случае его главной задачей было обеспечение военной безопасности страны. Ибо это царство, причинявшее римлянам столь много забот, само страдало от той же внешней угрозы. На юге начинали свой натиск арабы; говорят, что маги уже тогда знали, что однажды они завоюют Персию. Шапур II, за время малолетства которого они оторвали от персидских владений немалый кусок, в шестнадцать лет (326 г.) предпринял страшный карательный поход против арабов. Он построил в Персидском заливе флот и поплыл в Аравию. После всеобщей резни на острове Бахрейн и среди племен Темин, Бекр-бен-Вайел и Абдолкай по его приказу плечи выживших просверлили, протянули через них веревки и так волокли; Константин всего лишь бросил своих пленников-германцев на трирскую арену диким зверям.

С севера, из окрестностей Каспийского моря, царству угрожал другой опасный враг — эфталиты, или «белые гунны», как их ошибочно называли, одно из тех тюркских племен, которые, кажется, и на свет появились затем, чтобы стать на многие столетия роком Ближнего Востока. Победоносная война, которую вел против них Бахрам Гур (420— 438 гг.), принадлежит к области тех многообразно варьирующихся приключений, которые составляют предание о его жизни; но то, что он отбросил кочевников за Оке, по всей видимости, факт. Тем не менее в скором времени им представился случай вмешаться в борьбу за престол (456 г.) между двумя сыновьями Иездегерда II: Фируз, старший из сыновей, был свергнут и нашел у них убежище, они же дали ему большую армию и восстановили его на персидском троне. С тех пор их влияния уже никак нельзя было избежать, и часто Сасаниды платили им годовую подать.

Позднейшие злоключения царства и его финальный расцвет при Кошру Нуширване рассматривать здесь нет необходимости. Вернемся к событиям, произошедшим в эпоху Диоклетиана и Константина.

Во времена Галлиена и тридцати тиранов королевство Пальмира было союзником Рима в борьбе с персами. Оде-нат нанес поражение Шапуру I, торжествовавшему победу над Валерианой, и преследовал его до Ктезифона. Но когда Аврелиан позднее напал на пальмирцев, Сасаниды решились поддерживать их, чтобы не получить в лице Рима излишне могучего соседа. Бахрам I отправил

на помощь Зиновии армию, которую римский император разбил вместе с войсками королевы. Аврелиана, а затем Проба персы умиротворили богатыми подарками. Несмотря на это, Проб начал подготовления к войне с ними, а его преемник Кар развязал ее. Римская армия по ту сторону Тигра и на сей раз добилась блестящих успехов, но все было потеряно из-за внезапной кончины Кара, когда сын его, Нумериан, решил вернуться в Рим (283 г.). Как и следовало ожидать, Бахрам II после недолгих колебаний воспользовался смутой, царившей во всей империи при восхождении на престол Диоклетиана, чтобы обезопасить себя и продвинуться на запад. Какое-то время путь оставался открытым, так как императоров занимали более непосредственные дела. Теперь удар приняла на себя Армения.

Первое время эта страна, находившаяся под властью побочной ветви низвергнутого царского рода парфян Аршакидов, наслаждалась римской протекцией. Но когда при Валериане и Галлиене империя начала распадаться, с помощью неких местных объединений Шапур I овладел Арменией. Тиридата, сына убитого царя Хосрова, спасла только преданность дворцовых слуг, и он оказался под защитой римских императоров. Наделенный недюжинной силой и благородной душой, неоднократно чествовавшийся за победы на Олимпийских играх, он более всех подходил для роли претендента на престол утраченной отчизны. Как Нерон некогда наделил Арменией своего одноименного предка, так и Диоклетиан поступил по отношению к Тиридату (286 г.). Тот обнаружил, что его родина изнывает под разнообразными тяготами, в том числе и религиозного порядка. Чужеземцы-персы, не отличавшиеся терпимостью, уничтожили статуи обожествленных властителей Армении и сакральные изображения солнца и луны и вместо них воздвигли пирей для священного огня на горе Багаван. Вскоре вокруг наследника сплотились и знать, и простолюдины; персы были изгнаны, а сокровища, включая принцессу, спасены. Мамго, подданный скифов, однако, по-видимому, преданный туркам вождь, будучи изгнан Шапуром из Армении, пришел вместе со своими сторонниками служить новому владыке. Но Нарсе I собрал все силы, опять отвоевал Армению и заставил Тиридата снова искать защиты у римлян.

Тем временем Диоклетиан и его соправители одержали верх над большей частью противников и могли теперь наконец заняться Востоком. Поскольку старший император тогда как раз пытался укротить Египет, где то и дело вспыхивали мятежи, он передоверил руководство походом против Нарсе своему цезарю, Галерию; генеральный штаб располагался в Антиохии. Но две битвы, завершившиеся с неопределенным результатом, и одна, проигранная Галерием, невзирая на всю его отвагу, вновь обильно оросили римской кровью пустынную равнину между Каррами и Евфратом, куда некогда Красе привел умирать десять легионов. Диоклетиан, который усмирил Египет, пока цезарь Максимиана, Констанций Хлор, возвращал восставшую Британию в лоно империи, особенно рассердился из-за того, что только на Евфрате оружие римлян оказалось несостоятельным. Возвращаясь, неудачливый цезарь встретил августа в Сирии; Диоклетиан принудил его бежать целую милю за своей колесницей, прямо как был, в порфире, на глазах у войска и придворных. Этот случай, пожалуй, наиболее явно демонстрирует истинный характер власти Диоклетиана. Преданность Галерия не поколебалась ни в малейшей степени; он просил лишь о дозволении смыть свое бесчестье победой. Теперь вместо немощных азиатов в поход отправились несокрушимые иллирийцы и союзная армия наемных готов; в сумме их было двадцать пять тысяч, но зато первоклассных воинов. На этот раз (297 г.) Галерий двинулся от Евфрата в холмистые земли Армении, где нашлись сочувствовавшие римлянам и где персидская армия, большую часть которой составляла конница, представляла меньшую опасность, нежели на равнине. (У персов, согласно Аммиану, пехота считалась достойной только сопровождать обоз.) Сам Галерий всего с двумя спутниками выследил лагерь беспечного противника и неожиданно напал на него. Успех был полный. После жестокой бойни раненый царь Нарсе бежал в Мидию; его шатер и шатры его вельмож, полные награбленных богатств, достались победителю, и его жены и множество родичей оказались в плену. Галерий знал цену таким заложникам и обращался со своими пленниками весьма заботливо.

Если дошедшие сообщения о войне кратки и скудны, то отчеты о последующем заключении мира, напротив, удивительно подробны. Напыщенная азиатская лесть, украшающая начало переговоров, которые Афарбан, наперсник Нарсе, вел лично с Галерием, производит весьма забавное впечатление. Рим и Персия для него — два светильника, два ока мира, которые не должны мешать одно другому. Одолеть Нарсе мог только такой великий правитель, как Галерий; судьбы человеческие воистину изменчивы. Насколько критическим было положение Персии, можно судить по тому, что царь предоставил разрабатывать политические условия мира римскому «человеколюбию» и просил только вернуть ему семью. Сперва Галерий разговаривал с посланником в резком тоне и напомнил ему об императоре Валериане, которого персы замучили до смерти, но потом сказал и несколько более любезных слов. Затем император и цезарь встретились в Нисибине, у берегов Евфрата. На этот раз Галерий, как победитель, был принят с высочайшими почестями, но опять всецело подчинился суждению Диоклетиана и отказался от

легкого и обреченного на удачу завоевания Ближней Персии, от идеи присоединить таким образом к империи весьма полезные и нужные области. Секретарь, Сикорий Проб, отправился к Нарсе, который отошел в Мидию, чтобы выиграть время и собрать войска, надеясь напугать утомленного боями римского посланника. Проб встретился с царем на реке Аспруд и заключил договор, согласно которому персы лишались пяти провинций, включая земли курдов и всю территорию от верховий Тигра до озера Ван. Таким образом, с одной стороны, к римлянам вернулись их былые владения, а с другой — появился заслон для протектируемой ими Армении, причем земли эти некогда уже входили в ее состав. Так персы лишились значительных территорий на юго-востоке, а Тиридат получил престол. В результате правитель Иберии оказывался подданным римлян, что было немаловажно, так как эта суровая гористая местность к северу от Армении (более или менее соответствующая современной Грузии), с ее войнолюбивыми обитателями, теперь служила аванпостом и защищала империю от варваров, спускавшихся с Кавказа. После принятия этих условий семья Нарсе, которую держали в Антиохии, вернулась к нему.

Теперь на границе хватало крепостей и гарнизонов. Наступивший в Передней Азии мир продолжался почти сорок лет, до смерти Константина. Императоры-победители не понимали, что их успехи, в сущности, расчистили путь ненавистному им христианству. О встречном влиянии, которое оказало на Римскую империю манихейство и разнообразные персидские верования, будет сказано в свое время.

Персов и их обычаи, такими же как они описаны у Аммиана в IV веке, несмотря на чужеземные новшества, в том числе и мусульманство шиитов, можно узнать в рассказе Агафия, восходящем к VI веку. Все тот же неопределенный взгляд под выгнутыми бровями, сходящимися у носа, те же ухоженные бороды. Старые правила поведения во многом сохранились. От знаменитой некогда умеренности остались лишь воспоминания. До сих пор для них характерна своеобразная смесь несколько женственной любви к роскоши и огромной отваги, так же как соединение откровенного бахвальства и своекорыстной хитрости. Римляне, как и мы, обращали внимание на их широкие пестрые одежды и блестящие украшения. Традиции, связанные с религией, как, например, обычай бросать трупы псам и стервятникам, естественно, удержались только там, где устоял парсизм. Многие их поверья ислам уничтожил или превратил в волшебные сказки. Для перса времен Сасанидов вся его повседневная жизнь, каждый шаг и жест были исполнены пугающей или влекущей магии, и от священного огня пирея непрестанно исходили пророчества. Они, однако, не удовлетворяли великого Шапура II; среди магов были некроманты, которые вызывали для него в критических ситуациях духи умерших — например дух Помпея.

Неоднократно отмечалось, насколько схожи обычаи Персии эпохи Сасанидов и средневекового Запада, по крайней мере в некоторых отношениях. К примеру, маги отличались монашеской воздержанностью и среди знати занимали положение наподобие духовенства. Жаль, что мы не располагаем подробностями и не представляем даже, каким образом они сами поддерживали существование своего сословия. Да и сама знать с ее грубоватым рыцарством неотличима от западной. Отношения аристократов и царя носят вполне феодальный характер; основное, что требуется от первых, — прийти на помощь правителю в случае войны. Судя по дошедшим памятникам, эти персидские воины в кольчугах и шлемах с плюмажем, с копьями и мечами, верхом на конях с великолепной сбруей в точности похожи на наших средневековых рыцарей. Как и у рыцарей, цель их жизни составляли приключения, будь то в битвах или в любви. Предание быстро преобразило фигуру Бахрама Гура в великолепный образчик такого рода, и герои мифологического прошлого — Рустам и Фаридун — всегда очень почитались. Такой непрактичный романтизм являет разительный контраст с чертами, свойственными римлянам.

Вернемся к Армении. До сих пор эта страна, отважный и восприимчивый к знаниям народ которой всегда избегал любых влияний извне, обзавелась лишь относительными начатками культуры, и нищета и рабство вот-вот должны были снова воцариться в ней. Но правление Тиридата, которое одновременно стало временем обращения в христианство, являет собой поистине счастливый период. Одажды христинство, точнее, армянская церковь станет главной духовной опорой армянской нации.

Вот что сообщает нам Моисей Хоренский, летописец этого народа: Григор Просветтель, происходивший из побочной ветви царского дома Аршакидов, в результате особого стечения обстоительств ребенком попал в римскую Каппадокию, там воспитывался в христианской семье и впоследствии женился на христианке Марии. Спустя три года они расстались, чтобы добровольным воздержанием лучше служить Богу. У них было два сына, и младший стал анахоретом, а старший продолжил род. Затем Григор, сопроводжая Тиридата, который еще не отрекся от язычества, вернулся в Армению, где и стал, с большой опасностью для себя, обращать народ.

Из других источников мы узнаем, что вместе с ними трудилась святая женщина, Рипсимэ, принявшая даже мученическую кончину, хотя обращение армян шло достаточно быстро. Перед

началом гонений Диоклетиана в 302 г. Григор крестил самого Тиридата и значительную часть населения. Он дожил до Никейского собора, который не пожелал посетить из чувства смирения, и с 322 г. проводил старость отшельником в пещерах Мани. Он сам сделал сына своим преемником на посту епископа или высшего священника. Он умер в безвестности, и пастухи похоронили его; спустя долгое время тело его было найдено и с почестями перенесено в Фордан.

Тиридат пережил Константина и был отравлен знатью в 342 г. Вскоре гражданская война и чужеземное вторжение ввергло царскую династию Аршакидов, точно так же как и священство Аршакидов, где также верховное звание было наследственным, в пучину хаоса и смятения. Но духовную печать, наложенную новой религией, не стерли последующие чужеземные властители. Христианство, хотя и застывшее в форме монофизитства, до сих пор объединяет армян, рассеянных по всей Австрии, за исключением униатов (римо-католиков), к которым сейчас причислчяют себя лучшие и образованнейшие представители этого народа.

Таково было положение соседей Рима на востоке, его друзей и его врагов. Азиатские провинции самой империи при Диоклетиане и Константине наслаждались тишиной и спокойствием, изредка прерывавшимися крупными войнами. Обрисовка тогдашней ситуации в Сирии и Малой Азии потребовала бы особого обширного исследования. Мы ограничимся тем, что опишем нарыв на теле империи, уже целые века гноившийся, страну разбойников-исавров – общее место всех очерков истории Рима.

О пиратстве и работорговле в Киликии, которые особенно расцвели во времена упадка королевств-преемников [Александра Великого], известно значительно больше, так как они были искоренены Помпеем Великим, в памятные последние годы республики, после того как Киликия долгое время предоставляла помощь и убежище пиратам всего Средиземноморья. Уже тогда древняя Исавра считалась одним из внутриимперских разбойничьих логовищ, и затем только Исавра, то есть вся область за Киликией, стала называться Исаврией. Это суровая местность вулканического происхождения, с высокими скалами, где города больше напоминают крепости. Возможно, зерна преступного характера, свойственного обитателям этих задворок Киликии, просто не были искоренены в войне с пиратами, а может быть, из-за недостака контроля жители данной страны выбрали такой образ жизни уже потом, - но исавры III столетия были настоящей чумой юга Малой Азии. Во времна тридцати тиранов они сочли целесообразным провозгласить одного из своих вождей, Требеллиана, императором, и он завел в Исаврии дворец, чеканил монеты и продержался в своей глуши достаточно долго. Мы не знаем, каким образом Кавзизолею, одному из военачальников Галлиена, вообще удалось поймать этого человека, но в любом случае гибель его не означала завоевания страны, так как исавры еще теснее объединились из страха дальнейшей мести римского императора. При Клавдии Готском был предпринят новый поход, который оказался столь успешным, что порфироносец даже придумал переселить исавров в Киликию и отдать их опустевшие земли во владение кому-нибудь из преданных своих сторонников; по-видимому, в возможность мятежа он не верил. Но скорая смерть Клавдия помешала осуществлению этого плана, и исавры быстро стали столь же дерзки и деятельны, как и прежде. При Пробе один из их разбойничьих главарей, Лидий, поставил Ликию и Памфилию в очень рискованное положение. Он не только укрылся от всех нападений в неприступной Кремне (в Писидии), но принялся сеять и жать и так обеспечил себя на случай голода. Несчастных жителей, которых он прогнал, а римский наместник силой заставил вернуться, преступник сбрасывал с городских стен в пропасть. Из Кремны вел на свободу проходивший под римским лагерем подземный ход; по нему люди Лидия время от времени доставляли в город скот и провизию, пока противник наконец не обнаружил его. Тогда Лидий ощутил необходимость сократить число своих товарищей до минимума; несколько женщин оставили в живых и обобществили. Наконец его лучший артиллерист, с которым он рассорился, пошел к римлянам и из их лагеря стал швырять свои снаряды в отверстие в стене, которым Лидий пользовался как смотровой щелью. Главарь разбойников был смертельно ранен, но взял со своих людей клятву не сдавать крепость, что, впрочем, не помешало им нарушить свое обещание, едва только он отправился к праотцам. Но эта победа разве что обезопасила на какой-то срок Писи-дию; Исаврия, лежащая восточнее, оставалась в руках преступников. Это со всей отчетливостью звучит в одном документе эпохи Диоклетиана: «После Требеллиана исавров считают варварами; их страна, находясь посреди земель, подчиненных римской мощи, окружена небывалого рода охраной, словно здесь граница, она защищена особенностями мест, а не людьми. Ведь они не отличаются статностью, не обладают доблестями, не снабжены в достаточном количестве оружием, не способны принимать разумные решения; они пребывают в безопасности только благодаря тому, что, живя на возвышенностях, труднодосягаемы».

С этой небывалого рода охраной и тем, как она боролась с разбойничьим народом, мы

знакомимся на нескольких примерах из практики IV столетия. Только этим занимались не менее чем три легиона, позднее по крайней мере два. Штабы располагались, по-видимому, в Тарсе, что в Киликии, и в Сиде, что в Памфилии, а склады провизии — в Палее; отряды же или стояли в деревнях и крепостях, или переходили с места на место подвижным строем. Тем не менее они не отваживались забираться в холмы, так как знали по опыту, что, когда с отвесных склонов покатятся валуны, все римское тактическое искусство окажется бесполезным. Исавров дожидались на равнинах, куда те выходили, чтобы устроить набег на Киликию, Памфилию, Писидию или Ликаонию; здесь с ними было легче управиться, и либо убить, либо бросить диким зверям в один из амфитеатров крупных, любящих увеселения городов вроде Иконии. Но даже побережье Киликии не всегда удавалось защитить; по временам пиратская натура народа скал вырывалась наружу с такой силой, что они могли подолгу удерживать часть его (как было, например, около 355 г.), и вынуждали суда прижиматься к лежащему напротив Кипру. Осада второго по значению города Киликии, Селевкии-Трахеотиды, не казалась им особенно опасным предприятием; только большое римское войско в качестве подкрепления заставило их снять блокаду. Затем они снова успешно скрылись на несколько лет в своих скалах за редутами и бастионами, а в 359 г. сильные шайки опять вырвались на волю и грабежами навели ужас на всю округу. Известно, что утихомирили их скорее угрозы, чем наказание. Новый их набег на Памфилию и Киликию, когда они убивали всех, кто попадал к ним в руки, зафиксирован в 368 г. Легковооруженный римский отряд во главе с одним из высших должностных лиц империи, неоплатоником Музонием, попал в засаду в узком ущелье и был уничтожен. После этого исавров стали теснить и гнать, пока они не взмолились *о* мире и не получили его в обмен на выдачу заложников. Одно из их важнейших обиталищ, Германикополь, который по традиции выступал от их имени, представлял их и на этот раз; упоминаний о каком-нибудь вожде или князе, облеченном особой властью, нет. Восемь лет спустя, при Валенте, исавры вновь появляются на сцене; после 400 г. полководец Тацит пытался очистить Исаврию от разбойников; в 404-м полководец Арбазакий нанес им поражение, но затем они подкупили его и продолжали действовать в том же духе. Это длилось годы, до эпохи поздней Византии, вновь и вновь повторялась та же схема: нападение, защита, кажущаяся покорность. Народ немногочисленный, они были, очевидно, совершенно варваризированы. Римляне воспринимали их только как врагов, это вполне понятно, но, тем не менее, достойно сожаления то, что у нас нет сведений о политической, нравственной и религиозной ситуации, сложившейся у исавров. Во многом их отношения с Римом были похожи на отношения черкесов с Россией, но по сути совершенно отличались. Исаврия была эллинизирована, хотя бы поверхностно, а потом постепенно вернулась к изначальному состоянию. То, что такой процесс мог идти совершенно беспрепятственно, характеризует положение в Римской империи достаточно явственно.

Теперь обратимся к южному берегу Средиземноморья. И снова в числе несчастнейших земель Римской империи мы найдем Египет, где Диоклетиан оставил по себе горькую память, жестоко подавив одно из тех восстаний, которыми так богата история этой страны после завоевания ее сыном Кира.

В отношении римлян к египтянам любопытно смешивались, с одной стороны, глубокое презрение и всегдашняя строгость к местному населению (египтян это касалось в той же мере, как и колонизированных греков и евреев), а с другой — традиционное почтение к документам и памятникам эпохи фараонов, насчитывавшей тысячелетия, и к живым ее следам — я имею в виду ту таинственную религию жрецов, чей культ Исиды, символы, заклинания и магическое искусство меньше всего отношения имело к по-зднеримскому миру. Какой-нибудь римский префект, безжалостный грабитель своих подчиненных, отправлялся в путешествие в стовратные Фивы или на остров Филы, и высекал свое имя на икре статуи Мемнона, заодно подтверждая, что на утренней заре он слышал ее знаменитое звучание. Вполне обыденное любопытство человека, изучающего древности, или туриста, а также романтическая тоска человека ученого в равной степени стремились к Египту и его цивилизации, насчитывающей не одну эпоху. В Египте происходит действие романов Ксенофонта Эфесского и Гелиодора; в их красочных историях о влюбленных, Антии и Габрокоме, Феагене и Хариклии, разбойничьи шайки египтян играют ту же роль, какую современные писатели обычно отводят итальянским бандитам — не говоря о символическом романе Синесия, который облачил события эпохи Аркадия в древнеегипетские одежды. Гелиодор говорит: «...Египетский рассказ и любая повесть чаруют эллинский слух». В изобразительных искусствах египетские образцы также были в моде, особенно при Адриане, да и много позднее художники сохраняли любовь к египетским пейзажам, где берега подателя жизни — Нила пестрели удивительными животными, фелюгами, деревьями и домиками; так у нас в моду время от времени входят китайские мотивы. К такого рода произведениям относится знаменитая палестринская мозаика.

Реальность же была ужасающей. Когда древние цивилизации с блестящим прошлым, оказавшись в подчинении чужеземных и относительно малокультурных захватчиков, столетиями переходят из рук в руки, народы их часто приобретают характер, который иностранный правитель воспринимает как угрюмую раздражительность, даже если это не вполне справедливо. Персидское завоевание положило начало данному процессу; египтяне все больше и больше ожесточались, и не только из-за самого по себе подчиненного положения, но также и из-за возмутительного презрения к их древней религии. Примитивный культ огня у персов столкнулся с развитым пантеоном их новых подданных, где большую роль играли животные; и то, что одна религия рассматривала как сакральное, другой почиталось за нечистое. Отсюда — бесконечные вспышки восстаний, которые не могли загасить даже реки крови.

Греческие властители, сменившие персов, не так сильно ссорились с египтянами; в политеизме Ближнего Востока и Египта их эллинская вера искала не различий, а родственных черт, причем весьма старательно. Для Александра Великого Амон был то же, что и Зевс, которого он считал своим прародителем. Но и до Александра греки не сомневались, что их Аполлон и египетский Гор, Дионис и Осирис, Деметра и Исида — одни и те же боги; на Ниле обитали двойники половины Олимпа. Птолемей, сын Лага, забравший себе Египет, когда огромное наследство Александра поделили между собой его военачальники, особенно старался снискать расположение египтян, как и его непосредственные преемники, создавшие новое царство. Не в их интересах было растаптывать, подобно персам, все, присущее подчиненной нации, и этим вызывать отчаянные мятежи. Они стремились скорее создать строго упорядоченную, замкнутую иерархию военных и гражданских должностных лиц, оказывая при этом ровно столько давления на страну, сколько было необходимо для того, чтобы обеспечить приток денежных ресурсов провинции в царскую сокровищницу, где скапливались невероятные суммы, невзирая на наличие ста пятидесяти тысяч солдат и четырех тысяч кораблей. Осталось нетронутым древнее и нигде больше не встречавшееся, основанное на соображениях удобства сельского хозяйства, деление Египта на *номы*. Даже кастовая система не претерпела насильственных изменений, хотя местной касты воинов уже не существовало. Жрецов, распоряжавшихся в храмах, всячески поддерживали, и в торжественных случаях царь даже присутствовал на их обрядах, не забывая, однако, собирать с них немалые налоги. Птолемей Эвергет выстроил великолепный храм в Эсне, притом в стиле, который не слишком отличался от древнеегипетского. Правителей этой династии продолжали бальзамировать и почитали их, как «богов-спасителей», наравне и даже больше Исиды и Осириса. В этом наиболее явно проявилось взаимопроникновение двух народов, четко обрисовавшееся, когда греки перестали уединяться в своих поселениях, а рассеялись по всей стране. Новый город мирового значения, Александрия, оставался, однако, по преимуществу греческим. Здесь характер греков, космополитичный в той своей разновидности, которую мы называем эллинистической, расцвел особенно пышным и прекрасным цветом. Не было тогда в мире города, которому было бы свойственно такое же величие и где шла бы столь же насыщенная, деятельная жизнь, как в Александрии, говорим ли мы о делах духовного или вполне материального порядка; но нигде не было и столько разврата, сколько в Александрии, где три народа (считая иудеев) совершенно забыли собственный национальный характер и нуждались скорее в полицейском надзоре, нежели в разумном управлении.

Когда, после победы при Акции, Август завладел этой страной, для которой уже начинался период упадка, единственное оправдание ее существования вдруг свелось к служению Риму — в качестве житницы и источника доходов. Ни за какой другой провинцией не следили столь пристально, и из-за опасных настроений ее обитателей, а также страшных пророчеств, и из-за исключительной ее значимости. Без высочайшего позволения ни один римский сенатор или всадник не мог попасть в эту область; место префекта Египта было важнейшим и ответственнейшим, поскольку нигде больше на предотвращение измены и мятежа не требовалось так много труда. Естественно, префект получал неограниченные полномочия; считалось, что он должен быть для египтян олицетворением их древней власти, и пышные торжественные путешествия префекта все же хоть как-то напоминали о былом величии Египта. В сопровождении огромной свиты, куда входили жрецы, наместнику надлежало плавать вверх-вниз по Нилу на одном из тех позолоченных шедевров, которые составляли неотъемлемую часть птолемеевского великолепия. Иерархия должностных лиц, подчинявшихся префекту, осталась, по существу, той же, что и при Птолемеях. О самих жителях сведений дошло меньше; мы не знаем, выбирали ли они хотя бы низших чиновников и собирались ли они зачем-то еще, кроме как чтобы выразить преданность императору. Войска завоевателей, оберегавшие страну от врагов внутренних и внешних, были немногочисленны даже по экономным римским стандартам. Вскоре после Августа там находилось самое большее двадцать тысяч человек на восемь миллионов жителей (среди них миллион иудеев). Окрестности Мемфиса, где Нил начинал разделяться, римляне, как впоследствии и арабы, считали одним из важнейших

стратегических пунктов; поэтому здесь, в Вавилоне, — сейчас это Старый Каир — постоянно располагался военныйотряд. В мирное время солдаты рыли каналы, осушали болота и тому подобное. Проб даже строил с их помощью храмы и другие мощные постройки. Издержки, очевидно, были не столь велики, если страна, тем не менее, приносила требуемый доход. Доход этот шел на бесконечные нужды Рима. Пятая часть всего производства зерна (как это было при фараонах) или ее частичный эквивалент в деньгах в качестве земельного налога, либо, возможно, даже двойная десятина плюс земельная рента выплачивались государству. Храмовая собственность не освобождалась от этого сбора. Вдобавок к более чем полутора миллионам центнеров зерна ежегодно, таким образом полученным, взимался подушный налог и высокие пошлины на ввоз и вывоз. Последние еще увеличились по сравнению с эпохой Птолемеев, так как весь римский мир постепенно приохотился к некоторым индийским товарам, доставлявшимся главным образом через Египет. Известно, что таможни стояли от устья Нила до Верхнего Египта и Красного моря; сборщиками были египтяне, так как никто другой для этого отвратительного занятия не годился. Что же касается рудников, то, пожалуй, лишь малая часть добываемых там богатств шла непосредственно в пользу страны. Ценные минералы Египта, изумруды Копта, красный гранит Сиены, порфир Клавдиевых гор — все это было необходимо для придания великолепия платью и зданиям. В рудниках трудились, помимо арабов, особенно искусных в отыскивании месторождений, тысячи других проклятых богом людей.

Исходя из имеющихся сведений о занятиях и экономическом положении народа, можно заключить, что Верхний и Средний Египет, там, где Нил орошал почву, полностью были отданы под сельскохозяйственные культуры, а широкое производство всякого рода тканей, стекла и керамики сосредотачивалось в Нижнем Египте, где Дельта и смежные области также предоставляли прекрасные возможности для занятий сельским хозяйством. Нетрудно догадаться, что в верхней части страны древние города практически опустели, и остались только нерушимые дворцы и храмы; во всяком случае, основанная позднее Птолемаида (вблизи Гирги) превзошла их все и сравнялась с Мемфисом — который вовсе не представлял собой чего-то особенного. Население нижней части страны, как можно с уверенностью предположить, состояло преимущественно из наемных рабочих-пролетариев, которые не имели ничего и просили немногого. Их труд, по крайней мере в Александрии, вызвал восхищение Адриана: «Там никто не живет в праздности. Одни выдувают стекло, другие производят бумагу, словом, все, кажется, занимаются тканьем полотна или каким-нибудь ремеслом и имеют какую-нибудь профессию. Есть работа и для подагриков, есть работа и для кастратов, есть дело и для слепых, не живут в праздности и страдающие хирагрой». Означает ли это чрезвычайное дробление земельной собственности или, напротив, ее сосредоточение в нескольких руках, установить нельзя, так как мы, например, не знаем, насколько велики были в Нижнем Египте храмовые наделы и государственные владения. Да, в конце концов, даже с участка, находившегося в личном пользовании, взимались огромные налоги.

Выше уже мельком упоминалось о местности под названием Буколия, расположенной по соседству с нынешним Думьятом. Древние жители этой местности, о которых, видимо, несколько столетий никто не вспоминал, создали нечто вроде разбойничьего государства. Даже в самой Италии империя иногда позволяла разгуляться шайкам грабителей. Практически перед самым носом у могущественного Септимия Севера и его победоносной армии весьма одаренный Булла Феликс с шестьюстами товарищами два года ухитрялся взимать дань за проезд по Аппиевой дороге. Несколькими десятилетиями позднее упоминается известное и богатое разбойничье семейство, проживавшее на генуэзской Ривьере, близ Альбенги, которое сумело вооружить две тысячи своих рабов. Об Исаврии и ситуации, вокруг нее сложившейся, с которой, тем не менее, мирились, речь уже шла. Но против египетских буколов пришлось начать войну даже Марку Аврелию. Дион Кассий говорит: «Они поднялись и побудили взбунтоваться других египтян; жрец [и] Изидор вели их. Сперва они замучили одного из римских военачальников; они одели его как женщину, словно бы собираясь предложить ему деньги за освобождение своих людей. За тем они убили его и его товарища, принесли клятву на внутренностях последнего и съели их. <...> Они нанесли поражение римлянам в открытом бою и почти уже захватили также Александрию, если бы Авидий Кассий, явившийся для борьбы с ними *из* Сирии, не покорил их, разрушив их единодушие и разделив их, ибо не следовало рисковать, идя на битву с этой безумной толпой».

Собственно говоря, буколов насчитывалось едва ли несколько тысяч, и, если бы количество играло решающую роль, о них, пожалуй, можно было бы не упоминать в книге об истории Римской империи. Примеры того, как древние, униженные народы возвращались к варварству, мы нашли бы, разумеется, и в других областях, если бы известия о провинциях не отличались такой лаконичностью. Самоназвание буколов, означающее «пастухи коров», наводит на мысль о некоей старинной касте и ее последних остатках; но эти люди явно не имели никакого отношения к коровам, разве что крали их. Течение одного из средних рукавов Нила питает большое озеро

неподалеку от моря, и поросшие тростником болота вокруг него стали жилищем или, по крайней мере, укрытием этих парий; вероятно, там находилось самое негигиеничное место в Египте, и поэтому никто особенно не претендовал на владение им. Буколы жили там частью на лодках, частью в хижинах на маленьких островках; детей привязывали полосками ткани, которые не давали им свалиться в воду. Проходы для своих челноков они прорубали сквозь осоку, и никто, кроме них, не обнаружил бы там дороги. Существуют упоминания о разбойничьих деревушках, но это, вероятно, те же самые поселения на озере. К буколам мог прийти каждый, кого не устраивало существующее общественное устройство; характер их явно выразился в восстании, случившемся при Марке Аврелии. Уже один вид этих людей, у которых волосы спереди закрывали весь лоб, а сзади свисали нестриженными патлами, был ужасен. Поразителен контраст между поселениями, разделенными всего несколькими днями пешего хода: богатая, промышленно развитая Александрия; разбойничье государство на болотах; западнее, на озере Мареотида, — последние иудейские анахореты; в близлежащей Нитрийской пустыне — первые христианские отшельники. Сами буколы не желали иметь ничего общего с христианством; даже в конце IV столетия среди этих «диких варваров» не было ни одного приверженца новой религии.

Но пора поговорить о характере и судьбе египтян в по-зднеримский период. Аммиан говорит: «У жителей Египта стыдится тот, кто не может показать множество шрамов на теле за отказ платить подати, и до сих пор не могли еще изобрести орудия пытки, которое могло бы у какого-нибудь закоренелого разбойника в этой стране вырвать против воли настоящее его имя». Так относились низшие классы общества к должностным лицам. В случае несчастья, например если началась война или пропал урожай, прежде всего ругали правительство. Массы всегда были настроены бунтарски, в том числе и при прекрасных властителях. Обычно это проявлялось в злобных насмешках, не знающих границ, когда причина их — навязанная рабская угодливость. Почтенная римская матрона, жена префекта, которая поэтому вынуждена была жить в Египте, тринадцать лет не появлялась на людях и не допускала в свой дом ни одного египтянина, так что о ней, видимо, наконец забыли. Те же, кто не мог себя защитить таким образом, становились героями самых непристойных сплетен и песенок, «которые насмешникам кажутся забавными, но тем более сильно оскорбляют тех, кого высмеивают». В случае с Каракаллой, как мы уже видели, они просчитались; после нескольких лет раздумий он отплатил им, перебив несколько тысяч человек. Август и Нерон вели себя умнее; они не обращали внимания на насмешки александрийцев и забавлялись их талантливой лестью и восхвалениями.

Египтяне проявляли склонность к ссорам, стычкам и сутяжничеству, а также беспримерную лживость не только по отношению к вышестоящим, но также и по отношению друг к другу. Эти вечно угрюмые люди могли загореться диким гневом и обидой всего-навсего из-за того, что кто-то не ответил на приветствие, или не уступил места в бане, или как-то еще уязвил их болезненное самолюбие. Поскольку малейшее беспокойство могло ожесточить тысячи и взорвать все то, что накопилось у них внутри, подобные происшествия всегда были крайне опасны; и потому во имя порядка и спокойствия в стране лицу, облеченному властью, в глазах императора прощались любые гонения. Все знали, что мир можно восстановить, только пролив кровь. О многом говорит то, что в Александрии раньше, чем в любом другом городе империи (вероятно, еще во времена Птолемеев), на ипподроме стали возникать кровавые драки между болельщиками возничих.

Только религия, пусть выродившаяся и лишенная какой-либо нравственной силы, еще продолжала связывать воедино этот древний, непонятый, униженный народ. Сперва язычество, а потом и христианство служили египтянам единственным выходом бесформенной, подавленной ярости. Периодические вспышки фанатизма были вполне естественны; эпоха и случай определяли их объект. Языческий Рим всячески старался не оскорблять религиозные чувства своих подданных. Императоры, приезжая в страну, участвовали в обрядах и жертвоприношениях; на памятниках они обычно предстают как древние египетские властители, надписи же гласят: «Вечноживущий, Возлюбленный Иси-дой, Возлюбленный Птахом»; они строили или достраивали храмы, зачастую по обету. Но религиозная вражда легко вспыхивала внутри самого Египта, и причины для нее не-сложно было найти, поскольку разные храмы почитали священными разных животных. Ювенал и Плутарх оставили нам жанровые зарисовки, которые, конечно, доставляли бы читателю истинное наслаждение, если бы даже смутный отблеск древнейшей цивилизации не было больно видеть втоптанным в грязь. В каждом вполне правоверном городе спокойно поедали животных, которым поклонялись в другом. «В мое время, — пишет Плутарх («Исида и Осирис», 72), — жители Оксиринха («Щукограда») ловили собаку, приносили ее в жертву и поедали, как если бы это было жертвенное мясо, так как жители Кинополиса («Псогра-да») поедали рыбу, называемую оксиринх, или щука. В результате они начали войну и причинили много вреда друг другу; и позже и там и там навели порядок римляне, наказавшие их». Ювенал (15,33) рассказывает о позорном нападении тентиритов на обитателей Омба, когда те беспечно праздновали и пили на некоем торжестве;

последовали не только увечья и убийства, но и поедание расчлененных трупов — обычай, принятый у буколов, о которых мы говорили выше. Естественным образом возникло предание, что древний владыка однажды благоразумно предписал разным местам культы различных животных, поскольку, если бы не вызванное таким образом постоянное соперничество, никак нельзя было бы управлять огромным и беспокойным народом Египта. В главе, посвященной краткому очерку язычества в целом, мы вернемся к этой великой религии с ее жрецами и магами, гордо презиравшей греко-римские верования.

Египетский язык, выживший и устоявший в форме так называемого коптского, более не был основным инструментом этой религии. По всей империи люди с удовольствием принимали модные верования. Как выяснили христиане, к своему огромному разочарованию, простонародье в мастерских и гаванях Александрии, населенной преимущественно греками, отличалось таким же фанатизмом, как и везде на Ниле. Здесь еще за год предвидели гонение Деция — какой-то прорицатель взбудоражил народ своими безумными импровизациями. Искусство палача дошло до предела утонченности, как это часто бывает у порабощенных народов. Преследуемым прокалывали лица и уши заостренными тростинками, их таскали по мостовым, им выбивали зубы, ломали руки и ноги и так далее, не говоря уже об обычных судебных пытках.

В общественном плане характер этого народа вызывал глубокое омерзение у римлян. Кто бы ни сталкивался с египтянином на просторах Римской империи, обязательно ожидал от него какой-нибудь грубости или неловкости, «потому что так они воспитаны». Крики и вопли, которыми они встречали высокопоставленных лиц, пусть это был даже сам император, казались невыносимы. И потому, когда настало время образумить и покарать Египет, римляне колебались не слишком долго. В середине III века всю империю обезлюдили ужасающие бедствия — война и эпидемия чумы; но африканскую провинцию постигли и особые, собственные несчастья.

При Галлиене (254—268 гг.) раб одного александрийского чиновника был убит военным за то, что с египетской насмешливостью утверждал, будто у него башмаки лучше, чем у солдат. Народ проявил редкую солидарность, и перед резиденцией префекта Эмилиана собрались толпы людей, хотя сперва было неизвестно, кто же, собственно, виноват. Вскоре полетели камни, обнажились мечи, поднялся шум, неистовство охватило всех; префект должен был либо пасть жертвой толпы, либо если бы он все же сумел усмирить мятежников, то дальше мог ждать только лишения чина и кары. В этой критической ситуации он провозгласил себя императором, видимо, по требованию войск, которые ненавидели бездеятельного Галлиена и желали, чтобы их повели сражаться с варварами, изнурявшими страну, и освободили от мелких и недостойных повинностей. Эмилиан прошел весь Египет, оттеснил вторгшиеся племена и оставил собранное зерно государству; в этом послаблении не было ничего неестественного, поскольку Запад в это время обеспечивали всем необходимым Постум и его преемники. Но когда Эмилиан собрался в поход за Красное море, Египет сдал его Теодоту, военачальнику Галлиена, и Теодот отослал пленного Галлиену. Возможно, Эмилиана удавили в той же камере Туллиевой темницы в Риме, где некогда умер голодной смертью Югурта.

Неизвестно, отомстил ли Галлиен мятежной провинции еще каким-нибудь образом. В любом случае много пользы это ему не принесло, так как Египет вскоре снова оказался утрачен (261 г.), правда, ненадолго, но при ужасных обстоятельствах, о которых мы, к сожалению, не имеем точных сведений. Мы не знаем, что за битвы и между кем бушевали в Александрии в тот год, когда Макриан властвовал над Востоком; но к концу этого срока, как сообщает епископ Дионисий, город стал неузнаваем из-за совершившихся в нем жестокостей; главный проспект, возможно, та самая улица, имевшая в длину тридцать стадиев, стала безлюдна, как Синайская пустыня; воды покинутой гавани были красны от крови, и близлежащие каналы полны трупов.

Галлиен сохранил господство над Египтом, но при его преемниках, Клавдии Готском и Аврелиане, весь Египет или по меньшей мере Александрия дважды переходила в руки великой владычицы Пальмиры, наследницы Птолемеев. Это был последний значительный национальный подъем (в нескольких других провинциях проходили похожие выступления) в целом отнюдь не агрессивного, стареющего народа; немало людей выступило и за и против Зиновии, и местные армии, по-видимому, пополнили войска и на той и на другой стороне. Пальмирцы одержали победу, но спустя недолгое время собственное их королевство пало в результате обширной кампании Аврелиана (273 г.). Сторонникам Пальмиры среди египтян, враждебно настроенным к Риму, оставалось ждать только строжайшего наказания; вероятно, всеобщее отчаяние заставило богатого уроженца Селевкии по имени Фирм, проживавшего в Египте, объявить себя императором. Единственный наш источник по этому вопросу уверяет, что не будет смешивать трех человек по имени Фирм, фигурирующих в истории Африки того времени; но его описание этого узурпатора настолько противоречиво, что едва ли может относиться к одному человеку. Его Фирм ездит верхом на страусах, а также способен съесть целого страуса и мясо гиппопотама, не говоря уже о его дружеских отношениях с крокодилами; он ставит себе на грудь наковальню, и по ней ударяют

молотом. Этот же человек — друг и спутник Зиновии и один из крупнейших торговцев и промышленников Египта. Он хвалится, будто может содержать целую армию на доходы от своей бумажной фабрики; у него заключены контракты на поставки с арабами и блемиями, которые контролируют товарообмен с Красным морем и внутренними областями Африки; суда его часто плавают в Индию. В других местах в пурпур обычно облекались офицеры, провинциальная знать и искатели приключений; о многом говорит то, что в Египте на это отважился богатый купец, при том, что в ходе войны гибель его была неминуема.

Аврелиан хотел побыстрее разделаться с «вором престола»; он разбил его в бою, а затем осадил его в Александрии. Там Ширм и его сторонники, по-видимому, какое-то время удерживали старинную крепость — Брухион; во всяком случае, когда Аврелиан захватил Ширма и казнил его, то счел уместным стереть с лица земли всю эту часть города. Так обратились в пепел дворец Птолемеев, их великолепные гробницы, Мусей — неотъемлемая часть духовной жизни позднеэллинистического периода, гигантские колонны пропилеи, поддерживавшие высокий свод, — уже не говоря о разоренных театрах, базиликах, садах и прочем. Было ли это возмездие, или же победитель руководствовался только стратегическими соображениями? Нельзя забывать, что в некоторых областях империи неминуемо наступил бы голод, если бы мятежный Египет сократил вывоз продуктов, что фактически и произошло при Фирме. Но когда, чтобы лишить город возможности бунтовать и защищаться, необходимо идти на такие жертвы — это дурной знак и для правителя, и для подданных.

Египтянам это разорение послужило очередным стрекалом. При Пробе (276—282 гг.), а может быть, даже раньше, в страну прибыл один из наиболее энергичных полководцев того времени, галл Сатурнин, и дерзкие александрийцы незамедлительно объявили его императором. Насмерть испуганный этим известием, Сатурнин бежал в Палестину. Поскольку он не знал великодушия Проба, то по некотором размышлении решил, что пропал, и со слезами облачился в пурпурный пеплум статуи Афродиты, пока его сторонники приносили ему клятвы верности. Утешало его то, что, по крайней мере, он умрет не один. Проб был вынужден послать туда армию, и несчастный пленный узурпатор был против воли императора удушен. Позднее Пробу снова пришлось воевать в Египте, поскольку нубийцы-блемии, уже давно представлявшие собой опасность, захватили часть Верхнего Египта, а именно Птолемаиду, что на Ниле, о которой уже шла речь. Ее жители, неисправимые бунтовщики, потворствовали завоевателям. Блемии, гибкие, смуглые, неуловимые жители пустыни, стали управлять перевозками между городами-портами Красного моря и Нила; порабощать этих людей или уничтожать было равно невыгодно, и их просто время от времени осаживали. Но теперь римские военачальники получили высшие полномочия и, разумеется, строго покарали виновных. Но при Диоклетиане весь Египет снова взбунтовался, и на протяжении нескольких лет, когда только что усмирили Галлию, императоры одновременно пытались вернуть Британию и низвергнуть карфагенского узурпатора, а также отражали вторжения мавров и вели войну вдоль почти всей границы. Когда блемии снова завладели Верхним Египтом, некий никому до тех пор не известный человек, Элпидий Ахилл, объявил себя августом (286 г.). Только спустя десять лет (296 г.) Диоклетиан получил возможность вмешаться. Он пришел в страну через Палестину, и сопровождал его двадцатидвухлетний Константин, затмевавший императора своим могучим телосложением и величественным видом. Снова началась длительная осада Александрии, продолжавшаяся восемь месяцев, в ходе которой были уничтожены акведуки; и после гибели Ахилла последовали новые устрашающие наказания. Столица стала добычей озлобленных солдат, сторонники узурпатора подверглись проскрипции, множество людей казнили. Легенда гласит, что, когда Диоклетиан въехал в город, он повелел армии убивать, пока конь его не окажется по колено в крови; но почти рядом с воротами животное, наступив на мертвое тело, поскользнулось, и колено его окрасила кровь, после чего приказ был сразу же отменен. Это место долгое время украшала литая фигура лошади.

В Среднем Египте был полностью разрушен город Бусирис. В Верхнем Египте дела обстояли не лучше; богатый торговый город Копт, где, естественно, обосновались блемии, постигла та же судьба. После этого Диоклетиан (согласно Евтропию; христианин Орозий, использовавший материал Евтропия, ничего не сообщает на этот счет) издал несколько вполне разумных указов и стал силой проводить их в жизнь. Он отменил, конечно, не без причин, старое территориальное деление и устройство страны, введенное Августом, и разделил страну на три провинции, согласно структуре прочих частей империи. Безопасность торговых путей он обеспечил, сделав другое африканское племя из Большого Оазиса, набатов, соперниками блемиев. Набаты все время оставались на жалованье у римлян, и им перешел бесполезный кусок римской земли выше Сиены, где они с тех пор жили и охраняли границы.

В том, что истощение армии и сокровищницы вынуждало к таким паллиативным мерам и что набатам и блемиям платилось нечто вроде дани, нет вины Диоклетиана. Но вот то, как именно оба народа заключали соглашение — совершенно в его духе. На пограничном острове Филы, где в

этой связи возникли мощные укрепления, были выстроены новые храмы и жертвенники, а старые — переосвящены в честь общего засга набатов и римлян; было также создано единое жречество. Оба народа пустыни принадлежали к египетской вере, блемии особо практиковали человеческие жертвоприношения; они получили или же вернули право в определенное время года приносить изображение Исиды из Фил в свою страну и хранить его там в течение установленного срока. Пространная иероглифическая надпись запечатлела для нас торжественное движение священного корабля, везущего статую богини по Нилу.

Тем временем в Верхнем Египте возле разрушенного Копта возник новый город; император назвал его Максимианополем в честь старшего своего соправителя. Возможно, впрочем, что это был всего-навсего военный лагерь, а может быть — переименованный старый Аполлинополь.

Диоклетиан все же некоторым образом утешил Александрию в ее скорби; он снова учредил в городе раздачи зерна — милость, которой наслаждались многие города за пределами Италии. В ответ александрийцы стали исчислять годы начиная с правления Диоклетиана, а префект Помпеи в 302 г. воздвиг в его честь колонну, которую ошибочно считают колонной Помпея Великого. На колонне имеется надпись: «Многосвященному самодержцу, гению города Александрии, непобедимому Диоклетиану». Огромный монолит, заимствованный из какой-то общественной постройки или предназначавшийся для так и незавершенного здания, далеко возносится над едва узнаваемыми развалинами храма Сераписа.

Наконец, у нас есть позднее и несколько таинственное сообщение о том, что в то время Диоклетиан повелел собрать и сжечь все древние записи касательно производства золота и серебра, так что египтяне более не могли приобретать таким способом богатство и в гордости своей бунтовать против Рима. Уже звучало верное замечание, что Диоклетиан мог бы сохранить эти книги для себя и для нужд империи, раз уж он верил в истинность алхимического знания. Но маловероятно, что эта мера имеет в основе, как полагал Гиббон, исключительно благоразумие и человеколюбие. Возможно, в Египте эти превращения веществ были связаны с какими-то другими отталкивающими суевериями, которые правитель, как человек в своем роде набожный, хотел искоренить.

После Диоклетиана мятежи в Египте прекратились надолго. Действительно ли император, как человек мудрый, сумел помочь этой стране, улучшив характер ее обитателей или, по крайней мере, надолго их запугав? В самом ли деле новые его установления сделали восстание ненужным или невозможным? Наиболее правдоподобное объяснение уже высказывалось — разделение власти между правителями затруднило деятельность местных узурпаторов. Далее, с воцарением Константина страсти египтян нашли выход в религиозных диспутах, более подобавших ослабевающим силам этого несчастного народа, нежели отчаянные бунты против римских чиновников и солдат. Сразу после принятия христианства ряд беспорядков на почве богословия породила ссора мелетиан и последователей Ария. Однако в Египте, как нигде в империи, язычники не менее ревностно держались за свою веру и защищали ее в кровавых стычках.

Впрочем, в одном отношении Египет, как и вся Африка, представлял собой безопаснейшую из областей империи; границы его были практически пустынны, если не упоминать о некоем количестве полудиких племен, чьи нападения не составило труда отразить. В то время как аванпостам на Рейне, Дунае и Евфрате постоянно угрожали враждебные и могущественные народы, здесь для защиты вполне хватало нескольких небольших отрядов, которые только требовалось разумно распределить. Ведь тогда никто не мог и помыслить, что однажды в Аравии появятся агрессивные полчища религиозных фанатиков, которые пройдут, сметая все на своем пути, через все страны на юго-востоке Римской империи и завладеют ими. В III столетии северное побережье Африки было значительно более густо населено, нежели теперь. Архитектурные памятники Алжира, множество епископств, о которых мы не раз встречаем более поздние упоминания, высокая культурная активность и роль страны для развития позднеримской литературы предполагают наличие благоприятной культурной ситуации, в которой мы не можем как следует разобраться из-за относительной бедности внешних ее проявлений. Кроме всего прочего, Карфаген, восстановленный Цезарем, благодаря своему положению стал одним из значительнейших городов империи, но также и наиболее опасным. Хуже всего было даже не нравственное разложение, деморализовавшее впоследствии отважных вандалов, как роскошь Капуи — солдат Ганнибала; роковым для империи оказался храм, который основал Дидон в честь небесного божества, Астреи, — не столько из-за своих услужливых проституток, сколько из-за разрушительных пророчеств и потому, что храм этот помог не одному узурпатору. Пурпурное одеяние, наброшенное на статую, восседавшую на львах и державшую светильник и скипетр, укрывало плечи не одного дерзкого мятежника. Вот и после восшествия на престол Диоклетиана против него выступил некий Юлиан. О его происхождении и последующей судьбе нам ничего не известно; он, очевидно, стоял во главе так называемых «пяти народов», с которыми пришлось воевать Максимиану и о которых мы знаем крайне мало. Они, без сомнения,

были мавританцы, то есть из западной части Северной Африки, где Атласские горы, как и сейчас, видимо, служили прикрытием множеству мелких племен, неспособных нападать открыто. Завоеваний с их стороны можно было не бояться, пока римские чины не совсем еще забыли свои обязанности. Максимиан начал эту войну лишь спустя несколько лет бездействия (297 г.), из чего можно заключить, что опасность была не слишком велика и что поставки зерна в Италию не прекращались. После несчастий Египта в предыдущем году империя явно могла не бояться нехватки африканских продуктов.

Глава 5
ЯЗЫЧЕСТВО: СМЕШЕНИЕ БОГОВ

Потоки крови, пролитые во время великих гонений, и гибель бесчисленных мучеников создали поистине ужасающую репутацию последнему периоду правления Диоклетиана и Максимиана. Все попытки определить истинный размер преследований и число их жертв, пусть даже приблизительно, обречены на неудачу. Нет достойных доверия сведений о количестве христиан в Римской империи того времени, а без этих данных произвести подсчет невозможно. Согласно Штойдлину, христиане составляли половину всего населения; согласно Матте, пятую часть; согласно Гиббону, только двадцатую; согласно Ла Басти, двенадцатую, что, вероятно, ближе всего к истине. Точнее всего, пожалуй, будет предположить, что на Западе соотношение составляло один к пятнадцати, а на Востоке — один к десяти.

Оставим ненадолго количественные подсчеты и рассмотрим внутреннюю ситуацию двух великих соперничающих структур — христианства и язычества.

Христианство пришло в мир, повинуясь огромной исторической необходимости, — оно означало конец античности и разрыв с ней и в то же время помогло сохранить ее культуру и передать ее новым народам, которые, оставаясь язычниками, могли бы совершенно варваризировать и уничтожить языческую Римскую империю. Настал срок установить новые соотношения между чувственным и сверхчувственным, чтобы любовь к Богу и ближнему и отрешение от земной суеты заступили место предшествующих взглядов на богов и мир.

За три века жизнь и учение христиан приняли относительно четкие формы. Постоянные угрозы и частые преследования удержали общину от скорого разъединения и помогли ей преодолеть серьезный внутренний раскол. Она извергла из своих рядов аскетов-фанатиков (последователей Монтана и прочих), равно как и любителей умственных построений (гностиков), которые пытались сделать из христианства оболочку для восточных учений и идей Платона. Новейшей и удачнейшей попыткой такого рода стало манихейство, борьба с которым только началась. От предшественников арианства, споривших о природе Второго Лица Троицы, казалось, уже успешно избавились. Хотя касательно отдельных моментов церковного обряда возникало еще множество разногласий, но в период гонений эти различия не представлялись столь важными, как позднее, в эпоху торжества новой веры, когда они оказались причиной постоянных расколов.

Зачастую в то время богословам представлялось вполне допустимым то, что впоследствии считалось противоречащим основам христианского учения. В IV и V веках люди справедливо удивлялись, как могла Церковь терпеть ори-геновские умствования и принимать его символическое толкование Писания. Многие другие, почитавшиеся как святые отцы развивавшейся и боровшейся за выживание Церковью, позднее стали считаться наполовину еретиками. В то время новообращенные имели столь различное происхождение, столь разное образование и принимали новую религию по причинам столь несхожим, что полностью унифицировать жизнь и учение было невозможно. Как всегда бывает на бренной земле, те редкие души, которые отличала истинная глубина духовного постижения и подлинная преданность религии, составляли, конечно, меньшинство; большую часть привлекали прощение грехов, о чем много говорилось, обещанное бессмертие души и связанные со святынями таинства, которые, конечно, многим казались простым аналогом языческих мистерий. Рабов привлекали христианские идеи свободы и братской любви, и множество недостойных обращались в новую веру, памятуя о весьма значительной милостыне, которую распределяли между верующими с подлинным беспристрастием, особенно в общине римских христиан.

Большое число героев-мучеников, которые время от времени повышали угасшее было напряжение духовной жизни общин и вырабатывали у верующих презрение к смерти, не столько свидетельствует о внутреннем совершенстве Церкви, сколько заставляет прийти к выводу, что если сторонники некоего дела полны такого энтузиазма, то дело это обязательно победит. Твердая вера в немедленное взятие на небеса, конечно, помогала решиться на смертный подвиг многим людям, мучимым внутренней борьбой, лишенным духовной опоры; так или иначе, цена жизни в этот век страданий и державного произвола была ниже, чем в столетия германо-романского господства. Иногда разражалась настоящая эпидемия самопожертвований; христиане буквально бросались

навстречу гибели, и тогда учителя убеждали их поберечь себя. Вскоре мученичество стало для всех блистательным идеалом; места погребений героев стали поистине культовыми, и верующие возложили великую надежду на их заступничество перед Богом. Легко понять, в чем корень их превосходства над прочими святыми; ни одна другая религия не почитала так смертные останки и знаки, как христианство, и ни одна не хранила так бережно воспоминания о пережитых боях. Места гибели мучеников стали памятными, а после гонений ранних императоров, в особенности Деция, подобные достопримечательности можно было обнаружить везде, куда ни ступишь. Преследования Диоклетиана явно были плохо обдуманы, поскольку культ мучеников вошел в состав учения достаточно рано.

Примерно в это время структура Церкви уже начинает приобретать иерархическую форму. Хотя выбор духовных вождей или, по крайней мере, их утверждение еще оставались в руках общин, но различие между *мирянами* и *клиром* становилось все более ощутимым. Трения возникали и среди епископов — в связи со статусами их городов; не забывали также, что некоторые общины были основаны апостолами. Синоды, созывавшиеся по разнообразнейшим поводам, способствовали объединению епископов как носителей высшего духовного звания. Но и среди них уже в III веке началось вырождение. Нам известно, что многие представители высшего священства погрязли в мирской роскоши, наслаждаясь суетной жизнью римских сановников, купцов, даже ростовщиков; вопиющий пример Павла из Самосаты, надо думать, не был единственным. Естественно, помимо людей, поглощенных бренными заботами, мы встретим и полные их противоположности, тех, кто бежал от суеты, государства и общества в пустыню. Ниже мы обсудим истоки движения отшельников, а также другие вопросы, здесь только намеченные.

По данному предмету существует обширная и разнообразная литература, куда входит несколько лучших произведений современной историографии; все они рассматривают материал с тех точек зрения, которых придерживались авторы и ожидали их читатели. Поскольку мы ни в коем случае не придаем своей работе значения непреложной истины, что было позволительно, скажем, такому ученому, как Неандр, никто не сможет осудить нашу позицию.

На вопрос, в чем же, наконец, состояла подлинная сила христианской общины к началу последних гонений, нужно заметить, что сила эта заключалась не в ее численности, не в нравственном превосходстве ее членов над прочими и не в совершенстве ее внутренней структуры, но в твердой вере в бессмертие души, которая поддерживала каждого хрис- тианина. Мы вскоре увидим, что позднее язычество стремилось к той же цели, но оно шло кривыми, глухими, окольными тропами и не обладало ликующей убежденностью христианства; оно не выдержало бы соревнования с христианством, так как в последнем проблема выглядела значительно проще. Христианство предлагало новое государство, новую демократию, даже новое гражданское общество, постольку, поскольку его можно было сохранить в чистоте, и таким образом вполне можно было удовлетворить тоску античности по политической деятельности, обессмысленную римским принципом власти сильнейшего. Теперь много подспудных честолюбивых стремлений, не находивших себе выражения в римском государстве, удовлетворялись званием епископа общины — так обнаруживался новый простор для самоутверждения. С другой стороны, лучшие и смиреннейшие вступали в общину, ища спасения от римского разврата, продолжавшего цвести буйным цветом.

Одновременно мы находим, что язычество тогда уже пребывало в полнейшем упадке, так что вряд ли оно сумело бы удержать свое положение даже и без появления христианства. Если, например, представить, что Мухаммед провозгласил бы свой фанатический монотеизм уже тогда, без всякой подготовленной христианством основы, средиземноморское язычество точно так же пало бы при первой атаке, как и язычники Ближнего Востока. Старая вера страшно обессилела от внутренних разногласий и внешних примесей.

Государственная религия империи, которую мы примем за точку отсчета, изначально представляла собой смешанный греко-римский политеизм, сформировавшийся в ходе доисторического взаимодействия обоих культов и последующего их слияния. Из круга божеств, связанных с природой, и высших покровителей во всех возможных жизненных ситуациях возник ряд удивительных образов, в мифах о которых античный человек так или иначе узнавал свое собственное подобие. Связь между этой религией и нравственными законами была весьма некрепкой и основывалась по преимуществу на личном мировоззрении. Считалось, что боги вознаграждают за добрые дела и наказывают за злые, но все же их воспринимали скорее как подателей и хранителей жизни, нежели как олицетворения высшей морали. Разнообразнейшие мистерии, существовавшие у греков помимо общенародных верований, — это вовсе не подлинная - суть религии и еще меньше — форма наставничества; это только тайные ритуалы, долженствовавшие добиться у бога особой милости к посвященному. Впрочем, благотворное воздействие оказывали требование чистоты помыслов и оживление национального чувства, выражавшегося в мистериях так же явно, как и в

праздничных играх греков.

В противоположность этой религии философия, постольку, поскольку она поднималась над космогоническими вопросами, более или менее открыто провозглашала единство божественного существа. Так открывался путь к высшей религиозности, к прекраснейшим нравственным идеалам, но также и к пантеизму и даже к атеизму, который давал ту же свободу от самих верований. Те, кто не отрицал существование богов, объясняли их пантеистически, как основные силы мира, или же, как эпикурейцы, полагали их бездеятельными и безразличными к миру. Внесли свою лепту и идеи «просвещения»; Эвгемер и его последователи уже давно объявили богов древними правителями, воинами и так далее, а чудеса объясняли рационально, как обман зрения или результат непонимания. Они шли по неверному пути, и впоследствии отцы церкви и апологеты часто впадали в заблуждение, когда опирались на их оценку язычества.

Все это беспокойное многообразие римляне восприняли вместе с греческой культурой, и для образованного человека озабоченность этими проблемами была столь же привычна, сколь и модна. Вместе с суевериями среди высших слоев общества ширилось неверие, хотя подлинных атеистов, по-видимому, было немного. Однако в III веке, перед лицом великих опасностей, неверие заметно увяло, и на первый план вышла все-таки вера, хотя скорее в иноземных, нежели в старых привычных богов. Но в Риме древний местный культ был столь тесно связан с государством, и близкие ему верования настолько укоренились, что неверующий, как и приверженец чужеземных религий, демонстрировал истовую римскую набожность, когда речь шла об огне Весты, о тайных залогах власти, об ауспиках, ибо на этих святынях основывалась незыблемость Вечного Рима. Императоры были не просто Pontifices maximi[1], совершавшие определенные обрядовые действия, но сам их титул августа означал посвящение, наделение властью и защиту свыше. После того как христианство положило конец обожествлению правителей, уничтожило храмы и жертвенники в их честь и изгнало жрецов, — все, на что в течение трехсот лет императоры имели исключительное право, — суеверие нарекло их daimones, и это была не просто лесть.

Не возникает сомнения, что даже в позднейший период язычества дух греко-римской религии зачастую не могли вытеснить чужеземные божества, не изгнали магия и колдовство, не уничтожили философские абстракции. Этого нельзя доказать потому, что служение старым богам не исключало служения новым, и потому, что в результате смешения божеств, о котором будет сказано ниже, новому могли поклоняться под видом старого — сверхъестественными существами. Но когда мы наблюдаем, как с непреодолимой силой то здесь, то там прорывается присущая здравомыслящему античному человеку наивная преданность богам, бессмысленно отрицать очевидное. «Тебе я служу, — обращается Авиен к Нортии, аналогу Фортуны у этрусков, — я, дитя Вольсиний, я, живший в Риме, дважды почтенный проконсульским званием, преданный поэзии, невинный и безупречный, я, чье счастье составляют моя жена Плакида и мои здоровые и веселые дети. Что же до остального — да будет на то воля судьбы».

В других случаях старая религия и ее взгляды на жизнь продолжают настойчиво утверждать себя, хотя и с некоторыми дополнениями. Вера Диоклетиана, очевидно, носила именно такой характер. Во всяком случае, он вполне доверял этрускам-гаруспикам, которые еще не соперничали, как позднее, при дворе Юлиана, с фокусниками-неоплатонис-тами; его богом-покровителем оставался Юпитер; оракул, с которым он советовался в делах величайшей важности, был Аполлон Милетский. Его религия и нравственные принципы, как можно судить по его законодательству, ближе всего были к принципам Деция; поклоняясь хорошим императорам, особенно Марку Аврелию, которого он почитал как даймона, он следовал примеру Александра Севера. С другой стороны, можно предположить, что многие составляющие и тайные смыслы древней религии давно уже стерлись и забылись. Полчища римских божеств-покровителей, видимо, можно считать драгоценным антиквариатом, хотя христианские авторы поносят их так, словно те реально имеют какую-то силу. Вряд ли люди еще вспоминали бога Латерана, когда разводили очаг, или Унксию, когда умащались, или Кинксию, когда подпоясывались, или Путу, когда подрезали ветви, или Нодита, видя колос, или Меллонию, разводя пчел, или Лиментина, переступая через порог, и так далее. В умах давно возобладали сложные и обобщенные представления о гениях и *даймонах.* Многие более ранние поверья сохранили локальный характер.

Так, Греция во времена империи сохранила свою любимую систему местных культов и мистериальных служений. Павсаний, создавший во II столетии описание этой страны, снабдил нас богатым материалом касательно особых культов богов и героев в каждом городе и каждой области, а также касательно их жрецов-служителей. Как посвященный, он умолчал о тайнах мистерий; потомство было бы благодарно ему, если бы он нарушил запрет.

---

[1] Главный понтифик, глава коллегии понтификов в Древнем Риме.

Как всему римскому государству для поддержания его существования требовалось нечто принадлежащее религиозному культу, что-то ритуальное, почему весталки поддерживали священный огонь еще и в христианские времена, — так частная жизнь отдельного человека была насквозь, от колыбели до могилы, пронизана религиозными обрядами. В доме каждого римлянина пир и жертвоприношение были неразделимы. На городских улицах мы увидели бы многообразные процессии и представления, иногда величественные и прекрасные, иногда — просто вакхические оргии, которыми изобиловал греческий, как и римский, календарь празднеств. Бесконечные жертвы приносились в часовнях, в пещерах, на перекрестках, под почитаемыми деревьями. Новообращенный Арнобий рассказывает, какое благоговение он испытывал, будучи язычником, когда проходил мимо дерева, украшенного яркими лентами, или валунов, хранящих следы пролитого на них масла. Из культа, где столь много значит внешнее и зачастую отсутствует внутреннее, сложно вычленить нравственное содержание, и можно даже усомниться, а есть ли оно там вообще. В сущности, не тот ли самый вопрос возник, спустя полторы тысячи лет, касательно празднеств средиземноморских католиков? Звуки вполне земной музыки, прерываемые залпами из пушки, сопровождают Высокую мессу и совершающееся таинство; оживленная ярмарка, обильная еда, всяческое веселье и обязательные фейерверки вечером составляют вторую часть праздника. Не следует пытаться переубеждать того, кто отвергает все это; но не следует и забывать, что внешняя форма не исчерпывает религию и что в разных людях разное пробуждает высокие чувства. Если мы отрешимся от христианских понятий греха и смирения, недоступных античному миру, мы сможем судить о его культе более справедливо.

От мифологических подробностей, никогда не составлявших основу веры, полностью отказались задолго до того, как Лукиан создал свои замечательные сатиры. Христианские апологеты поступали не вполне честно, когда собирали непривлекательные моменты из самых разнообразных мифов и, не понимая и путая вещи совершенно несопоставимые, осыпали насмешками древние верования. Они, конечно, знали, что извлечения из древних поэтов и сказителей, которые предоставляли основу для такого рода нападений, в их век уже почти утратили значимость. Точно так же именно протестантство, если судить по справедливости, ответственно за несообразности во многих церковных преданиях. Миф мало затрагивал религиозное сознание масс; они довольствовались фактом существования конкретных божеств, управляющих человеческой жизнью и оберегающих ее. Философия того времени полностью отказалась от мифов, о чем мы еще будем говорить. Но язычники продолжали совать оружие в руки своих христианских противников, устраивая драматические представления на сюжеты отдельных легенд, и зачастую наиболее предосудительных.

Ибо хотя бы в одной сфере, в стране искусства и поэзии, мифология сохранила свое владычество до позднейших времен. Гомер, Фидий и трагики некогда помогали творить богов, и те из них, вера в которых утратилась, сами по себе продолжали существовать в камне, в красках, поэмах, масках и глине. Но жизнь их была скорее видима, нежели реальна. О судьбе пластических искусств и причинах их упадка вскоре пойдет речь; здесь следует только заметить, что они утратили возможность поддерживать на плаву старую мифологию, когда стали служить мистической философии и чужеземным культам. Драму почти совершенно вытеснили мим и молчаливая пантомима с музыкой и танцами. Все религиозные аспекты, некогда сделавшие аттическую драму одной из форм культового служения, исчезли. Описание очаровательного коринфского балета «Парис на Иде» в десятой книге Апулея явно свидетельствует, что даже в самой Греции в эпоху Антонинов театр уже только услаждал взгляд зрителя. Но тут, по крайней мере, можно предположить тонкое и безукоризненное художественное исполнение, в то время как в латинских частях империи, особенно в областях, романизированных лишь наполовину, с помощью меча, зрелища были, без сомнения, поистине грубы, если, конечно, в театрах вообще шли какие-то постановки, а не проводились исключительно гладиаторские игры, схватки с дикими зверями и тому подобное. Особенно подчеркивались непристойные элементы мифов. Все адюльтеры Юпитера, в том числе и те, где он превращался в животное, все приключения Венеры старательно и подробно демонстрировались в расчете на низменный хохот. Такого рода богоявления имели место даже в мимах. Если во времена Аристофана публика терпела подобное без ущерба для веры, то в век всеобщего разложения для старой религии это оказалось последним ударом.

Если мы переместимся из области, где властвовали балетный постановщик и механик сцены, в область поэзии, постольку, поскольку можно судить о ней по тому немногому, что дошло до нас от конца III века, мы обнаружим кое-где в произведениях на мифологическую тему (наиболее блестяще представленную у Клавдиана столетием позднее) даже проблески могучего таланта, но последние остатки глубинной веры в то, что говорится, исчезли давным-давно. Например, в стихотворении некоего Репозиана, период творческого расцвета которого приходится, вероятно, на 300 г., изображается флирт Марса и Венеры таким же образам, как мы видели в пантомиме: непристой-

ности облечены в чувственно привлекательную форму. Венера, ожидая бога войны, проводит время в танцах, и поэт описывает разные ее позы так, что чувствуется хорошее знание современных ему приемов кокетства; затем появившийся Марс зовет Купидона, граций и дев из Библа, чтобы они раздели его. Но что это за Марс! Он намеренно изображен настолько же неуклюжим, насколько соблазнительна богиня. В беседке с розами он падает, как кусок свинца, а описывая его сон, автор не забывает упомянуть и о громком его храпе. Когда, например, Рубенс берется решить по-своему сюжет античного мифа, его оправдывает то впечатление мощи, которое ему удается передать; но здесь перед нами — последняя ступень вырождения античных сказаний, где не осталось уже ничего, кроме звучных виршей. Христианин-сатирик не мог бы достичь своей цели успешней, и мы могли бы рассматривать данное произведение именно в этом ключе, если бы не прелестное описание Купидона. Он с любопытством осматривает отложенное Марсом оружие, украшает его цветами, а потом, когда с шумом появляется ревнивый Вулкан, заползает под шлем, чтобы спрятаться.

Были и поэты, пресытившиеся мифологией, как платьем, затасканным до дыр. Немезиан восклицает: «Кто не воспевал тоску Ниобы, утратившей детей, печаль Семелы и... [далее следуют тридцать стихов, перечисляющих сюжеты мифов]. Все это исчерпало множество великих поэтов; предания Древнего мира истощились». Поэтому автор обращается к зеленым лесам и лугам, однако не для того, чтобы создать описание пейзажа, а чтобы ввести собственную тему — разведение охотничьих собак. Потом, разобравшись с нею, он вспоминает, что неплохо бы восславить деяния своих покровителей, цезарей Карина и Нумериана.

Подобное же чувство долгое время давало дидактической поэзии заметное преимущество над эпической, особенно среди римлян; но это предпочтение никогда не выказывалось слишком уж откровенно. Здесь нужно упомянуть о еще одной очаровательной поэме мифологического содержания: это «Бахус» Кальпурния Сикула (эклога 3-я); она вызывает в памяти Филостратовы описания картин, но стилистически их превосходит. Здесь мы найдем даже дикого Силена, который, будто нянюшка, качает маленького Бахуса, смешит его, забавляет кастаньетами, добродушно позволяет ему дергать себя за уши, за подбородок, за волосы на груди. Затем подросший бог учит сатиров собирать виноград, и они напиваются допьяна, мажут себя виноградными выжимками, похищают нимф. Эта вакханалия, где бог даже своим пантерам позволяет пить из чаши, — одно из последних, исполненных живой красоты произведений античности.

Все это доказывает, что мифология была скорее бременем, нежели поддержкой для угасающей классической религии. О попытках сохранить и переосмыслить мифы путем их философской интерпретации мы поговорим в дальнейшем.

Но этой классической религии также вредил и нарушал ее целостность и другой фактор, а именно присоединение культов завоеванных провинций и соседних стран. Мы рассматриваем сейчас именно период окончательной теократии (смешения богов).

Причина ее — не смешение народов в империи и не просто каприз или преходящая мода, но старое как мир стремление политеистических религий сближаться друг с другом, отыскивать черты сходства и превращать их в тождество. Во все века такого рода параллели рождали увлекательную идею всеобщей первичной религии, которую каждый представлял согласно собственным склонностям — политеист иначе, нежели монотеист. И так служители похожих божеств искали и обнаруживали друг друга у одинаковых алтарей, иногда непреднамеренно, а иногда — согласно собственным взглядам. Греческую Афродиту с радостью узнавали в ближневосточной Астарте, в египетской Хатор, в карфагенской Небесной богине, да и во многих других. Следует учитывать, чтои в позднеримскии период смешение богов есть в то же время и подмена богов; чужие боги не только расширяли свое влияние за счет местных, но и подменялись теми из местных, кто был им внутренне близок.

Другая причина теократии лежит в почтении, так сказать, политического свойства, которое греческий, римский да и любой политеист обычно оказывали богам других народов. Они признавали их богами, даже если те не были им родными. Отсутствовала строгая догматика, которая предохраняла бы изначальную веру от трансформаций. Религиозные традиции своих предков старательно оберегали, но и к чужим относились скорее дружелюбно, нежели с неприятием. По велению оракулов и согласно другим сверхъестественным предзнаменованиям божества могли перемещаться из одной страны в другую. Так, Серапис из Синопы при первом Птолемее перебрался а Александрию, а Великая мать – из Пессинунта в Рим во время Второй Пунической войны. У римлян было, по существу, такое правило, имевшее отчасти политические, а отчасти религиозныен основания, - не обижать богов покоренных народов, но оказывать им почтение и даже принимать их как своих. Провинции относились этому совершенно по-разному. Малая Азия охотно шла навстречу римлянам. Ешипет оставался непреклонным: он перевел заимствованное у Птолемеев и римлян на

язык собственных ритуалов и традиций изображения, в то время как римляне пытались ублаготворить египтян тем, что поклонялись их богам по возможности на их же манер. Иудеи, наконец, никакого касательства к римской религии иметь не желали, в то время как римляне с хорошим вкусом соблюдали субботу, а императоры посещали богослужения в святилище в земле Мориа. Таким образом осуществлялось, как мы позднее увидим, и активное, и пассивное смешение богов.

Третья причина отправления иноземных культов – ужас и тревога, охватывавшие язычника, когда он утрачивал веру в своих богов. Это уже не были обнадеживающие «боги повсюду» предшествующих столетий. Нет, вдумчивый человек искал теперь каждый день новых символов, а бездумный – новых фетишей, тем более желанных, чем более далеким и загадочным казалось их происхождение. И еще один фактор умножал хаос. В политеизме древнейших цивилизаций все стадии его развития сосуществовали. Фетишизм поклонялся аэролитам и амулетам, сабеизм — звездам и стихиям, антропоморфизм — божествам, связанным с природой, и богам-покровителям; в то время как люди образованные давно уже внутренне отвергли всю эту шелуху и колебались между пантеизмом и монотеизмом. И теперь все эти стадии развития различных религий стали воздействовать на греко-римское язычество. До нас дошли известия о характерных проявлениях этого процесса, которые иногда нагоняют уныние на читателя. Нерон по рождению был римской веры, но вскоре он презрел ее и служил только Сирийской богине. Но потом он отверг и ее, неподобающе обращался с ее изображением и всю свою веру сосредоточил на амулете, который дал ему некий плебей и которому он трижды в день приносил жертвы.

Этот пример, только один из множества имеющихся, дает представление о сути поклонения иноземным богам вообще. Они не были близки людям так, как старые олимпийцы; вырванные из своего естественного окружения, чужие римской жизни, системе управления и климату, они приводили римлян в трепет как силы высшие и таинственные, с которыми можно совладать только с помощью мистерий и магических ритуалов, а возможно, и понеся большие денежные затраты. Лукиан не просто так присваивает иноземным богам в «Зевсе Трагическом» самую высокую ступень в иерархии, выстроенной им согласно материалу, из которого божества созданы; пылкие верующие предпочитали, чтобы их боги изготовлялись из наиболее драгоценного металла. «Эллинские видишь каковы: искусно сделаны, привлекательны и с красивыми лицами, но все мраморные или бронзовые; самые дорогие боги сделаны из слоновой кости и лишь немного поблескивают золотом, которое их покрывает легким слоем, внутри же они деревянные, и целые стаи мышей завоевали себе в них права гражданства. А вот эти Бендида, Анубис и Аттис, и рядом с ними Митра и Мен сделаны целиком из золота; они тяжелы и действительно представляют ценность». Но такого рода культы разрушали уважение к собственным древним богам.

Теперь следует поговорить о случаях, когда в процессе перемешивания богов активной стороной были римляне.

Такие взаимоотношения существовали, очевидно, только с теми странами, которые пребывали еще в полуварварском состоянии на момент римского вторжения и где поэтому более развитая культура латинян, как и их религия, распространялась весьма успешно; это были Галлия, Испания и Британия. К несчастью, нам кое-что известно только о религиозной ситуации в Галлии, и то преимущественно благодаря посвятительным надписям и скульптурам.

Римляне позднейших времен со своей подлинно универсальной верой участвовали в галльских местных культах, как и в любых других, пока те еще сохраняли какую-то жизненную силу. Они не только вопрошали друидов о будущем, как мы знаем, но оказывались вовлечены и в сами обряды. Так, один из поздних императоров, Песценний Нигер, принимал почетное участие в одном из галльских мистических ритуалов, что дозволялось только непорочным людям. Но ни одно тамошнее божество не перебралось в Италию, Африку или Грецию. (Когда мы обнаруживаем в Аквилее галльского солнечного бога Белена, в Зальцбурге и Штирии — других кельтских божеств, Аполлона Гранна в Лойнингене, что в Швабии, и так далее, это не заимствования времен те-окразии, но позднейшие свидетельства того, что прежде, чем германцы, славяне и авары перешли Альпы, эти области населяли кельты.) В самой Галлии первоначальную ее религию всячески старались облачить в римские одежды. Боги получали не только римские имена, но заодно принимали облик, соответствующий традициям классического антропоморфизма. Таран стал именоваться Юпитером и изображался соответственно; Тевтат изображался как Меркурий; Гес или Камул — как Марс. Другие сохранили, по крайней мере, имена, причем иногда римское добавлялось к изначальному. Примеры — Белен или, зачастую, Аполлон Белен, а также Аполлон Граны, Марс Камул, Минерва Белисана и прочие. Затем романизированные боги получали вдобавок особые прозвища; некоторые можно вывести из названий мест, по крайней мере предположительно; некоторые совершенно непостижимы.

Так возникли Диана Абноба (указание на Черный лес), Диана Ардуенна (вероятно,

Арденны), Марс Винций (Венсе), Геркулес Магусан и Саксан (в частности, в Нидерландах); Марс Лакав (в Ниме); Аполлон Туатьор (в Висбадене). Или же романизированный бог отождествлялся с неромализированным, возможно, родственным божеством: так, Верьогодумн слился в Амьене с Аполлоном, а Сирона в Бордо и Южной Германии почиталась как Диана или Минерва (подобно Белисане). Но дальше романизация не пошла. Многие боги сохранили свои кельтские имена, большей частью с дополнением Deus (или Dea), Sanctus (или Sancta), Augustus (или Augusta)[1], что в данном случае никакого отношения к императорскому титулу не имело. Сперва возникает искушение считать все эти божества местными, каковыми многие из них и являются, как, например, Восег в Бергцабери, Немаус в Ниме, Авентия в Авенце, Везонтий в Безансоне, Луксовий в Люксе, Келейя в Килли; прочие случаи такого соответствия не дают, как, например, Абеллио в Конвене, Асьонна в Орлеане, Аго в Баньере, Бемилукий в Париже, Ариаса в Кельне, Интараб в Трире. Более того, следы многих божеств обнаруживаются в местах, сильно друг от друга удаленных: Таранук в Хейлброне и в Далмации; богиня воды Негалления во Франции и в Нидерландах. То, насколько охотно римскими собирательными наименованиями обозначали бесчисленные менее значимые божества, показывает, насколько охотно их принимали в римский пантеон: Матери, Матроны, Кампестры (духи полей), Сильваны (лесные духи), Бивия, Тривия и Квадривия (божества перекрестков), Проксимы и Виканы (духи соседства) и так далее. Сулевы и Комедовы, принадлежащие к тому же разряду, переводу не поддаются. Выражения вроде «гений места» и «гений окрестности» относятся, строго говоря, лишь к римским ритуалам, но в таких случаях они, вероятно, обозначают кельтские обычаи. Так или иначе, до конца IV века могущественнейшим богом продолжал оставаться Тевтат-Меркурий, яростно сопротивлявшийся еще святому Мартину Турскому; что же до Юпитера, то считалось, что он глуп и бестолков, brutus atque hebes.

Сами эти западные религии на Рим воздействовали или крайне мало, или никак.

Ситуация с древними цивилизациями Востока — то есть с персидской, египетской, малоазийской и семитской — выглядела совершенно иначе. Последние располагали огромным преимуществом — их поселения находились географически достаточно далеко друг от друга, и в Сирии римляне не впервые столкнулись с их культом; семитская религия за много столетий распространилась через Финикию и Карфаген по всему Средиземноморью и даже за Геркулесовы столпы. Рим, постепенно захватывая Испанию, Африку и острова, приобретал пунические земли и воспринимал пуническую религию. Рим ненавидел Карфаген, но не его богов. С другой стороны, персидский дуализм, особенно в застывшей форме, которую он принял при Сасанидах, столь же яростно не желал никакого соприкосновения с греко-римскими божествами, как и иудейский монотеизм. Но парсизм в Персии давно начал превращаться в набор суеверий; оттуда-то Рим заимствовал Митру.

Народы Ближнего Востока, от Евфрата до Средиземноморья, включая архипелаг и Понт, с которого лучше начинать, происходят, несомненно, от общего корня, и их религии так тесно взаимодействовали между собой со времен высокой античности, что в период, который мы здесь рассматриваем, их уже можно считать единым целым. В данном случае выяснение истоков каждой из них неуместно и может только запутать нас. Более того, задолго до римских побед над Антиохией Великой, с начала эллинизации Малой Азии и особенно активно — при преемниках Александра, происходило другое смешение богов, в которое оказались вовлечены боги Ближнего Востока и Греции. Точно так же сливались греческий и восточные языки и культуры. Великолепные греческие города, выраставшие в невероятном количестве везде, где обосновались преемники Александра, оберегали родной язык, административное устройство и, кроме того, своих богов. Но в самой стране, особенно на некотором удалении от моря, прежний язык более или менее стойко удерживал свои позиции, а впоследствии, когда преобразовательная сила греков потихоньку иссякла, даже укрепил их. В Палестине, под защитой культа и образа жизни, сопротивлявшихся любым изменениям, арамейский язык сохранился, невзирая на все потрясения. В Сирии, поскольку речь не шла уже о классическом изяществе, а об общедоступности произведений, писатели вернулись к национальному языку, как, например, во II веке — гностик Бардесан, в IV — святой Ефрем, и со всей очевидностью об этом свидетельствуют сирийские переводы Библии. У нас нет подробных сведений о языковой ситуации в Малой Азии, но пока существовал общенародный язык, существовали и общенародные боги.

Единая основа всех религий, о которых идет речь, — это культ звезд, однако до

---

[1] ' Бог (или богиня), священный (священная), высокий (высокая).

неузнаваемости переплетенный с идолопоклонством, отчасти заимствон шным извне, отчасти естественно развившимся. Тщательная разработка обрядовых жертвоприношений помогала умилостивить богов; в основном для ритуала брали животных, но приносились также человеческие жертвы — как регулярно, так и от случая к случаю. Последние просуществовали удивительно долго, особенно в финикийских землях, сохраняясь еще и после падения и восстановления Карфагена, так что Тиберий вынужден был принять решительные меры по этому поводу. Верховная пара богов, Ваал и Астарта (солнце и луна, утренняя и вечерняя звезда), в римские времена, принимая разнообразнейшие имена и обличья, оставались владыкой и владычицей жизни; им служили в бессчетном множестве храмов. Из Ветхого Завета мы узнаем о Ваал-Зебубе, Ваал-Пеоре, Ваал-Верифе и прочих, чьи имена давно уже забыты. В Пальмире Ваал, видимо, разделился на двух божеств, солнечное и лунное: это Аглибол и Малакбел, изображенные на очень позднем рельефе в Капитолийском музее; на нем указано и греко-римское имя дарителя — Луций Аврелий Гелиодор, сын Антиоха Адриана. В великолепном, чрезвычайно огромном и высоком храме в Эмесе находится Черный Камень, аэролит, который считали образом бога солнца Элагабала и, как таковому, поклонялись ему повсюду. Жрецы Элагабала носили длинные пурпурные туники, вышитые золотом, и диадемы, украшенные драгоценными камнями. В храме в Гиераполе, рядом со знаменитой Сирийской богиней (о которой речь пойдет ниже), стояла золотая статуя Ваала в облике Зевса, сидящего на колеснице, запряженной быками. В Гелио-поле (Баальбеке) поклонялись Ваалу, изображенному в позднем полуримском ключе: золотой идол держит не только бич римского солнечного бога, но также и молнию Юпитера. Антонин Пий выстроил новый храм на гигантском фундаменте старого; развалины этого храма еще дают представление, почему в свое время он считался одним из чудес света. После всего вышесказанного имя Зевса, которому Антонин посвятил здание, не должно ввести нас в заблуждение, когда мы видим, что древнее название местности явно связано с Ваалом, а греческое — с Гелиосом. Этот храм, как и эмесский, пользовался широкой славой благодаря своему оракулу, которому можно было задавать вопросы письменно — что не так уж редко встречалось у азиатских оракулов. Более сомнительные и менее значимые свидетельства поклонения Ваалу при императорах лучше опустить; вполне довольно того, что этот культ, так или иначе преображенный, продолжал оставаться главным культом на Ближнем Востоке; что для него предназначалось большинство важнейших святилищ, а вероятно, и многие другие, о чем мы просто не знаем. Может быть, бог Кармел, имевший жертвенник на горе того же названия и делавший предсказания, также был очередным воплощением Ваала. Южную границу держал Марна из Газы, если, конечно, это действительно был великий бог. Именно Марна приводил в отчаяние всех христиан — поселенцев и вероучителей, приходивших в эту область в IV веке, и сделал окрестности Газы несокрушимым оплотом язычества. Мы скоро встретимся с ним как с личным врагом святого Илариона.

Этот главный семитский бог сумел пробить дорогу в римские храмы, причем во многих обличьях. Римляне, жившие на Востоке, вероятно, поклонялись ему под именем Зевса или Юпитера. Однако образ бога солнца, получивший особую значимость в поздний период, означал главным образом Ваала и Митру; существенно меньшим вниманием пользовался древний Сол-Гелиос. В конце концов и Элагабал снискал видное и важное положение в римском пантеоне, по крайней мере на некоторое время, благодаря сумасшедшему юноше, который был и остался его жрецом и взял себе имя бога, взойдя на мировой престол. Высшего своего проявления теократия достигла, когда Антонин Бассиан перенес (между 218-м и 222 гг.) Черный Камень из Эмесы в Рим. Новый бог получил огромный храм, бесчисленные жертвы, а вскоре и жену. Император достал из Карфагена изображение и сокровища Небесной богини и сочетал ее браком с Элагабалом; в мифах ничто этому не противоречило. Риму и Италии было велено торжественно отпраздновать чудесную свадьбу. Палладий, огонь Весты и другие древние римские культовые предметы перенесли в святилище нового бога. После убийства порфироносного жреца камень был отправлен обратно в Сирию, видимо, потому, что слишком много неприятных воспоминаний было с ним связано.

Но в Римской империи культ Великой богини, носившей много имен, намного превосходил по значимости культ Ваала. Взятая вместе с богом солнца, она — луна; в широком смысле она — природа, мать всего живого. Начиная со времен далекой древности Ближний Восток устраивал в ее честь буйные вакханалии, приличествующие свободному от норм морали божеству. Радостные крики и траурные стенания, оргиастические танцы и скорбная музыка флейт, женская проституция и самооскопление мужчин постоянно сопутствовали этому культу природной, чувственной жизни. Сам по себе миф был не так уж известен, но, изменяясь в зависимости от места и времени, вплетался в ткань этих празднеств и дал римлянам последующих поколений сюжет для таинственных мистерий.

Мы пока не будем касаться образа египетской Исиды, близкой родственницы Великой богини,

и попытаемся распознать последнюю в обличьях, которые в III веке еще не стали неузнаваемы.

Ветхий Завет знает и ненавидит ее под именем Астарты, и храмы ее в рассматриваемый нами период еще существовали в Финикии; Лукиану известно о таком святилище, располагавшемся в Сидоне. Он мимоходом упоминает о нем в своем известном трактате «О Сирийской богине»; из этого произведения мы черпаем факты, но оно также прекрасно иллюстрирует отношение легкомысленного сирийца, обладающего греческой ученостью, к языческой религии родной страны. Нигде больше насмешки Лукиана не заходят так далеко; он напускает на себя простодушный вид и подражает стилю и ионическому диалекту почтенного старца Геродота, чтобы еще ярче подчеркнуть смешные моменты этого служения. Но мы узнаем также, какие зрелища окружали юного насмешника и что повлияло на него, прежде чем он порвал со всеми культами и всеми религиями. Афинянин не мог бы написать книги Лукиана.

Из Финикии культ Небесной богини распространился по всему Средиземноморью и слился с принятыми там верованиями. Греки признали ее как Афродиту Уранию, римляне — как Венеру Целестию, и эти имена впоследствии получили употребление даже в семитских странах. Эта Афродита мыслилась не как богиня любви и очарования, но скорее как богиня плодородия. Остров Кипр, где греческая и семитская культуры соприкасались, был целиком посвящен ей; города Пафос и Амат одним названием своим напоминали о ней. Остров Кифера и святилище на горе Эрик в Сицилии также принадлежали Урании. В Карфагене она была главнейшим божеством, во всяком случае в своем позднем воплощении, и топоним города Гадес, Гадейра (Кадис), вероятно, свидетельствует о местоположении храма Урании. Эти святилища были построены совершенно отличным от греческих храмов образом. Идол стоял на открытом месте, в высокой нише, лишенной потолка, и зачастую представлял собой просто конический камень; окружали его разнообразные заграждения, залы, дворы, где держали голубей. В той местности попадаются также и отдельно стоящие колонны, напоминающие о столпах Иакель и Баас перед иерусалимским храмом.

Другая форма имени Астарты — Атаргатис; до пояса эта богиня — рыба, выше — человек. В то время ее, без сомнения, еще почитали в некогда прославленных храмах Аскалона, неподалеку от святилищ филистимлянского рыбьего бога Дагона, да и не только там. В сильно эллинизированном обличье она восседает в знаменитом храме в Гиераполисе (Северная Сирия), который описал Лукиан и который вполне мог простоять в целости до IV века. На высоких хорах позади, куда могли подниматься только жрецы, рядом с уже упоминавшимся Ваалом-Зевсом, располагалось золотое изображение богини на колеснице, запряженной львами. Атрибуты ее заимствованы у разных греческих богинь: в руках она держит скипетр и веретено, ее тело охватывает пояс Урании, на голове — корона с лучами и камень, освещающий по ночам все пространство здания. Вдобавок рядом есть место и для прочих греческих или грецизированных богов. Там был бородатый одетый Аполлон, который оживал, когда к нему обращались с вопросом; жрецы поднимали его и несли туда, куда он указывал. Движение вперед означало положительный, движение назад — отрицательный ответ; и нам сообщают, что бог зачастую обильно потел. Внутри располагались также Атлас, Гермес и Эйлефия, а снаружи, рядом или на большом жертвеннике, стоявшем под открытым небом перед главным входом в храм, стояло множество бронзовых фигур, изображавших правителей и жрецов со времен высокой античности до эпохи Селевкидов; много было и героев из гомеровского цикла преданий. Но наиболее примечательны в данном случае не статуи, но сам культ, чья универсальность и запутанность просто не поддаются пониманию. На огромном дворе свободно передвигались священные быки, лошади, ручные львы и медведи; неподалеку был пруд, изобиловавший священной рыбой, а в центре его — жертвенник, к которому ежедневно плавали ревнители веры, дабы во исполнение обета чем-либо его увенчать. Возле храма жило множество флейтистов, кастрированных жрецов (называвшихся galli) и безумных женщин; предаваясь всяческим непотребствам, они устраивали шумные и зрелищные процессии и приносили жертвы своей богине. На весенний праздник, время безумия и буйства, в Гиераполис собирались паломники со всей Сирии. На торжестве не только сжигали половину окрестного леса в огне разнообразных приношений (животные, одежда, ценные вещи), но и набирали новых ваПошт; немало несчастных мужчин в вакхическом пылу оскопили себя в честь богини. Этот храм был одним из самых уважаемых на Ближнем Востоке; Каппадокия и Ассирия, Киликия и Финикия пополняли его сокровищницу. Великолепное зрелище представляло собой его здание на холме, высившемся над городом, его ионические колоннады на каменных террасах, с высокими пропилеями. Примечательно, что двор храма, видевший немало дикостей, послужил также образцом поздним отшельникам; над пропилеями поднимались два огромных каменных столба, изображавших фаллосы, такие же, как в Малой Азии, где существовали подобные культы, и на них каждый год поднимался человек, чтобы молиться семь дней и семь бессонных ночей; искавшие его заступничества приносили к подножию колонны приличествующие дары. Кто мог лучше искупить все эти непристойности, чем исполненный раскаяния святой, который поднимался на столп, чтобы служить Богу согласно своей

вере, и оставался там не неделями, а десятилетиями, до конца?

Особенно отвратительная форма культа этой богини, в данном случае выступавшей под именем Афродиты, была связана с одиноким храмом в ливанской роще Афака. Разврат и непотребства скопцов в нем не знали предела; тем не менее год за годом верующие приходили к озеру рядом с храмом, чтобы бросить туда драгоценные подношения, а потом дожидались чуда — огненного шара, который показывался на вершине горы и скатывался оттуда в озеро. Считалось, что такое обличье принимает сама Урания.

Рядом с этой многоликой Великой матерью всего живого мы обнаруживаем также не менее разнообразные олицетворения ее порождений, того, что выходит на свет по весне и умирает зимой. Иногда это ее сын или дочь, иногда — муж, а чаще всего — возлюбленный. После неистового веселья весеннего праздника наступало время стенаний и скорби о разлученных, время воспевания мук Великой богини. Как Исида плачет по убитому Осирису в Египте, так в Финикии небесная Афродита горюет по Адонису, «супругу», который благополучно прижился на Кипре и совершенно сроднился с греческим культом, так что Рим, возможно, уже считал его греческим божеством. Но чудеснее всего эти торжества проходили в Александрии; они справлялись еще в течение века после провозглашения христианства, хотя едва ли так пышно, как при первых Птолемеях, о чем сообщает нам Феокрит в 15-й идиллии.

Праздник заканчивался тем, что на берег моря отправлялась процессия женщин, и изображение Адониса омывали в волнах. В Антиохии празднества в честь Адониса тоже отличались поразительной жизнестойкостью.

Если этого бога еще можно считать греко-римским, потому что он с незапамятных времен входил в число классических божеств, то с его малоазийским воплощением дело обстоит иначе. Во Фригии и соседних с ней странах мы узнаем Великую богиню под именами Кибелы, Великой матери, Агдестис, Диндимены, Берекинтии, Пессинунтиды и так далее; ей сопутствует ее возлюбленный, Аттис, оскопление и гибель которого оплакивают верующие. Из древнего храма в Пессинунте, где жрецы правили, как повелители, и имели огромный годовой доход, изображение богини вместе с культом давно уже было перенесено в Рим, и лишенные мужской силы фригийские жрецы нашли приют в столице еще до того, как греки приняли у себя эту богиню, дав ей множество разных имен, так что к ее окруженной львами фигуре в короне с лучами все привыкли. Но Рим все же настоял, по крайней мере на первое время, чтобы толпа скопцов, флейтистов, девушек, играющих на тамбурине, и прочих не пополнялась за счет населения метрополии. Пока имело силу данное им разрешение на попрошайничество, возможно, эта мера должна была воспрепятствовать смешению служителей культа с римскими гражданами. Их приняли в городе, повинуясь велению сивиллиных книг и Дельфийского оракула; но республиканский, а также довольно долго и имперский Рим не проявлял никакого желания распространять культ в провинциях. Ювенал обнаруживает пьяного скопца с тамбурином на боку спящим в кабачке на углу, в окружении матросов, воров, беглых рабов и убийц. Но, выпрашивая милостыню, жрецы Великой матери в своих фригийских шапочках добивались доступа в дома богатых римлян; они играли на женских суевериях, а в отплату за ношеную одежду и яйца давали добрые советы, как справиться с лихорадкой, приходящей в конце лета. От присутствия при туалете знатных дам не так далеко до принятия в свиту и до дружеской беседы. В тот век суеверия тем шире распространялись, чем нелепее были. Вскоре появляются уже и дарственные в пользу жрецов Великой матери, и мы видим, что archigalli и верховные жрицы носят римские имена, а места поклонения богине появляются во всей Италии и Галлии. Создавались группки странствующих жрецов, где собирались настоящие отбросы общества, путешествовавшие с места на место и занимавшиеся самым бесстыдным попрошайничеством во имя маленьких изображений богини, которые они возили на осле. Наряженные, как женщины, они пели и танцевали под тамбурин и флейту и хлестали и увечили друг друга до крови, чтобы искупить воровство и бесконечные излишества. Так нищенствующие жрецы изображены у Лукиана и Апулея в век Антонинов. Позднее, по крайней мере в Риме, культ Великой матери принял более почтенную форму — в частности, от кастрации служителей отказались; иначе участие в ритуалах выдающихся граждан, о чем свидетельствуют памятники, объяснить нельзя. О мистериях, сопутствовавших культу, во всяком случае в IV веке, мы вскоре поговорим.

Великое апрельское празднество, значение которого долгое время оставалось непонятным, особенно выводило из себя христианских авторов. Начиналось торжество в день весеннего равноденствия. В лесу срубали сосну — дерево, под которым Аттис оскопил себя, — и праздничная процессия несла ее к храму богини, на Палатинский холм Рима. В поздних надписях несколько раз упоминается особое звание — Несущие Древо (dendrophori). Galli с растрепанными волосами били себя в грудь, словно бы от большой скорби. На второй день под звуки трубы начинались поиски Аттиса. Третий день назывался Днем крови, так как, чтобы почтить память Аттиса, galli калечили себя в тени сосны, украшенной фиалковыми венками и изображением несчастного юноши. Это

были дни глубокой и безудержной скорби — нечто вроде искупительного поста. На четвертый день, именовавшийся Илария, веселье не знало границ, и к нему присоединялся весь Рим, возможно, потому, что и раньше существовал некий весенний праздник, теперь совпавший с этим; торжество символизировало принятие Аттиса в круг бессмертных. На пятый день устраивалась передышка. На шестой день статую богини — голова из черного камня, тело из серебра — и священные лодки спускали на воду (на речку Альмон возле Рима), омывали ее, а затем беспорядочное шествие босых почитателей несло ее обратно в храм.

Даже если западный человек и не мог постичь глубинный мифологический смысл этого праздника, он, тем не менее, полностью отдавался его безумствам, повинуясь традиции и пользуясь случаем вырваться из плена повседневности. Язычники тяжелее всего отказывались именно от таких торжеств, и если не принимать в расчет изменение даты, то последний отзвук праздника в честь Великой матери — вероятно, воздвижение майского дерева перед церквями; в Италии это — piantar il Maggio. Можно проследить его воздействие и в том, что в знатных римских домах вошло в привычку заводить себе евнухов в качестве домашних. В IV веке наличие евнухов даже в домах истовых христиан стало обычным делом; этот чисто восточный обычай не снискал бы такой популярности, если бы бесчисленные служители богини из Пессинунта уже не приучили людей к безнравственному зрелищу бесполой толпы.

Здесь следует упомянуть, хотя бы кратко, о еще одном воплощении Великой богини, об Анаитис (Энио) с востока Малой Азии, культ которой был сопряжен с не меньшим развратом. Ей был посвящен могущественный храм в Комане (Каппадокия), где жило множество священных проституток обоих полов. Некоторые видят ее черты в древней римской богине войны Беллоне, чьи жрецы каждый год в диком неистовстве резали себе руки. Позднее, в III веке, существовали даже мистерии ее имени, где кровь служителя Беллоны наносили на щит и помазывали ею неофитов.

Рядом с этими двумя великими семитскими божествами нельзя не упомянуть третье, хотя оно вошло в греко-римский пантеон не в эпоху империи, а в далекой древности. Это Мелькарт финикийцев, и греческий Геракл представляет собой лишь один его аспект. Его культ, правда под римским именем, существует столько же, сколько поселения финикийцев и карфагенян; один из известнейших храмов располагался в Гадесе (Кадисе). Италию и Грецию классический образ сына Алкмены вполне устраивал; но в результате теократии так называемый тирский Геракл тоже вошел в число тамошних божеств. Ему посвящена надпись времен Галлиена, найденная на юге Италии, подобно тому, как в наше время на многих алтарях встречаются названия и копии чудотворных икон.

Все вышеизложенное отнюдь не преследует цели дать правдивый и жизнеподобный очерк религиозной ситуации в Малой Азии и Сирии времен поздней империи. Конечно, соотношения чрезвычайно различались, в зависимости от того, насколько в той или иной области сильно было влияние греков. Печальную картину являют великолепные храмы греко-римской архитектуры, возведенные в честь какого-нибудь бесформенного азиатского идола. Изящнейшие и прекраснейшие служили самым уродливым, так как храмовая администрация располагала достаточным количеством земли, денег и пожертвований, чтобы строить величественные и роскошные здания. Крепнущие суеверия приводили все больше малоазийских греков и римлян к жертвенникам восточных богов, и даже только что народившихся, если их служители имели достаточно бесстыдства. От Лукиана мы знаем о шарлатане II века Александре, который со своим маленьким змеиным богом одурачил сперва наивных пафлагонян из Абонутей-ха, а потом и всю Малую Азию, включая видных римских чиновников.

К сожалению, удовлетворительных известий касательно позднейшей истории храмовых администраций, которых, по сведениям Страбона, во времена Августа насчитывалось отнюдь не мало, крайне недостаточно. Неясно даже, какие отношения существовали между военной и торговой аристократией в Пальмире и огромным храмом Солнца с его сокровищами. Сколько руин римских построек на Ближнем Востоке осталось безгласными! Стоит только назвать величественную Петру в Аравии и многоколонный город Геразу восточнее Иордана, места, которые едва ли запомнили бы по произведениям писателей времен империи, если бы их одинокому величию не поразились современные путешественники.

Появление в римском пантеоне ближневосточных божеств означало только новые суеверия и более широкое распространение их ритуалов; ничего нового в культурном плане Риму они не дали. Однако с египетскими богами дело обстояло иначе. Им сопутствовало древнее почтение греков к мудрости египетских жрецов, которые, как считалось, обладали равно совершенными познаниями в теологии, астрономии, естественной истории и медицине, а также могли предсказывать будущее. Здесь этим занимались не сумасшедшие скопцы, а жреческая каста, которая некогда диктовала свою волю фараонам и их подданным и оставила после себя огромные памятники.

Во времена Птолемеев для этой касты наступил период упадка, и храмовые владения перешли к государству. Былое уважение к тайной жреческой мудрости исчезло после того, как из песков Дельты поднялся город Александра, ставший лабораторией греческих ученых и получивших греческое образование египтян, которые применяли там новые методы научного поиска и научного исследования. Македонский царь, его чиновники и воины не повиновались уже велениям храмов, а значит, не было нужды и дальше пытаться сохранить древнее жреческое знание в неприкосновенности. О своем визите в Гелиополь в Нижнем Египте Страбон сообщает: «Я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, которые занимались философией и астрономией; теперь же это объединение перестало существовать и его занятия прекратились. Действительно, я не обнаружил ни одного руководителя таких занятий, но только жрецов, совершающих жертвоприношения и объясняющих чужестранцам истинный смысл обрядов». Среди прочих достопримечательностей демонстрировали место, где, по преданию, Платон прожил тринадцать лет и так и не смог выпытать у жрецов их глубочайшие секреты. Но в стране суеверий Египет скоро снова обрел то влияние, которое утратил в стране знания.

Прежде всего древняя религия была неотъемлемой частью своей страны (см. гл. 4), отчасти благодаря природной непокорности египтян, которые не знали лучшего способа сохранить свое национальное самосознание при чужеземных правителях, и отчасти благодаря традиционному образу жизни. Ни у одного другого народа жизнь не зависела настолько от священного учения и его предписаний, как у египтян. Тысячелетиями все силы народа уходили на то, чтобы в символах восславить свою близость к сверхъестественному. Храмовое строительство, праздники, жертвоприношения, погребения имели такую значимость, что обычная общественная жизнь, сельское хозяйство и торговля казались чем-то второстепенным. Такое положение вещей, никогда принципиально не менявшееся, продолжало оставаться в силе. Большинство храмов стояли нетронутыми; сама память о разрушении, учиненном Камбизом и персами, живая еще даже в римский период, вызывала страстное неприятие. Жрецы, еще владевшие дворцами при храмах, делали, конечно, все возможное, чтобы сохранить оракулы и жертвоприношения во всем их блеске и величии, чтобы праздничные процессии, проходя через широкие залы и дворы, через длинные коридоры мимо сфинксов и овнов, не уставали поражаться их великолепию. Если предположить, что количество членов иерархии в целом примерно равнялось оному при Птолемеях, то получается настоящая армия жрецов. Правда, голова у этого опасного исполина была отрублена; Птолемеи отождествили верховного жреца их собственных обожествленных особ с верховным жрецом всего Египта и поселили его в Александрии. Римляне тоже быстро поняли, как себя лучше обезопасить; по крайней мере, при Адриане должность «верховного жреца Александрии и всего Египта» занимал римлянин, Вестин, который в то же время был и главой Мусея в Александрии. Но конечно, множество служителей культа оставались египтянами. Среди них были prophetes, прорицавшие или совершавшие особенно священные жертвенные ритуалы; hierostoli, заботившиеся о гардеробе идолов; pterophori с крыльями на голове; hierogrammateis, некогда владевшие всем священным знанием, но теперь опустившиеся до уровня толкователей снов; horoscopi, работавшие со временем рождения; pastophori, несшие на праздниках изображения богов; певцы; люди, клеймившие жертвенных животных; те, кто ухаживал за священными животными; разнообразные бальзамировщики и служители при погребениях; наконец, бесчисленные храмовые рабы — или жившие в добровольном уединении, подобно монахам, или странствовавшие собиратели подаяния. Вокруг святилищ Сераписа, особенно того, что рядом с Мемфисом, со II века до Р.Х. возникали кельи этих «заточников», которые надеялись очиститься через пожизненное заключение в соседстве с богом, — явный и неоспоримый образец для христианских затворников; они получали пищу через маленькие окошки и умирали в своих норах. Вся эта огромная армия, сохранила ли она былую силу или нет, добивалась только одного: любыми средствами сохранить египетские верования и произвести на римлян как можно большее впечатление.

Не говоря о великом множестве более или менее местных божеств, повсюду стояли храмы общеегипетских богов Исиды, Осириса и Анубиса. В Александрии и нескольких других городах к ним прибавлялся еще Серапис, пришедший из Синопы, бог смерти, — предполагалось, что он связан с Осирисом. Храм Сераписа считался одним из чудес древней архитектуры, и в окружавших его зданиях после разрушения Мусея при Аврелиане располагались важнейшие научные учреждения, включая одну из двух великих библиотек. Стоит послушать замечания Руфина об этой удивительной постройке, столь же странные и неопределенные, как она сама, потому что на этом примере особенно ясно

видно, насколько греческий дух приспосабливался к национальному характеру этой родины суеверий. Храм Сераписа, стоявший на основании высотой в сто шагов, предположительно представлял собой возвышавшееся над городом огромное здание, увенчанное куполом, которое со всех сторон окружали лестницы, залы, потайные коридоры, а также комнаты для жрецов и кельи для кающихся. Четырехсторонняя галерея или шла вдоль самого здания, или огибала открытый двор. Для постройки не пожалели самых драгоценных материалов, даже золота и слоновой кости. В огромном центральном зале стояла фигура бога, столь исполинских размеров, что ее распростертые руки касались стен; по образцу греческих хризоэлефантинных [1]статуй ее деревянную сердцевину прикрывали самые различные материалы; открытые части были, по-видимому, из некоего священного дерева. Стены были выложены бронзой, и фантазия александрийцев изобрела второй слой обшивки — серебряный и третий — золотой. Во внутреннем чертоге не было окон, и освещался он искусственно. Лишь в день праздника, когда солнечного бога приносили в гости к Серапису, в нужный момент открывалась щель в восточной стене, и сверкающий солнечный луч падал на губы Сераписа; это называлось поцелуй солнца. Другие оптические или механические приспособления, которыми, очевидно, храм был оборудован не хуже театра, подробно не описаны или кажутся вымышленными, как, например, рассказ о магните в потолке, который поддерживал изображение солнца, сделанное из тонкого листа железа, парящим в воздухе; ту же историю позднее рассказывали про гроб Мухаммеда. Как и прочие храмы Сераписа, этот прославился через так называемую инкубацию. Больные здесь спали или посылали спать других в надежде узнать лекарство в посланном божеством сне. Греки применяли тот же метод в своих храмах Асклепия, что и послужило основанием для отождествления обоих богов.

Кроме того, каждая стена и каждый дверной косяк в городе были отмечены изображением великого бога, и на каждой улице стояли бесчисленные храмы, часовни и статуи других богов. Считается, что оборудование для обманных фантасмагорий имелось или могло быть и в других храмах. Так, в святилище бога, называемого в латинском описании Сатурн, огромная статуя помещалась напротив стены, и нутро у нее было полое, так что туда мог войти жрец и говорить через открытый рот; канделябры были устроены так, что их легко было потушить все одновременно. Но большинство такого рода приспособлений, вероятно, предназначались не для обмана, а просто со всеобщего ведома помогали украсить большие символические торжества, которыми издревле изобиловал Египет; если какой-нибудь легковерный фанатик почитал происходящее за чудо, жрецы, конечно, не стали бы его разочаровывать. Как нам известно, служители культа занимались также колдовством и изгнанием злых духов; но этой иллюзии они и сами поддавались, во всяком случае, не были мошенниками, совсем уж не верящими в собственные действия. Ибо в суеверии эта страна нуждалась, как в воздухе; уже в совсем поздний период египетская божественная пара произвела на свет новых отпрысков, а именно самого Сераписа и омерзительного Канопа; в городе на Дельте, носившем его имя, поклонялись ему в облике кувшина с человеческой головой и конечностями. Во времена Страбона город Каноп с его тавернами был излюбленным местом отдыха александрийцев. На Нильском канале днем и ночью не прекращалось движение; на прогулку отправлялись барки, в которых мужчины и женщины танцевали под звуки флейт и предавались всяческим приятным излишествам. Тогда еще главным зданием города оставался храм Сераписа, куда обращались за целительными сновидениями; позднее на передний план выдвинулось святилище Канопа, в IV веке оказавшееся высшей школой всех видов магии.

О соперничестве между животными культами и их жизнестойкости мы говорили в предшествующей главе. Каждый ном или округ поклонялся особому животному — овце, волку, бабуину, орлу, льву, козе, землеройке и так далее. Всеобщим поклонением наслаждались главным образом два известных быка: Мневис, которого еще в дни Страбона держали в часовне при храме в Гелиополисе, и Апис в Мемфисе, считавшийся воплощением Осириса. Не всегда легко было найти черного быка с белой меткой на лбу и полумесяцем на боку; в IV веке на это как-то раз понадобилось очень много времени. Найдя такого быка, его с почтением вели в Мемфис, вместе с коровой, его породившей; сотня жрецов приветствовала его и сопровождала в храм, долженствовавший отныне служить ему хлевом. Там и во дворе перед храмом его осматривали посетители и открывали предзнаменования в каждом его движении. Однажды бык отказался есть с руки Германика, и это сочли зловещим знаком. В Арсиное тогда еще были жрецы, знавшие, как приручать или, по крайней мере, прикармливать крокодилов, которым там поклонялись. Помимо всей этой священной живности нельзя не упомянуть о могущественнейшем из порождений природы, о том, кому Египет обязан самим своим существованием. У Нила была своя собственная коллегия жрецов, которые «служили ему и развлекали» его пожертвованиями, чтобы он удостоил зем- лю своим

[1] То есть статуи из золота и слоновой кости.

благословением. Согласно Евсевию, Константин собирался упразднить эту коллегию, но это намерение, очевидно, не исполнилось, так как жрецы намного пережили Константина.

Что же касается жрецов других культов, сложившихся ко временам Траяна, то Плутарх предоставляет нам описание жрецов Исиды, пожалуй, чрезмерно почтительное, и, где может, символически истолковывает их обряды и ритуалы. От прочих их отличали одеяния из белого льна и стриженые головы. Они практиковали воздержание и отказывались от многих сортов пищи — отчасти чтобы предотвратить ожирение, а также по причинам мистического характера. Также они избегали моря и соли. Этот культ, со всеми своими многословными плачами, был лишен духовного величия; нашлось в нем место и оргиастическим завываниям, и вакхической жестикуляции. Здесь сбрасывали со скалы осла, там водили быка с позолоченной шкурой, покрытого черным покрывалом. Особый инструмент, систр, предназначался для отпугивания злобного Тифона (разрушающее начало) назойливым шумом. Многие стороны этого культа носят отпечаток позднейших добавлений и заимствований. Статую Исиды одевали в разные цвета, темные и светлые, означавшие день и ночь, огонь и воду, жизнь и смерть. Курения выбирались в зависимости от времени суток: смола — утром, чтобы изгнать ночные туманы, мирра — днем, а ночью — Kyphi, смесь, составлявшаяся из шестнадцати компонентов под непрерывную молитву. Kyphi существовала также и в жидком виде: ее ингредиенты имели символическое значение, общий же эффект был наркотический.

Рассказ Плутарха вполне серьезен, но, тем не менее, автор указывает, что среди египтян некоторые считали все эти верования и в особенности животные культы безвкусными. «В то время как суеверия овладевали слабыми и наивными, — говорит он, — дух более гордый и дерзкий неизбежно охватывали безверие и непокорные думы».

Теперь нам следует выяснить, насколько широко и в каком качестве эта религия была распространена в Риме во времена расцвета и позднее, во времена упадка.

Если не говорить о чисто художественных заимствованиях, благодаря которым в Риме, особенно при Адриане, появилось великое множество египетских узоров и орнаментальных мотивов, то греческий и римский пантеон во все века оказывал хороший прием Исиде и окружавшим ее божествам.

Исида, земля и одновременно сам благословенный Египет, и Осирис, плодоносные потоки Нила, были для египтян основными символами жизни, и поэтому смогли стать частью чужого культа. Второе значение, которое божественная пара, вероятно, получила из семитских источников, а именно — луна и солнце, ко временам Геродота практически уже потеряло значение. Греки единодушно сочли Исиду Деметрой, а Осириса Дионисом, но, тем не менее, не окончательно лишили Исиду функций богини луны. В действительности она по очереди подвизалась на поле деятельности самых различных божеств: она была богиней подземного мира, снов, деторождения, даже повелительницей океана. Когда, после завоевания Александра, Египет оказался внутри обширной системы греко-римских взаимодействий, культ Исиды распространился повсюду в греческом мире и в итоге достиг Рима при Сулле, хотя спустя сто лет и встретил страстное общественное противодействие. Для римлян спутником Исиды иногда был ее муж Осирис, но много чаще — Серапис, Осирис подземного мира; также песьеголовый Анубис (побочный сын Осириса, который, будучи посредником между богами и подземным миром, отождествлялся с Гермесом); и, наконец, Гор, в грецизированной форме — Гарпократ, которого произвела на свет Исида после смерти Осириса.

Первоначальное их мифологическое значение, даже если бы мы точно его знали, все же не позволило бы нам понять, что именно видели в этих высших существах римляне. Серапис был не только богом целительства, но и солнечным богом; множество чужеземных и даже некоторые родные божества приобрели этот аспект. Причем власть Сераписа над душами при жизни и после смерти этому отнюдь не помешала. Подобным же образом Исида и прочие божества превратились в богов-спасителей в широком и целителей в узком смысле, не потеряв при этом связи с миром тьмы. Здесь уже трудно отличить Исиду от Гекаты, трехликой богини, которая на небесах — Луна, на земле — Диана, а под землей — Прозерпина. С другой стороны, для элегических поэтов она — вызывающая трепет и тщательно ублажаемая хозяйка королевства любви. По мере того как ее власть над жизнью распространяется все шире, все сложнее оказывается однозначно определить ее природу в понимании римлян. Она предстает перед нами в самых разных воплощениях, даже как Фортуна и Тихе, не говоря уже о чисто философских истолкованиях, которые позднее представили ее великим космическим божеством. Богиня быстро приобрела романизированный облик, сбросив свой египетский головной убор. Ее собственное платье сменилось одеянием жрицы. Теперь знаками отличия Иси-ды на скульптурных и живописных изображениях стали отделанная бахромой мантия, закреплявшаяся на тунике под грудью специальным шнурком, и систр в руке.

Римское оружие принесло культ Исиды на границы империи, в Нидерланды, в Швейцарию и Южную Германию. Он стал частью обыденной жизни быстрее и бесповоротнее, нежели культ

великой семитской богини. Императорской благосклонностью Исида стала пользоваться только после Веспасиана, который особое почтение выказывал александрийскому Серапису. Его сын Домициан выстроил храмы Исиды и Сераписа уже в Риме; первое время оба бога довольствовались скромными часовенками, однако внутри городских стен. Позднее в Риме появилось несколько весьма просторных святилищ богини. В храме в Помпее, восстановленном за шестнадцать лет до финальной катастрофы, имеется потайная лестница и углубление позади пьедестала со священными фигурами, а за ним — маленькая дополнительная пристройка с подземным покоем. Это, конечно, дает пищу для размышлений, однако это отнюдь не место и не вспомогательная часть для больших зрелищных фантасмагорий, каковые функции приписало ей воображение археологов и поэтов.

Жрецы Исиды, объединенные в бесчисленные коллегии (pastophori и тому подобное), в больших городах уже начиная с I века имели плохую репутацию. Так, они добивались от граждан передачи имущества в свою пользу, чему покровительствовала Исида в своем храме. Ювенал с глубоким презрением пишет о том, как бритоголовая, одетая в лен толпа с ритуальными стенаниями прокладывает себе путь в покои почтенных римских матрон, откуда только что вышли евнухи великой Сирийской богини. Последние только просили; но главный среди жрецов Исиды, появлявшийся в одеянии Анубиса, мог также произносить грозные пророчества и налагать наказания за некоторые приятные прегрешения. Даже если он предписывал нырнуть в Тибр посреди зимы, ему покорялись, так как вера матроны была тверда и она была убеждена, что слышала во сне голос богини.

Со II столетия культ Исиды, как и Великой матери, приобрел более возвышенный характер и, вероятно большее величие благодаря участию в нем императора и высших сословий. Отход от предшествующей практики был так разителен, что возникла идея, будто первыми принесли этот культ в Рим Коммод или Каракалла. На пути праздничных процессий с этих пор появились раизае, то есть места для передышки, вероятно снабженные особыми сооружениями. Одну такую процессию Коммод велел изобразить на мозаике в помещении в своем саду. В таких случаях сам он, должным образом подстриженный, должен был нести изображение Анубиса, и бил его мордой по головам всех рядом шедших жрецов. Но самое обстоятельное описание празднества в честь Исиды, могущее служить основой для представления обо всех торжественных процессиях того времени, предоставляет нам Апулей в последней книге «Метаморфоз». Действие происходит в развратном Коринфе. Шествие открывает яркий маскарад — пестрые маски воинов, охотников, гладиаторов, элегантно причесанных женщин, магистратов, философов (в балахоне, тапках, с посохом и козлиной бородкой), птицеловов и рыбаков. Затем движется ручная медведица на носилках, одетая как старая леди, обезьяна в обличье Ганимеда, в шапочке, оранжевом платье и с золотым кубком, и даже осел с крыльями — пародия на Пегаса, а рядом с ним бежит хромой карлик, изображающий Беллерофонта. Тут начинается собственно сама процессия. Женщины в венках, в белых одеждах, изображают туалет Исиды, разбрасывают цветы и благовония и размахивают зеркальцами и гребешками. За ними шествует толпа обоих полов с факелами, светильниками, свечами, как бы прославляя звездных божеств. Дальше идут арфисты, волынщики и хор певцов в белом; потом — флейтисты Сераписа, наигрывающие обрядовую мелодию, и глашатаи, расчищающие дорогу. За ними движутся верующие всех возрастов и сословий, одетые в белый лен, женщины с умащенными волосами, под легкими покрывалами, и наголо выбритые мужчины; они звенят систрами, сделанными из серебра, а то и из золота — что оказалось по средствам. Вот появляются и сами жрецы, несущие символы богини: лампы, маленькие алтари, пальмовые ветви, кадуцеи, изображение ладони и несколько сосудов особой формы. Другие держат самих богов — Анубиса с собачьей головой, наполовину черной, наполовину золотой, корову на задних ногах, корзину, заключающую в себе тайну великого учения. Замыкает процессию верховный жрец, прижимающий к груди золотую урну со змеей на ручке, представляющую саму богиню. В таком порядке шествие движется из города Коринфа, где происходит действие романа, к берегу моря. Здесь в расписную «лодку Исиды», украшенную иероглифами, со многими церемониями кладут ароматы и другие обетные приношения, и в виду святилищ, стоящих на берегу, судно спускают на воду. Пожелание удачного начала новому плаванию, написанное на парусе, и дата проведения широко отмечавшегося римского navigium Isidis, известная из других источников — 5 марта, — объясняют все торжество: так праздновали начало сезона морских странствий. Ведь именно в своем позднем, не египетском воплощении повелительницы океана Исида пользовалась в Средиземноморье особым почитанием, и коринфяне, у которых со всех сторон были заливы, очевидно, были ей особенно преданы. Процессия возвращалась к храму, и жрец, стоявший на высокой кафедре перед воротами, произносил благословение императору, сенату, всадникам, римскому народу, мореплавателям и всей империи; заканчивал он формулой laotz ajesiz, которая означала то же, что и Ite, missa est в христианском богослужении. На празднестве существовало различие между веселой толпой верующих и посвященными в тайные мистерии, о которых мы поговорим в следующей главе.

Все, что нам известно о сакральном письме, частично иероглифическом, частично иных тайных начертаний, в связи с этим предметом и не только, может быть, и верно; но римский, греческий или галльский жрец Исиды, хранивший эти надписи и способный, вероятно, копировать и декламировать их, конечно, ничего не знал об их значении. В самом деле, Рим, более не искавший глубокой мудрости в египетских храмах где учение давно уже перестало быть сильной стороной, воспринял многоименных богов, нисколько не заботясь о богословской логичности их новых образов. Об этом уже говорилось в связи с Исидой. Другой красноречивый пример — изображение Гарпократа, чей жест — указательный палец, показывающий на рот, — должен указывать, что он был вскормлен Исидой; на превосходной капитолийской скульптуре времен Адриана вместо египетского идола мы видим, что юный Купидон, держа палец на губах, призывает к молчанию, как dues silenti. С другой стороны, Анубис, хотя и отождествлявшийся с Гермесом, сохранил свою собачью голову; особенно противно, когда она сидит на человеческом теле, одетом в римские одежды.

Представление о символах этого круга божеств необходимо расширить, упомянув о бронзовых ладонях, которые, как можно предположить, беременные женщины приносили в дар Исиде ex votos[1], чтобы она помогла при родах. Пальцы сложены в клятвенном жесте, и как внутренняя, как и внешняя поверхность руки сплошь покрыта разными значками — тут и таинственные сосуды, и маленькие поясные портреты Исиды, Осириса и Анубиса, последние изображены как Дионис и Гермес. Здесь не место перечислять все символы; вполне возможно, число их равнялось числу прошений нуждающихся.

Список богов, участвовавших в смешении культов, далеко не исчерпывается уже названными чужеземными божествами; о многих будет более уместно упомянуть в следующей главе. Прежде мы говорили только об официально признанных и широко распространенных иноземных таинствах — sacris peregrinis; ничто не мешало верующему окружить себя множеством идолов и символов из всех стран и религий. Как различно в этом отношении поведение двух двоюродных братьев, Элагабала и Александра Севера! Элагабал бездумно соединил своих семитских идолов, римские палладии и камни Ореста из храма Дианы н Лаодикее. Точно так же, как Черный Камень из Эмесы сочетался браком с Уранией из Карфагена, так сам император-жрец женился на главной весталке; говорят, что он даже намеревался сделать свое центральное святилище местом объединения культов самаритян, иудеев и христиан. Все боги считались прислужниками его великого бога, и все мистерии проводились среди его жречества. С другой стороны, Александр Север прославлял основателей всех религий как образцы человечности и держал их подобия в своей домашней часовне, где Авраам и Христос соседствовали с Орфеем, предполагаемым основателем греческих мистерий, и чудотворцем-философом Аполлонием из Тианы. Лучшим из прежних императоров тоже нашлось место в его часовне, равно как их исполинским статуям — на форуме Нервы. В другой часовне стояли скульптуры Вергилия, Цицерона, Ахилла и других великих людей; благородный и неудачливый властитель хотел создать новый Олимп, населив его лучшими из известных ему. Но разумеется, происходившее во дворце римского императора, пусть в уменьшенном размере, но тысячекратно повторялось в прочих местах. Многие возвышенные души с радостью принимали христианскую веру, те ее стороны, которые были им доступны; а простые верующие люди еще более пылко интересовались христианскими таинствами, поскольку те сообщали своим посвященным совершенно особое отношение к жизни и смерти. Трудно представить себе чувства язычников по этому поводу — в сердцах их явно смешивались отвращение и стремление понять; едва ли мы располагаем на этот счет какими-либо непосредственными указаниями, если не рассматривать как таковую историю самаритянина Симона Волхва. О сближении двух религий в философском плане мы поговорим в дальнейшем.

Когда исчезло всякое внутреннее отторжение чужих божеств, когда дала о себе знать неодолимая притягательность таинственного, особенно восточных культов, никто не мог сказать, когда же, наконец, прекратится это заимствование инородного. Римский мир уже оказался во власти не только персидских, но даже индийских религиозных принципов, чему весьма способствовали неоплатонизм и мани-; хейство. Все, что манило таинственностью и хоть как-то приближалось к римским представлениям о божестве, с радостью приветствовалось.

Именно к этому позднему периоду римской истории относятся бесчисленные надписи с посвящениями «всем богам и богиням», «всем небожителям», «собранию богов» и тому

---

[1] По обету (лат.).

подобные. Несомненно, те, кто писал, подразумевали также и иноземных божеств, не желая никого обижать. Зачастую свойства родных и чужих божеств сливались в единую фигуру, которая именовалась Deus Pantheus, или Бог Богов. Так появились Silvanus Pantheus и Liber Pantheus; на изображениях Фортуны можно увидеть, помимо обычных весла и рога изобилия, еще нагрудник Минервы, лотос Исиды, молнию Юпитера, шкуру оленя, заимствованную у Вакха, петуха Эскулапа и тому подобное. Возможно, это должно было означать весь пантеон в его полноте, в противоположность философскому монотеизму, который, как мы увидим ниже, утверждал единство и слиянность всех богов в верховном существе.

Вот знаменитое утверждение философа Фемистия, относящееся к значительно более позднему периоду, когда император Валент, как приверженец арианства, жестоко преследовал ортодоксальных христиан. «Различие в христианских догматах, — говорил философ, — нисколько не странно, в сравнении с множеством и смесью догматов языческих оно невелико, потому что у язычников более трехсот различных учений; где много мнений, там по необходимости много бывает и разногласий, и такое различие мнений угодно Богу, дабы каждый более благоговел перед величием Того, Которого ведение для него недоступно». Может быть, подсчеты Фемистия завышены; кроме того, эти языческие учения и догматы не исключали друг друга, как христианские, так что человек мог одновременно разделять несколько из них. И тем не менее, триста различных способов богослужения, даже если они взаимно не исключают друг друга, указывают на такое раздробление язычества, которое не могло бы возникнуть просто из-за приятия чужеземных богов. Теперь мы покажем, как в увядающую языческую религию проникало бесконечное разнообразие, и через осязаемые предметы культа, и, в большей степени, через его внутренние основы, и как в то же самое время действовали мощные тенденции к упрощению религии.

Глава 6
БЕССМЕРТИЕ И ЕГО ТАИНСТВА. ДЕМОНИЗАЦИЯ ЯЗЫЧЕСТВА

Уже давно вместе с заимствованными обрядами и культами распространилась среди образованных сословий и наклонность к безверию, и в лучшем случае безверие это принимало философскую окраску. Но в III столетии среди высших слоев населения под влиянием великих бедствий, постигших страну, наблюдается смена настроений. С одной стороны, людей ученых захватили жажда чуда и суеверность простонародья; с другой — в их распоряжении оказалось новое духовное явление, ухитрившееся связать воедино философию и самые невероятные предрассудки, а именно — так называемый неоплатонизм.

Две эти тенденции не существовали отдельно друг от друга в общественной жизни того времени, и здесь их невозможно полностью разделить. Никак нельзя сказать с уверенностью, где кончаются народные верования и начинаются философские суеверия; последние зачастую признавали первые, стремясь найти для них место в своих построениях; особенно это касается учения о демонах.

На каждой странице истории III века мы найдем сви детельства об отдельных явлениях такого рода, о растущей вере в чудеса и фанатизме язычников, о мистицизме и аскетизме особенно пылких из них. Но в целом складывается впечатление, что отношение к сверхъестественному вообще принципиально изменилось. Эта перемена становится очевидной, если рассмотреть новые воззрения на конечную судьбу человека.

Постоянно выдвигаемое противниками христианства обвинение звучало так, что это отрицающая мир религия, которая рассматривает жизнь на земле только как мрачный и изобилующий испытаниями период подготовки к вечной жизни в мире грядущем. Напротив, язычество восхвалялось как исполненная радости доктрина, которая учила античного человека беспрепятственно проявлять свои способности, наклонности только ему присущим образом, воплощая свою, исключительную, судьбу. Следует сразу же возразить, что даже мировоззрение греков во времена наибольшего их процветания было далеко не столь радужным, как обычно считают. Но в любом случае необходимо понимать, что язычество III века не столь уж необоснованно претендовало на такую, если читателю будет угодно, похвалу и что оно также стало религией потустороннего. Христианская догма рассматривает вопрос о смерти и бессмертии в конце учения о человеке; но здесь мы начнем с обсуждения этого предмета, так как только через него можно прийти к пониманию поздних языческих религий.

Конечно, в очень большой степени развитию мироотри-цания способствовало плачевное положение государства и общества, но это объяснение нельзя считать исчерпывающим. Новые

тенденции, подобные вышеназванным, черпают свои жизненные силы из неизмеримых глубин, они не могут быть представлены просто как следствия предшествующих условий. Разумеется, раннее язычество даровало человеку существование после смерти, но в качестве всего лишь тени, это было какое-то бессильное сонное бытие. Те, кто претендовал на большую осведомленность, говорили о переселении душ, следуя в этом за египтянами или азиатами. Лишь немногим, любимым богами, было суждено пребывание в Элизии или на островах Блаженных. Когда наступило время кризиса язычества, круг избранных внезапно разросся, и на вечное блаженство стал рассчитывать чуть ли не каждый. На великом множестве саркофагов красуются вереницы тритонов и нереид, весьма искусно выполненные для этого позднего периода; они означают путешествие на упомянутые острова. Надписи на гробницах не оставляют места для сомнений. «О несчастные живущие, — читаем мы, — оплакивайте эту смерть, но вы, боги и богини, возрадуйтесь, принимая к себе нового гражданина!»

Кроме того, встречаются торжественные уверения, что настоящая жизнь начинается только в ином мире. «Лишь теперь ты обрел счастливую жизнь, вдали от земного рока; высоко в небесах ты наслаждаешься нектаром и амброзией в обществе богов». Такое радостное бессмертие предполагается даже для детей, для восьмилетних девочек: «Вы, возвышенные души праведников, ведите невинную Магниллу через Елисейские поля и луга к своим обиталищам!» Десятимесячный младенец якобы говорит: «Моя небесная божественная душа не уйдет к теням; космос и звезды примут меня; земля получит лишь мое тело, а этот камень — мое имя». Вдовец уверяет, что знает созвездие, где пребывает его жена: это Волосы Вероники близ Андромеды. Несколько скромнее молитва сына: «Боги подземного мира, откройте для моего отца рощи, где вечный день сияет пурпурным светом». Имеется также выражение особой надежды увидеть умершего вновь, но только на позднем языческом надгробии IV века. Мы обнаруживаем здесь еще и другое логическое следствие веры в бессмертие, а именно — веру в заступничество умерших за живых. Человек, занимавший крупную должность, говорит: «Как я заботился о вашем благополучии на земле, так я позабочусь о нем и теперь, среди сонма богов». Считалось, однако, неверно, что многие эти надписи имеют христианские истоки; многочисленные мифологические дополнения делают это, очевидно, невозможным.

Что подобные представления о бессмертии были в эпоху Диоклетиана широко распространены, доказывает предостережение, адресуемое язычникам Арнобием: «Не обольщайтесь пустой надеждой, когда надменные мудрецы заявляют, что они рождены от Бога и не подвластны законам судьбы и что, если жизни их будут в целом добродетельны, божественные чертоги распахнутся перед ними, и после смерти они смогут подняться туда беспрепятственно, как к себе домой». Но так или иначе, с тех пор глубоко укорененная вера в земное предопределение не находилась уже в таком жестком противоречии с мыслью о нравственном устройстве космоса, и стала приниматься в расчет судьба человека в ином мире.

Эти весьма благочестивые с виду убеждения с языческой точки зрения представляют из себя всего-навсего просвещенный монотеизм и суровую этику, которую в теории, а отчасти также и на практике сохранили стоики. Но для современников проблема выглядела отнюдь не так просто. Между ними и высшей целью их существования вклинивались бесчисленные боги и божественные иерархии, и об этих демонических силах собирались всевозможные сведения. Даже когда язычник того времени приближается к идее так называемого монотеизма, мы находим, что он вовсе не отказывается от представлений о сверхъестественных сущностях низшего ранга, служить которым и добиваться расположения каждого из которых нужно особо. Неспособный удовлетворить тоску по бессмертию в мгновенном нравственном и религиозном акте — бросившись доверчиво на грудь Предвечного, — человек ощущает необходимость предпринять долгое путешествие в обход. Отныне античное богослужение навсегда оказалось связано с определенными тайными обрядами, которые приближали ини-циата к его божественному покровителю и в то же время давали относительную надежду на бессмертие более радостное, нежели привычный призрачный Гадес. В греческих мистериях, посвященных Деметре и Дионису, эта надежда связывалась с празднованием смерти и возрождения природы, конкретно — хлебных злаков, и она не становилась необходимой составляющей культа. Такие мистерии продолжали существовать; если император или другой выдающийся гость приезжал в Грецию, он непременно желал пройти посвящение. В известном обращении к сыновьям Константина христианин Фирмик осуждает элевсинские инициации, критские таинства и засга корибантов как доселе действующие. Пожалуй, можно даже предположить, что мистерии, которыми во времена Павсания Греция изобиловала, сохранились, полностью или частично, хотя бы даже и в несколько увядшей форме, до эпохи Феодосия.

Но как бы примечателен сам по себе ни был ход этих таинств, здесь мы не будем вдаваться в рассмотрение их деталей, так как они по большей части восходят к раннеэллинистическому периоду, и в особенности потому, что они носили местный характер и даже до некоторой степени зависели от гражданских прав, а значит, никак не могли распространяться далее. По той же причине нам не придется рассказывать о римских мистериях Благой богини и тому подобном. Но со всеобъемлющими таинствами периода империи, которые распространялись на все римские религии и посвящались обычно чужеземным богам, ситуация совсем иная.

В том, что принципиально важные аспекты этого предмета остались неизвестны, и многие выводы строятся исключительно на предположениях, нет вины современных ученых. Прежде всего следует отметить, что как качественный, так и количественный состав происходивших из различных областей, сословий и других групп населения участников этих секретных богослужений остается в большой степени загадкой. Множество инициатов, вероятно, исчислялось тысячами, может быть, даже сотнями тысяч. Похоже, что в отдельных странах не было мистерий, случайно ли так сложилось или же по неким внутренним причинам, и в равной степени допустимо, что важные свидетельства о них — надписи и памятники — еще под землей. Однако одно предположение общего характера, тем не менее, можно сделать: эти таинства существовали в Риме с раннего времени, еще в период республики, но их не замечали и даже относились к ним с презрением. Но в III веке возрастает как количество, так и значимость участвующих в мистерии инициатов. Это подразумевает новое и более глубокое содержание их, основой которого становится обещание бессмертия.

У входа в этот таинственный лабиринт стоят две симпатичные фигуры — Амур и Психея, персонажи аллегории, родившейся из платоновского представления о человеческой душе. Хотя они и присутствуют на отдельных памятниках предшествующего периода, тем не менее все известные мраморные группы с ними созданы не ранее II века, и с тех пор и до конца языческой эпохи изображения Амура и Психеи, по отдельности или в нежнейшем союзе, радующихся или скорбящих, повторяются вновь и вновь, особенно на саркофагах. Единственное подробное литературное описание мифа — на страницах Апулея, жившего в эпоху Антонинов, — легко способно увести читателя в сторону. Рассказ Апулея — сказка, вся аллегория в которой состоит в том, что влюбленные были несчастны из-за долгой разлуки, произошедшей по вине одного из них, и что благословенное воссоединение связало их навеки. Автор непоследовательно и далеко не во всем следовал смыслу символического рассказа, имена главных героев которого он избрал для своей истории, и недостаточно приспособил к нему свое поэтическое повествование. Многие представления о человеческой душе, существовавшие во времена Апулея, не были им затронуты. Душа имеет божественное происхождение, но она пала, и на земном своем пути подвержена заблуждениям; пройдя через испытания и очищение, она снова должна подготовиться для жизни в блаженстве. Небесный Эрос, который выступает на ее стороне и ведет ее домой, как невесту, есть олицетворение божества, которое призывает к себе сбившийся с пути людской род и воссоединяется с ним.

Мы не знаем, существовали ли в римский период особый культ или обряды, связанные с этим символом. Он лишь указывает на определенную направленность мышления. В царстве искусства и поэзии аллегория эта отражается во множестве побочных образов. На ряде картин появляется Психея в облике бабочки; Паллада помещает ее на голову человека — Прометея; она излетает из его тела в момент смерти, и Гермес ведет ее в подземный мир. С этим связан прозрачный символ конечного освобождения Прометея, прикованного к скале, которого Геракл избавил от орла стрелой из лука; с тех пор герой пребывает с богами на Олимпе.

От всеобъемлющего символа позднеримской тоски по бессмертию мы перейдем к таинствам, где можно распознать подобное же содержание.

Мистерии Вакха, до сих пор широко распространенные в империи, не следует, пожалуй, затрагивать. В чем они в ту эпоху состояли, установить нельзя; мы знаем только, что в таинство входило пожирание сырой окровавленной плоти козленка и что инициаты в священном безумии обвивали вокруг себя змей.

Мистерии трехликой богини подземного мира, Гекаты (Луна, Диана, Прозерпина), по-видимому, были теснее связаны с верой в бессмертие. Авторы ничего не сообщают нам по данному вопросу, но в надписях этот культ помещается наравне с важнейшими таинствами в честь Митры и Великой матери, а следовательно, он имел немалую значимость. На статуе divae triformis[1] в Германнштадте, что в Трансильвании, есть полосы рельефных изображений, которые,

---

[1] Трехликая богиня *(лат.)*.

вероятно, представляют разные моменты и ступени посвящения. О средствах, шедших на это тайное служение, можно судить по плану храма Гекаты, выстроенного Диоклетианом в Антиохии, — 365 шагов вглубь, если наш источник надежен.

Позднейшая форма мистерий в честь Венеры, о которых сохранились разрозненные упоминания, также неизвестна. Но все же самые важные ритуалы были посвящены чужеземным богам.

С фригийским культом связаны два рода таинств. Более древняя форма, появляющаяся уже в период расцвета Греции, — тайный культ Сабазия. Древние фракийцы, возможно, отождествляли его с богом солнца, фригийцы — с Аттисом; но в Греции его обычно считали воплощением Диониса и устраивали в его честь публичные торжества. Их главной составляющей были шумные песни с цимбалами и тамбуринами, сопровождаемые диким танцем под названием sikinnis[1]. Нам известны только внешние детали тайного ритуала посвящения в том виде, в каком он проводился в греческий период: участники облачались в шкуру молодого оленя (nebris), пили или разбрызгивали вино из чаш, проходили обряды очищения и так далее, и завершалось все это традиционным криком инициатов: «Я бежал от зла и обрел добро»; вокруг же обносили лохань или колыбель. О сокровенном (согласно Крейцеру, космогоническом) учении мы ничего не знаем, и едва ли можно допустить, что какая-либо высокая идея могла служить целью большинству участников и завершением церемонии, сводившейся к ночным бесчинствам самого грубого рода; они навлекли на культ Сабазия серьезную немилость. Позднее эти мистерии оказались широко распространены в Римской империи, возможно получив новое религиозно-философское содержание; они также приобрели некоторое родство с митраистскими ритуалами, о которых речь пойдет ниже. Теперь — если уже не раньше — золотой змее позволяли спуститься по одеянию инициата, украшенному священными стихами, и внизу снимали ее — вероятно, это должно было напоминать о любви Зевса и Деметры. Затем инициат, ведомый во внутренний покой святилища, произносил слова: «Я вкушал пищу из тамбурина, я пил из цимбала, теперь я инициат» — не говоря о другой, не поддающейся расшифровке формуле. Можно также заключить, что по крайней мере в III и IV веке посвящения в культ Сабазия, приобретя новое значение, снискали и более доброжелательное отношение. Христианские авторы, видевшие в золотой змее наконец-то сбросившего маску и обличившего себя Сатану, конечно, не смолчали бы, если бы церемония продолжала заканчиваться излишне вольно. Помимо того, в этих таинствах, очевидно, стали принимать участие люди значительного общественного положения; Фирмик (около 340 г.) говорит, что некоторые приверженцы Сабазия одеты в пурпур, и в волосах у них золото и лавр.

Значительно более примечательна, но, к сожалению, немногим более известна вторая, поздняя разновидность фригийских мистерий в Римской империи — тавроболии. Они были непосредственно связаны с обрядами Великой матери и Аттиса и прямо обещали бессмертие.

Известны надписи времен Антонинов, свидетельствующие, что taurobolium (жертвоприношение быка) и criobolium (жертвоприношение барана) посвящались Великой матери и Аттису. Жертвующий объявлял, что он *in aeternum renatus,* то есть родился для вечности. Мы ничего не знаем об учении, сообщавшем такую надежду, и крайне мало — о сопутствующем церемониале. В Риме классическим местом инициации был Ватиканский холм, где, по-видимому, поддерживалось постоянное сообщение с провинциями. Традиционным временем их проведения была полночь (mesonyctium). В земле выкапывали глубокую яму и накрывали ее щитами, продырявленными на манер сита. Кандидат в инициаты, облаченный в символическое одеяние с золотыми украшениями, забирался под них. Когда наверху убивали жертвенных животных — быка, барана, а иногда и козла, — он старался, чтобы как можно больше крови попало ему на лицо, волосы и одежду. Но посвящение не сводилось к одному этому отвратительному обряду: от кандидата требовалось на людях носить постоянно окровавленные одежды, с одинаковым терпением принимая как насмешки, так и почтение. Похоже, что такое очищение кровью действовало двадцать лет, а потом его нужно было повторить, конечно, без ущерба для упомянутой вечности. Тем не менее это была одна из наиболее распространенных форм инициации, и она могла проводиться не только в пользу самого устроителя, но и в пользу других лиц, ради благосостояния императорского дома и даже, по крайней мере во II и III веках, за целые города. Как ритуал видоизменялся, когда в нем участвовали группы людей, неизвестно. Случалось, что проведение таких обрядов предписывала сама Великая мать, очевидно, во сне. Для нас трудно связать возвышеннейшие помыслы со столь грубым их воплощением, но этот изысканный век обретал утешение в viribus aeternus[2], посвященной вечности бычьей крови. Один инициат, проконсул

[1] Греческое обозначение пляски сатиров в театральных постановках.

[2] Вечные силы (лат.).

Африки и префект города Рима вдобавок, вполне серьезно благодарил богов за проявляемую ими отныне заботу о его душе.

На посвятительных надписях, особенно поздних, Аттис часто именуется Менотиран; это показывает его изначальное тождество или последующее отождествление с Меном, малоазиатским лунным богом, но никак не способствует объяснению смысла мистерии.

Более значимыми и, конечно, более утонченными были таинства Исиды, оставившие отчетливые следы также и в литературе. Книги, похоже, с этой целью главным образом и писавшиеся, весьма способствовали появлению новых соискателей. К произведениям такого рода относятся апулеевские «Метаморфозы», а также «Повесть об Антии и Габрокоме», принадлежащая Ксенофонту Эфесскому, которые датируются II веком. Здесь Исида охраняет и защищает влюбленных в их бесчисленных приключениях. Сама Исида сильно изменилась; она уже не потворствует разврату, чем занималась раньше в своих многочисленных храмах, но, напротив, оберегает девичье целомудрие, победа которого — достойная тема нескольких поздних романов такого рода.

Здесь пойдет речь не о настоящих древних торжествах в честь Исиды в Египте, где она искала и обретала разъятого на части Осириса, но о всеобъемлющем культе Исиды периода империи. Значение и содержание этого культа трудно определить с точностью, поскольку римские народные верования, связанные с данной богиней, были весьма многообразны и изменчивы. Единственный дошедший до нас последовательный рассказ о нем помещен Апулеем в уже цитировавшейся последней книге «Метаморфоз», но мы не знаем, выступает ли его Ауций как наблюдатель-философ или же как верный инициат. Несомненно одно: и эти мистерии, такие яркие и пестрые, обещали блаженное бессмертие. «Владычица Исида», предстающая как Мать-природа и основное начало божественного бытия, в качестве платы за превращение несчастного Луция из осла обратно в человека, требует, чтобы он никогда не забывал: вся его жизнь с этих пор до последнего вздоха принадлежит ей. «Ты будешь жить счастливо под моим покровом, ты будешь жить прославляем, и когда, совершив свой жизненный путь, сойдешь ты в ад, то и там, в этом подземном полукружии, ты увидишь меня просветляющей мрак Ахеронта, царствующей над Стигийскими пустынями и, сам обитая в полях Елисейских, часто воздавать мне будешь поклонение». В то же время Исида обещает Луцию долгую жизнь на земле, если он порадует ее усердной службой и искренним раскаянием; а главное, жрец обещает ему защиту и безопасность перед судьбой, которой обычно управляют звезды. Видимо, тогда еще жила вера в подобные заблуждения.

Священное учение, которым делились с кандидатами в инициаты, черпая его, вероятно, из иероглифических книг, вряд ли отличалось особенной глубиной, чтобы какое-то высшее, духовное начало, сердечное движение, даже продолжительное воздержание повлияли на души посвящаемых — для этого внешний, зримый церемониал был слишком ярок. В самом ли деле новообращенным делалось понятно, что Исида есть природа и в то же время сущность всего божественного бытия или Апулей здесь описывает свои личные воззрения? Мы знаем только, как уже говорилось, что эти мистерии стали излюбленным способом обезопасить себя, посредством определенных обрядов и магических действий, от несчастий в земной жизни, от безрадостного существования за гробом или же от полного уничтожения после смерти. Единственная составляющаяя таких таинств, предполагавшая регулярное обращение к духовной сущности человека, — часто и, конечно, не совсем произвольно приходившие сны, в которых Исида выражала свою волю по всем необходимым поводам. Тут возможен не только простой обман — ибо сны могли нашептывать в уши спящих, — но и постоянное, искусственно поддерживаемое нервное возбуждение. С другой стороны, внешняя канва обрядов была или, понятая наполовину, заимствована из Египта, или просто долженствовала произвести впечатление на пылкое воображение. Пока кандидат слушал наставления, он проходил подготовку, обычную перед большинством таинств: воздержание от вина, мяса, других удовольствий в течение полных десяти дней; купание, окропление святой водой и тому подобное; принятие даров от друзей и таких же кандидатов. Ночь посвящения, назначенную во сне, соискатель проводил в храме. Сперва он надевал облачение из грубого льна, затем менял платье двенадцать раз, пока не получал цветную одежду и олимпийскую столу, украшенную пестрыми фигурками удивительных животных. На шествия и зрелища, демонстрируемые инициатом, Луций мог только намекнуть, сказав, что он испытал символическую смерть и затем воскресение милостью Исиды (precaria salis)[1]. «Достиг я пределов смерти, переступил порог Прозерпины и снова вернулся, пройдя все стихии, видел я пучину ночи, видел солнце в сияющем блеске, предстоял богам подземным и небесным и вблизи поклонился им». Обо всем этом мы никогда не сможем рассуждать с уверенностью. Следует ли

[1] Букв. «выпрошенное на время спасение»

предположить использование при каждом посвящении оптических приспособлений и диорам, которые, по нашим представлениям, необходимы даже для создания поверхностной иллюзии? Как мы увидим в другой связи, существовало, конечно, достаточно средств заставить современника поверить в то или иное волшебство или явление призрака; но дух эпохи был настолько пропитан верой в значение символов, что хватало эффектных зримых образов, возникавших в ходе ритуала, дабы поразить воображение его участников. Напротив, современный нам мир столь абсолютно чужд символического и так его презирает, что нам едва доступна другая точка зрения и быстро надоедают формальности и церемонии. И то же отношение проявляется в наших суждениях о прошлом. Чем поверить в могущество символа, мы скорее предположим наличие дорогостоящих приборов для создания иллюзий оптических и механических, то есть настоящее мошенничество.

Но вернемся в коринфский храм Исиды. Время близится к рассвету. Луций, в своем цветном одеянии, в руке горящий факел, на голове венок из лучеобразных пальмовых листьев, стоит на деревянной платформе перед статуей богини. Внезапно занавес перед глазами его расходится, и толпа, собравшаяся в нефе храма, зрит его, как живое воплощение солнца. Пир и веселье завершают церемонию.

Но подлинная sancrosancta civitas[1] служителя Исиды — сам Рим, где Луций также впоследствии обосновался при храме Исиды Сельской. На следующий год во сне ему был дан совет не забывать и об Осирисе и отправиться к некоему pastophori, которому, в свою очередь, естественно, также снился Луций. После бесчисленных трудностей, преимущественно денежного характера, благочестивый соискатель добивается инициации также и у Осириса. Этот «среди высших величайший» бог даже благословляет Луция на его судебные занятия и советует ему, опять-таки во сне, стать членом коллегии pastophororum. Автор не вдается в детали этого посвящения. Согласно его собственным словам, он участвовал в большинстве греческих мистерий; но очевидно, что выше всего он ценил таинства того круга богов, в который входила Исида.

Пожалуй, значительнейшим из всех тайных культов был культ Митры, также суливший своим адептам спасение и бессмертие.

Древнейшая персидская религия знала солнечного бога по имени Митра, и более позднее учение Зороастра, поскольку не могло совершенно от него избавиться, присвоило ему положение посредника между Ормуздом и Ариманом, Светом и Тьмой. Митра стал первым из небесных язати (через заходящее солнце) также покровителем царства мертвых; он судил души на мосту Чинват. Но прежде всего это был покровитель земли, сельского хозяйства, плодородия, символ которого — бык — с глубокой древности сопутствовал Митре. В Зенд-Авесте сохранились многочисленные обращения к этому богу.

Однако будет заблуждением искать в Митре угасающей Римской империи все те же черты этого древнего божества ортодоксальных персов. Позднее, благодаря могучему влиянию вавилонских верований, их Митра стал богом солнца и главой планетной системы. Более того, традиция, перешедшая к римлянам, была еретической изначально, так как родилась в среде враждебной магам религиозной группы Персидского царства. Наконец, она оказалась заимствована из вторых рук, и, по-видимому, в довольно-таки преобразованном виде, в связи с войной на уничтожение, которую Помпеи Великий вел против пиратов — большей частью уроженцев Киликии. Как нам известно, они знали немало тайных ритуалов и, помимо прочего, создали обряды в честь Митры, с тех пор вошедшие в широкое употребление. Так или иначе, но эта составляющая персидской религии в полуассирийской форме прижилась в Малой Азии. Исследования данного культа богаты курьезными гипотезами, и нужно остерегаться без нужды умножать их число. Тем не менее пусть знатоки позволят нам задать один вопрос: в среде ли киликийских пиратов служение Митре впервые получило ту окраску воинственной религии грабителей, которая впоследствии снискала ей столько приверженцев между римскими воинами? Но в любом случае киликийцы-работорговцы путешествовали немало, и вера их сопутствовала им.

В большинстве европейских собраний древностей имеются многочисленные рельефы, некоторые весьма крупных размеров, изображающие этот загадочный миф, но не объясняющие его. Художественное достоинство их невелико, и в лучшем случае они едва ли старше Антонинов. На них мы видим пещеру, над нею — поднимающуюся и опускающуюся колесницу солнца, или же солнце вместе с луной. В пещере юноша во фригийских одеждах — сам Митра — вонзает кинжал в горло быку, упираясь при этом в спину ему коленом. С хвоста быка свисают колосья; собака прыгает на животное, змея лижет его кровь, скорпион кусает его половые органы. По сторонам стоят двое, один с поднятым, другой с опущенным факелом. Над Митрой парит ворон, традиционно птица прорицаний, возможно также связанная с полем битвы. Львиная голова, временами появляющаяся в правом углу, вероятно, указывает на свет и солнце. Кроме того, на

[1] Святая святых *(лат.)*

отдельных камнях имеется бесчисленное множество других дополнений, но о них мы говорить не будем.

Первоначальное значение данных символов совершенно очевидно. Прежде всего, здесь представлена победа солнечного героя над быком, олицетворяющим луну или вообще быстрый ход времени и долженствующим умереть, чтобы мог народиться новый год. Зерно — это урожай, собака — всепожирающий Сириус[1], скорпион — осень (то есть близящаяся гибель природы). Факельщики (иногда полагают, что это утренняя и вечерняя звезда) обозначают равноденствия. Изображения по сторонам и над пещерой, видимые на некоторых особенно изобильных деталями рельефах, теперь понимают как символы звезд и стихий; раньше считалось, что они обозначают различные стадии тайных посвящений. Но многое до сих пор остается невыясненным. Очевидно, впрочем, что значение всех элементов восходит ко временам древних персов.

Однако смысл, приписываемый этим картинкам в по-зднеримский период, сильно отличается от первоначального. По счастью, в надписях содержатся ясные сведения; так, мы читаем: «Непобедимому богу, Митре», «Непобедимому Солнцу, Митре», «Солнцу, непобедимому» и так далее. Кстати, последняя форма — одна из наиболее частых формул на монетах Константина Великого, который за всю свою жизнь так и не смог отказаться от внешних проявлений митраистского культа. Непобедимый, разумеется, в то же время являлся и подателем победы, что особенно подходило богу войны; недавние исследования показывают, что это была по крайней мере вторая функция Митры даже в древнеперсидском обличье. Наконец, Митра — проводник душ; он помогает им подняться от земли, куда они пали, обратно к свету, из которого они вышли. Такая идея родилась из настроений, весьма распространенных в по-зднеримском мире; мысль, что земная жизнь — всего лишь переход к бытию более высокого плана, уходит корнями не только в верования и знание народов Востока и египтян. Страдания и ужас старости убедительно свидетельствовали, что существование в этом мире состоит из тягот и горестей. Во времена упадка язычества культ Митры стал одной (и, возможно, наиболее значимой) из религий, обещающих освобождение.

Однако античный человек испытывал страдания, не ощущая при этом своей греховности. Поэтому прощение на словах помогало ему мало; ему требовалось какое-то совершенно особое избавление. Чтобы приблизиться к богу-спасителю, каждый должен был освободить самого себя, пройдя добровольно через жесточайшие мучения, которые здесь играли значительно более важную роль, нежели в других мистериях. Так, в состав митраистских посвящений вошли хорошо разработанные испытания, в сравнении с которыми taurobolium и испытания, применявшиеся в культе Иси-ды, кажутся детской игрой. То, с чем мы здесь сталкиваемся, — отнюдь не просто попытка отбить охоту у тех, кто не был действительно призван, и у публики в целом; это называлось «кары» и, очевидно, стоило многим жизни. Кары включали восемьдесят этапов; кандидат, к примеру, выдерживал пятидесятидневный пост, устраивал заплыв на огромное расстояние, прикасался к огню, лежал в снегу, иногда до двадцати дней, проходил через всяческие пытки, два дня подвергался бичеванию, лежал на пыточной скамье, принимал и удерживал болезненные позы, еще раз постился в пустыне и так далее. Названо семь различных степеней посвящения, но их порядок не определен; так, имеются степени ворона, воина и льва, а дошедших до высшей ступени называли Отцами. Неизвестно, на какой из них люди участвовали в обрядах, которые современники-христиане называли просто таинствами. На ступени льва участник омывал руки в меду и давал обет не осквернять их больше никакими проступками. В каком-то случае использовались хлеб и чаша с водой, и очищение от грехов производилось путем купания. Затем с меча на голову «воина Митры» бросали венок, который требовалось поймать, но спустить на плечи, так как единственный венок и корона преданного инициата — сам Митра.

Поскольку в служении этом принимали участие немало императоров, придворных и вообще людей заметных, сложилось устойчивое мнение, что все эти подражательные действия и кары не следует понимать буквально, что большей частью они сводились к символическому жесту или просто словесной формуле. Кто бы упросил, например, Коммода подвергнуться всем этим странным мучениям? Не были ли иерофанты разных таинств, как правило, снисходительны к значительным лицам? Но наши сведения о реальности кар слишком определенны, чтобы позволить их опровергнуть простыми предположениями. Однако вполне допустимо, что, так как не существовало единой организации, которая бы охраняла культ и руководила им, в разных частях империи ритуалы могли весьма отличаться. Насколько известно автору, камни Митры со множеством рисунков и рельефов по сторонам и сверху пещеры все найдены на Рейне, в Тироле и Трансильвании; они обнаружены в Геддернгейме недалеко от Франкфурта, в Ной-енгейме близ Гейдельберга, в Остербуркене между Нек-каром и Таубером, в Апулеуме неподалеку от

---

[1] С и р и у с — звезда, ассоциировавшаяся с палящим зноем в конце июля — начале августа.

Карлсбурга, в Сармисегетузе, а также в Трансильвании. В Вене находится один очень важный образчик из Моля-в-Тироле; по сторонам основного рельефа расположены два ряда маленьких картинок, изображающих, по-видимому, разные пытки посвящаемых; они стоят в снегу и воде, лежат на пыточной скамье, их опаляет огонь и так далее. Можно предложить этому много объяснений, но для нас важно только отметить, что в тех краях, по причинам, ныне неизвестным, подробный рассказ в рисунках оказался необходим. С другой стороны, на множестве камней, найденных в Италии, ничего подобного нет. В отдельных ложах ордена (если не воспринимать это неопределенное выражение слишком однозначно) порядок приема, догматика и формы поклонения, вероятно, принципиально отличались. Вышеуказанные памятники большей частью относятся к III веку, ко временам религиозного брожения, когда язычество осознало собственный внутренний распад и стало пытаться хотя бы частично восстановить и укрепить свои силы, что привело кое-где к возникновению настоящего фанатизма. Логично предположить, что, наряду с пространственными различиями, временные также являли собою немаловажный фактор.

Можно утверждать с вероятностью, а отчасти даже с уверенностью, что уже упоминавшиеся камни Митры, найденные к северу от Альп и Дуная, появились там благодаря римским солдатам. Какую роль играли посвященные в повседневной жизни лагеря? Как сочеталось служение богу с военными и политическими обязанностями высшего офицерства? Существовала ли действительная связь между инициатами? Внес ли этот культ свой вклад в духовное возрождение римского типа во второй половине III века? Все эти вопросы останутся без ответа, пока единственными нашими источниками информации будут несколько отрывков, причем большей частью из христианских авторов. Места, где находят камни Митры, — пещеры, естественные или искусственные, и иногда — отдельно стоящие здания, часто площадью всего несколько квадратных футов, задняя стена которых занята рельефом. Туда могли поместиться всего несколько человек сразу, и, если собиралась толпа, она, очевидно, стояла снаружи. Даже крупное святилище Митры в Геддернгейме имеет в длину менее сорока футов[1]; ширина его двадцать пять футов[2], но оно перегорожено так, что остается только восьмифутовый[3] проход. В маленьком митреуме в Нойенгейме, площадью восемь квадратных футов[4], вся внутренняя часть заставлена алтарями и статуями родственных божеств, то есть Геркулеса, Юноны, Виктории, а кроме того, там найдено множество инструментов, светильников и обломков других предметов. Архитектурные излишества, например богато украшенные колонны и прочее, указывают, что эти святилища не требовалось держать в секрете. Кто бы посмел осквернить их? Солдаты, проводившие там свои тайные обряды, были тогда господами мира.

Думается, что пещера Митры в Риме (расположенная на склоне Капитолийского холма) была все же просторнее и величественнее, как, несомненно, и другие обиталища бога в крупных городах империи. В Александрии святилище находилось глубоко под землей. Когда, уже в христианские времена, его перекопали, чтобы заложить фундамент под церковь, еще ходили темные истории об убийствах, в нем совершенных, и, видимо, «кары» в самом деле стоили жизни многим искавшим посвящения. Там действительно обнаружили черепа, и появилось ошибочное предположение, будто они принадлежали жертвам, над чьими внутренностями велось наблюдение и с помощью которых вызывали мертвых. Ничего подобного в митраистском богослужении не было, но в воображении египтян таким жестокостям, как мы увидим, место всегда находилось.

О том, что данный культ имел распространение по всей империи, свидетельствуют около сотни рельефов и надписей. Возможно, тысячи других еще скрыты под землей, и нужно надеяться, что раскопки их будут произведены с той же тщательностью, как в Геддернгейме, Нойенгейме и Ос-тербуркене. Чтобы пролить необходимый свет на интереснейший из тайных культов античности, достаточно отыскать одну-единственную хорошо сохранившуюся пещеру Митры.

Но так или иначе, эта религия не избежала влияния других современных ей суеверий. Прежде всего, было немало людей, совершенно неспособных удовлетворить свою жажду мистерий, которые искали благоволения трехликой Дианы, стремились приобщиться через taurobolium к тайнам Великой матери, а также к вакхическому служению, к таинствам Исиды, а заодно и Митры, — в IV веке смешение всех языческих ритуалов стало правилом, но оно наверняка встречалось не так уж редко и ранее. Мысль о единстве всех божественных сущностей приобретала все больше силы, и на резкие отличия между отдельными культами все меньше обращали внимание, так что заимствования осуществлялись свободно. Неоплатоническая философия стала частью религии Митры, как и всех мистерий, и Порфирию, одному ее из наиболее знаменитых приверженцев, мы

---

[1] То есть менее 12,17 м.
[2] 7,62 м.
[3] Примерно 2,43 м.
[4] 2032 кв. см.

обязаны, в сущности, единственным исследованием предмета, сделанным язычником. Но в очерке Порфирия «О пещере нимф» рассматриваются не столько современные ему богослужения, сколько первоначальное их значение, причем толкуется оно причудливо-символически, исходя из представлений собственной школы. Мы узнаем, что пещера — знак Вселенной, или Космоса; поэтому Зороастр посвятил Митре, создателю и руководящему принципу мира, цветущий и многоводный грот в горах Персии. В нем присутствовали символы всех стихий и областей мира; оттуда-то и пошли все последующие мистерии, связанные с пещерами. С другой стороны, весь очерк посвящен гроту в Итаке, описанному Гомером («Одиссея», XIII, 102—112, *346* и далее), ставшему центром символизма Порфирия. Он следует неверному методу отыскания тождественности в мифах и все время пытается связать один далекий отзвук чего бы то ни было с другим. Но отдельные его разбросанные намеки имеют огромную ценность, когда он, например, рассказывает, что через северные и южные врата его мировой пещеры души, рождаясь, спускаются на землю и, умирая, восходят к богам, когда говорит о генезисе и апогенезисе и вообще о жизни и очищении душ. Наконец, существует естественное родство между Митрой и греко-римским солнечным богом, мыслится ли он как Аполлон или иначе, как Сол или Гелиос. Мы, вероятно, никогда не узнаем, насколько переплетены были эти два образа; не исключено, что Sol Invictus[1], который, начиная с середины III столетия, появляется на монетах весьма часто, везде отождествляется с Митрой, пусть даже изображен он только как бог солнца. Солнцепоклонничество ранних императоров, как, например, Элагабала, скорее всего, берет свое начало в семитском культе; в случае же с Аврелианом мы пребываем в таком же неведении, как и относительно его веры вообще. Его мать была жрицей солнца где-то на Нижнем Дунае, и вполне допустимо, что она прошла посвящение Митре — о таких случаях имеются упоминания — и достигла, может быть, степени «львицы». С другой стороны, когда был разграблен храм Солнца в Пальмире, Аврелиан приказал одному из своих генералов восстановить его и добавил: «Я напишу сенату и попрошу прислать понтифика, который произвел бы освящение храма». То есть следовало провести традиционный римский обряд, хотя дело касалось обиталища семитского Ваала. Но в самом Риме Аврелиан выстроил огромный великолепный храм Солнца, в который вложил пятнадцать тысяч фунтов золота (ибо, конечно, ему, а не какому-то другому святилищу был сделан подарок); и задняя стена этого здания примыкает к Квиринальскому холму таким образом, что возможность связи с Митрой никак нельзя полностью исключить. Ибо Митра был и остался «богом из скалы», и все его священные жилища имели поэтому нечто от пещеры, даже если она и не воспринималась как символ явленного мира. Уже говорилось о том, что убийство быка, изображаемое на памятниках, происходит в пещере. Непобедимое Солнце появляется также на монетах Аврелиана. Об отношении последующих императоров к культу Митры ничего нельзя сказать с определенностью; мы еще вернемся к этому, когда речь пойдет о Константине.

Может показаться странным, что обсуждение культа Митры мы продолжаем беседой о манихействе, пришедшем из Персии, — ведь оно не имело таинств. Но это и не просто ответвление христианства, а, скорее, особая религия освобождения, по преимуществу языческая. Приобрело ли оно в Риме более языческий характер, нежели носило в царстве Сасанидов, — тема для дальнейших исследований, как и его посягательство на христианскую церковь. Несовместимость его дуализма с классической догмой состоит в том, что оно разлагает все на чистые символы, через которые проявляют себя два основных начала — свет и тьма, Бог и материя. Высшее понятие этого учения, Христос (явно напоминающий Митру), есть мировая душа, сын предвечного света и освободитель, но едва ли личность; его земное воплощение считается иллюзорным. Следовательно, освобождение — не единичный акт, как, например, жертвоприношение, а длительный; Христос помогает человеку от нравственно несвободного состояния борьбы между духом и материей (или между доброй и злой душой) подняться в царство света. Сложно определить, насколько близко данные идеи приближаются к труднопостигаемому понятию личного бессмертия; так или иначе, «главное послание» секты говорит о «вечной жизни во славе», каковое обещание, вероятно, и производило самое сильное впечатление на римских прозелитов. Дальнейшее обсуждение этого весьма примечательного учения здесь неуместно.

У Мани, основателя манихейства, были апостолы, и он, невзирая на все преследования, создал в своей общине начатки иерархии. Чуть ли не десять или двадцать лет спустя после его мученической кончины (272—275 гг.) его учение распространилось по всей Римской империи. Императорский указ (287-го или 296 г.) Юлиану, проконсулу Африки, свидетельствует, что ситуация в Africa Proconsulari выглядела так. Очевидно, при подстрекательстве новой секты там случились крупные беспорядки, и стало известно, что к Риму ее сторонники, как и приверженцы некоторых

---

[1] Непобедимое Солнце *(лат.)*.

других восточных религий, относились отнюдь не дружелюбно, а, скорее, крайне враждебно, а на них самих смотрели вдвойне подозрительно и даже с презрением из-за персидского происхождения их учения. Диоклетиан принял решительные меры: он распорядился сжечь зачинщиков вместе с книгами, а других участников либо тоже предать смерти, либо (если они входили в число занимающих почетную должность или имели другое значительное положение в обществе) сослать в рудники и отобрать все имущество. Истинной причиной подобной строгости была враждебность новой религии к старой; последняя не могла смириться с присвоением священного права на рассказ о создании богов и людей. После этого поразительного упоминания мы теряем манихейство из виду на несколько десятилетий. Оно, очевидно, не играло большой роли до смерти Константина; по крайней мере, в знаменитом эдикте о еретиках оно не названо. И лишь в V веке манихейство на время поднимает голову и оказывается опаснейшим врагом Церкви.

Из предшествующего явствует, что язычники позднего периода вымаливали у богов не только урожай, богатство и победу; мрачная тревога касательно мира загробного владела ими и влекла их к самым невероятным учениям и обрядам.

Но и этот мир предстал теперь в другом свете. Уже указывалось, в связи с египетскими мистериями, как достигнутая ценой многих усилий защита великого божества давала надежду избежать не только исчезновения души, но и беспокойной земной судьбы, которая зависит от звезд. Теперь следует показать, как изменялись отношения между сверхъестественным и земной жизнью, как астрология, магия и демонология возобладали над жертвоприношениями, оракулами и разными видами искуплений. Первые, конечно, существовали всегда, и еще у Гомера Цирцея выступает как прародительница магии. Платон рассказывает о бродячих чудотворцах, которые якобы могли тайно наложить проклятие или даровать благословение; и мы узнаем о волшебниках, якобы управлявших погодой и плодородием земли, способных вызывать бурю и штиль. Шессалия была и долгое время оставалась знаменитой страной любовной магии, заклинаний и тайных чар. Древняя Италия тут едва ли отставала от Греции; например, вызов богов, причинивший столько вреда Туллу Гостилию, входил в состав первоначального римского культа. Двадцать восьмая и тридцатая книги Плиния подробно показывают, какая роль в приготовлении лекарств и прочем отводилась колдовству. Особенной славой пользовались чародейские искусства этрусков, сабинян и марсов, то есть жителей центральных областей Италии. Римляне верили не только в волшебные исцеления, но и в то, что магия позволяет накладывать заклятия на хлебные поля, управлять погодой, возбуждать любовь и ненависть, превращать людей в животных и совершать другие чудеса. Та же уверенность содействовала рождению разных весьма примечательных чудовищ — стоит назвать кровососущих ламий и Эмпусу. Счастлив обезопасивший себя с помощью спасительной защитной магии! С головы до пят римляне обвешивались амулетами, и существовала даже целая система магической защиты, о некоторых составляющих которой следовало бы бегло упомянуть. Детальный очерк описанных чародейских практик может привести к убеждению, что они пронизывали весь античный мир, исполненный непреходящего страха перед повседневностью. И тем не менее, отдельные ранние суеверия наносили древней религии значительно меньше вреда и меньше мешали простым отношениям человека и божества, чем поздние *систематизированные* предрассудки, господствовавшие во времена империи.

Сперва следует поговорить об астрологии, которая считалась издревле исключительно делом Востока и знатоков которой именовали халдеями, хотя очень мало кто из них действительно происходил из страны у нижнего течения Евфрата. По крайней мере самые знаменитые из них, Фрасилл, живший при Тиберии, и Селевк и Птолемей, жившие при Отоне, носили греческие имена. Уважали мудрость не только вавилонян, но и египтян, памятуя о Пето-сириде и Некепсо, предположительных авторах наиболее известных работ о звездной науке.

Оставив в стороне тот факт, что астрологи не довольствовались одной астрологией, но стремились узнать будущее и другими, опаснейшими способами, сама эта наука давала могучий толчок к атеизму. Последовательный приверженец астрологии вполне мог презреть всю нравственность и все религии, так как они не облегчали судьбу, явленную звездами, и не защищали от нее. Именно знатоки этой тайной науки жестоко проклинали императоров I века. Халдеев постоянно изгоняли, потому что их знание не могло стать исключительной собственностью империи, поскольку весь мир жаждал их прорицаний; и каждый раз их звали назад, потому что люди не могли действовать без них. Если кто-нибудь возвращался в Рим с рубцами от оков, которые он носил на одном из островов в Эгейском море, он справедливо ожидал, что люди станут соперничать за право обратить на себя его внимание. Коротко говоря, астрология занималась тем, что соотносила человеческие судьбы со всевозможными положениями планет относительно знаков зодиака. Время определяло все; гороскопы зачастую составлялись для самых обычных дел, как-то: приятное путешествие или прогулка в бани, но также и для всей человеческой жизни, если знать созвездие, стоявшее на небе в момент рождения. Те, кто не терял головы, понимали бесполезность

таких выдумок и в состоянии были доходчиво доказать их бессмысленность, как, например, сделал святой Ипполит. Могут ли созвездия иметь какое-то конкретное и постоянное влияние на человеческую судьбу, когда их расположение в каждый отдельно взятый момент для наблюдателя, находящегося в Месопотамии, выглядит совершенно иначе, нежели для находящегося на Дунае или в окрестностях Нила? Почему у людей, родившихся в один и тот же час, неодинаковая судьба? Почему важнее созвездие, главенствовавшее при рождении, нежели при зачатии? Почему огромная разница во времени рождения не защищает людей от общей погибели, например при землетрясении, при захвате города, буре на море и тому подобном? Простирается ли эта предполагаемая власть звезд над судьбой на мух, червей и разных паразитов? Не может ли существовать — вопрос предполагает ответ — больше планет, нежели известно? Да и, в конце концов, все разумные люди соглашались, что знание будущего — отнюдь не благословенный дар, а ложные предвестия — совсем даже наоборот.

Но никакие разумные основания не могли искоренить эту мнимую науку среди народа, который даже во времена культурного расцвета был чужд идее божественного миропорядка и всеохватной системе нравственных ценностей и который теперь более чем когда-либо беспокоила и тревожила неопределенность в вечных вопросах. Люди тем сильнее жаждали веры, что их естественные силы, дающие человеку готовность встретить свою судьбу, словно бы умалились. В поздней империи астрология пыталась приобрести этическую наполненность столь же примечательным образом, что и упоминавшиеся ранее тайные культы. Веские доказательства такого преображения имеются в «Восьми книгах о звездной науке» язычника Фирмика Ма-терна, писавшего вскоре после смерти Константина. В конце второй книги этого свода теоретических положений религии небесных светил астрологу дается длинное и торжественное наставление, как избежать в своей практике неприятных, тяжелых и компрометирующих моментов. Ma1Ье-тайсиз (то есть астролог) должен вести благочестивую жизнь, так как он беседует с богами. Он должен быть доступен для людей, справедлив и не алчен. На заданные вопросы он должен давать ответы открыто и предупреждать об этом вопрошающих заранее, чтобы предотвратить нежелательные и безнравственные вопросы. Он должен иметь жену, детей и почтенных друзей и знакомых; у него не должно быть тайных связей, он обязан много появляться в обществе. Он не должен ни с кем ссориться и принимать просьбы, направленные на удовлетворение чьей-то ненависти и мести и могущие навлечь на кого бы то ни было беду и несчастье. Он обязан всегда оставаться человеком чести и не должен сочетать свое ремесло с занятиями ростовщичеством — это говорит о том, что подобным образом поступали многие бесчестные астрологи. Ни он не должен давать, ни ему не должны приносить клятв, особенно в делах денежных. Он должен стараться оказывать спасительное влияние на людей из своего окружения, сошедших с истинного пути, и вообще выводить людей ищущих на верную дорогу не только через ответы звезд, но и дружеским советом. Ему следует избегать ночных жертвоприношений и церемоний, проводимых как публично, так и в уединении. Ему следует также избегать цирковых представлений, чтобы никто не подумал, будто победа «зеленых» или «синих» вызвана его присутствием. На вопросы касательно отцовства, всегда болезненные, и просьбы составить гороскоп третьих лиц всегда следует отвечать неохотно и колеблясь, чтобы не казалось, будто человек виноват только тем, что совершил поступки, подсказанные жестокими звездами. Слово decretum — веление — употребляется постоянно, как обычный термин.

Значительно большую опасность для астрологов представляли собой вопросы о судьбе императора; в первые два века империи они зачастую влекли за собой гибель как «математика», так и клиента. Александр Великий не только не презирал все прорицания касательно собственной судьбы, но весьма ценил их; теперь ситуация стала намного плачевнее. Трон цезарей, поскольку династии не существовало, осаждали честолюбцы, желавшие знать, когда и как умрет император и кто будет наследовать ему. Но астрология нашла способ обойти этот момент. Фирмик Матерн объясняет, что о судьбе императора ничего знать нельзя, поскольку ею руководят не звезды, но непосредственно высшее божество. В качестве властелина мира император имеет статус демона, одного из тех, кто послан божеством в мир в качестве созидающей и охраняющей силы, а значит, звезды, менее могущественные, ничего об императоре сообщить не могут. Нашзрюез оказывались в той же ситуации, когда им приходилось выяснять судьбу империи с помощью наблюдения внутренностей; они нарочно перепутывали кровеносные сосуды и волокна, чтобы не отвечать. Но в IV столетии такие увертки астрологии уже почти не помогали; связанная с другими суевериями, она противостояла как трону, так и христианству, и вместе с магией и прочими тайными искусствами подлежала запрету и подверглась гонениям. Место не позволяет привести здесь конспект учения Фирмика, и ни один современный человек не возьмет на себя труда прочитать его книги целиком, если только он не жертва того же заблуждения — или если он не собирается подготовить новое издание, что, учитывая труднодоступность предшествующих, было бы весьма

своевременно. Собственно секреты астрологии, торжественную клятву хранить которые автор требует от своего адресата (Мавортина Лаллиана, высшего должностного лица), помещены в последних двух книгах. Там находятся таблицы созвездий, которые определяют, будет ли человек убийцей, совершит ли он инцест, станет ли калекой или же гладиатором, законником, рабом, окажется ли подкидышем и так далее. Естественным следствием этого гнусного обмана должно было быть исчезновение каких бы то ни было нравственных соображений, чего, несомненно, и добивались первые мошенники-халдеи. Но новая мораль настолько распространила свое влияние, что автор времен Константина уже старается как-то согласовать с ней свое учение, и это не просто манера изложения. Он провозглашает мысль о том, что даже самые страшные веления звезд можно преодолеть молитвой и усердной службой богам; Сократа, например, звезды обрекли испытать все страсти, и судьба эта была запечатлена у него на лице, но все же своими добродетелями он превозмог их все. «Ибо то, от чего мы страдаем, что обжигает нас горящими факелами [то есть страсти], принадлежит звездам; но наша сила сопротивления принадлежит божественному духу». Несчастья добрых людей и удача, сопутствующая злым, в первую очередь результат влияния звезд. Но это утешение выглядит как простое внешнее дополнение, малозначащее рядом со стройной теорией ерунды, располагающейся на семистах полноформатных страницах. Вначале по семи планетам распределяются темпераменты и части тела, а типы телосложения, вкусы, климаты, области, положения в обществе и заболевания — по двенадцати знакам зодиака. Например, Рак означает острый соленый вкус, светлый и беловатый цвет, водяных животных и ползучих гадов, седьмой пояс мира, стоячую или текущую воду, заурядность и все заболевания сердца и диафрагмы. С другой стороны, астролог не работал с расами и национальными характерами; для него довольно, что звезды обуславливают личность. Бесчисленные прочие курьезы, то и дело попадающиеся в книге, не подлежат рассмотрению в данной работе.

Астрологи то и дело упоминают о высшем божестве, которому, как простые посредники, подчиняются все остальные сверхъестественные сущности. Почему философия не могла усвоить себе идею такого бога и раз и навсегда прийти к умеренному теизму?

Жажду свободы, свойственную человеческому духу перед лицом великих исторических течений, сильно принижает тот факт, что тогдашняя философия в лице многих истинно благородных людей, опиравшаяся на всю мудрость античности, заблудилась во мраке окольных путей, а также то, что, по крайней мере для начала IV века, мы не можем определить ее роль иначе, нежели роль посредницы между двумя родами суеверий, хотя в этических вопросах и наблюдается некоторый прогресс.

Роднит это время с духовным преображением, наблюдавшимся в конце II — начале III века, гибель древних философских школ. Исчезают эпикурейцы, киники, перипатетики, даже стоики, чья сдержанность родственна лучшим чертам римского характера. Не только развитый теоретический скептицизм, но и открытые насмешки Лукиана свидетельствовали о бессмысленности строгого разделения на школы. Но у дверей уже дожидалось новое учение, еще более догматичное, нежели предшествующие философские системы, а значит, в некоторых отношениях близкое новому религиозному движению. Это был неоплатонизм. Его появлению весьма содействовало могучее влияние восточных суеверий и усердные исследования записей древних пифагорейцев, давно уже сошедших со сцены, чье знание, как предполагалось, также имело восточное происхождение; другие значимые составляющие нового учения были заимствованы собственно у Платона. Плотин, главный поборник школы в середине III столетия, предстает как мыслитель огромного значения, а вся система с ее наклонностью к мистицизму — как возможный победитель ранее властвовавшего в духовной жизни скептицизма. Есть что-то неуловимо подлинное и в еще большей степени — поэтическое в учении о происхождении всех вещей от Бога и распределении их по разным уровням бытия, в зависимости от объема примеси материального. Ни одна философская система не присваивала человеческой душе положение более высокое: здесь она — непосредственная эманация божественной сущности, по временам может полностью с нею воссоединяться, и так возноситься над повседневной жизнью и мыслями. Впрочем, здесь нас интересует не столько учение данной школы, сколько действительное, требуемое или желаемое, отношение ее последователей как к морали, так и собственно к религии. Мы видим, как повторяется извечная ситуация, когда умозрительная теория, вопреки общепринятому мнению, оказывается лишь случайным связующим звеном, но отнюдь не основным средоточием тенденций и сил, которые существовали бы и без какого бы то ни было ее воздействия.

Сразу же необходимо отметить, что эта позднейшая философская школа отнюдь не продвинулась на пути к монотеизму, идея которого в значительно более развитом виде присутствовала у многих мыслителей — ее предшественников, нежели в понятии «единого»,

«абсолютного единого», и какое еще обозначение придумывали неоплатоники для первичной сущности или верховного божества, которое они представляли наделенным сознанием, но одновременно и пантеистически — как имманентное миру. Далее, политеизм оказался составляющей этого учения, проявившись в форме веры в демонов, божеств более низкого ранга, которые заведовали отдельными странами, природой и условиями жизни. В греческих верованиях демоны присутствовали всегда, но в неодинаковых обличьях, в разные времена будучи в разной степени схожи с богами, и философы рано, хотя и несколько насильственно, включили их в теологическую схему. Позднее народные суеверия часто придавали им образ зловещих призраков, и иногда считалось, что они мстят за совершенное зло и дают защиту, но чаще — что они насылают немощи. Неоплатоническая философия, как мы увидим, полагала их творящими сущностями промежуточного уровня.

Таким образом, древним богам в данной системе не находилось места, если только они не преображались в демонов и не оказывались в ряду этих менее могучих сил. Конечно, ничего другого с народной мифологией сделать было нельзя, и мифы обращались в скорлупки для естественно-научных, религиозных и нравственных истин. Истолкования могли причудливо переплетаться, и для эвгеме-ристов это стало излюбленным методом. Говоря о душе, данная философская система хотя и помещает ее превыше всего, как эманацию божества, но не доходит до идеи вечного блаженства, а только до мысли о переселении душ. Но применительно к лучшим из них эта мысль развивается в представление о переселении душ на определенные звезды; мы уже видели, что близкие иногда полагали, будто *могут* указать звезду, предназначенную усопшему. На деле ини-циаты хотя иногда и удостаивались увидеть отблеск блаженства, но лишь изредка и только первые и лучшие из них, верившие, что они узрели Бога.

Пожалуй, характерной чертой столетия, более значимой, чем развитая теософия, характеристика которой дана выше, является типичное для данного периода соединение неоплатонизма и нравственных и аскетических тенденций. Имея что-то от христианства, оно временами вступает в противоречие со свободной моралью античности, так же как настроенность христианства на иной мир враждует с близостью античного человека к миру земному; но при рассмотрении язычества III века сложно отыскать причины такого противостояния. И здесь мы видим примечательное знамение или отражение того, что принесет следующее столетие.

Собственно говоря, неоплатонизм создал идеал язычества на основе биографий возлюбленных друзей богов, которые, соблюдая полное воздержание, побывали среди всех известных древности народов, приобщились к их мудрости и их мистериям и, постоянно общаясь с божеством, превратились в чудотворцев и сверхъестественных существ. Для этого путь богоданного Платона был известен слишком хорошо и подробно, хотя школа всегда относилась к нему с уважением, причитающимся демону; например, некий Никагор из Афин, в эпоху Константина посетивший достопримечательности Египта, в фиванских криптах написал свое имя с мольбой: «Будь милостив здесь и ко мне, о Платон!» Но жизнь Пифагора уже отошла во времена мифические, и ее можно было переделать. Такого рода переделку предпринял при Константине Ямвлих, непосредственно после того, как Пифагор значительно более исторично был описан Порфирием. С другой стороны, жизнь чудотворца Аполлония из Тианы, хотя и относилась к I веку после Христа, достаточно изобиловала загадками и невероятными происшествиями, чтобы можно было превратить ее в тенденциозный роман; каковую задачу успешно решил в правление Септимия Севера Филострат. Здесь не место разбирать эту весьма примечательную книгу; следует только обратить внимание на факт единственного в своем роде перемирия, заключенного между древним греческим субъективизмом и восточной тягой к чудесам и самоотречению. Тот самый Аполлоний, который ходит босиком, в льняных одеждах, не услаждает себя ни животной пищей, ни вином, не прикасается к женщине, который покинул все, что имел, кто знает все и понимает все, в том числе и язык зверей, кто, как бог, является посреди голода и бунта, творит одно чудо за другим, изгоняет демонов и воскрешает мертвых — тот самый Аполлоний без стеснения творит на греческий манер культ собственной личности и иногда проявляет тщеславие самовлюбленного притворы-софиста. Он из хорошей семьи, приятной наружности, говорит на чистом аттическом диалекте и овладел всеми учениями еще мальчиком. Он с большим достоинством принимает любые знаки уважения и поклонения. Он рано понимает, что достиг уровня, где ему уже не нужно искать, а можно только сообщать другим результаты своих исследований. Здесь нет еще ни следа смирения; напротив, святой старается смирять других, и каждый, кто смеется над его рассуждениями, объявляется одержимым и, соответственно, должен быть подвергнут очищению. Множество черточек этой картины спустя столетие позаимствовал Ямвлих, дабы обогатить идеальный портрет Пифагора, который, правда, создан и с опорой на более-менее подлинную древнюю традицию. Чтобы дать понять, что Пифагор — «душа, ведомая Аполлоном», а то и сам Аполлон, воплощенный в человеческое тело, его заставляют не только вести жизнь аскета, но и совершать чудеса, спускаться

по воздуху с Кармела на побережье, заклинать животных, находиться в нескольких местах одновременно и многое другое в том же духе.

Образцы для этих воплощенных идеалов броского аскетизма следует, очевидно, искать среди кающихся приверженцев различных восточных религий, от иудеев — назареян и терапевтов, до воздержанных персидских магов и индийских факиров, прекрасно известных грекам под именем гимнософистов. Но способное в принципе привести к возникновению морали учение о падении человеческой души, о том, что душа осквернила себя материей и должна очиститься, точно так же имеет восточное, а именно, по-видимому, индийское происхождение. Однако ни сама идея покаяния, ни его форма не прижились бы за пределами Востока, если бы появлению соответствующих настроений не поспособствовало уже подобное движение. Связи, а на деле взаимовлияния, данной системы и христианства были неизбежны.

Теперь эта школа, назвавшая себя именем Платона, скатилась до уровня коснейшего из суеверий и кое-где совершенно выродилась в магию и теургию. В великой иерархии сущностей, эманировавших из Бога, дух совершает работу над духом и над природой средствами магии, и посвященный может овладеть ключом к этим средствам. То есть деяния, приписываемые полумифическим чудотворцам, Пифагору или Аполлонию, считались вполне доступными современникам. Неоплатоники были риторами, софистами, преподавателями, секретарями, подобно философам ранней империи; но, продолжая заниматься своим делом, они, тем не менее, иногда принимались заклинать богов, демонов и души, совершать чудесные исцеления, а также разнообразные мистические мошенничества.

Эта сторона деятельности египтянина Плотина (205 — 270), благороднейшего сторонника школы, была не слишком обширна. Своей безупречной нравственностью и аскетизмом, на путь которого он подвиг и других, включая многих выдающихся римлян, он приобрел дар ясновидения и пророчества; похоже, что заниматься колдовством он продолжал вынужденно. Он стал объектом высшего почитания, и, пока существовали язычники, «его алтари никогда не остывали». Его ученик, финикиец Порфирий (родился в 233 г.), как будто бы даже несколько разочаровался в магии; он ставит под вопрос всю демонологию своей школы, почему последняя стала относиться к нему с некоторым подозрением. На его возражения последовал ответ, известный под неточным заглавием «О египетских мистериях», столь же неточно, вероятно, приписываемый Ямвлиху из Келесирии, считавшемуся при Константине главой школы, либо же египтянину Абаммону. В Древней Индии, а также в немецком Средневековье мы обнаруживаем весьма развитый мистицизм, выросший из более или менее развитого пантеизма; здесь же мистицизм родился из политеизма, хотя боги его и оказались низведены до уровня разнообразных демонов, не наделенных личностью. Как поклоняться духам, как обращаться к ним, как их различать, как служили им любимые богом мудрецы, посвятившие этому жизнь, — таково вкратце содержание этих жалких побасенок, и в IV веке общее направление школы очевидно склонялось к подобному извращению; теургия была важнейшим ее оружием в борьбе с христианством. С этих пор платоновские элементы в учении и мировоззрении неоплатоников — не более чем довесок.

Пожалуй, не столь уж неуместно будет дать здесь беглый обзор представлений о способах вызова духов. Прежде всего душа ищущего должна перейти в абсолютно бесстрастное состояние и обрести внутреннее единение, практически тождество, с соответствующим духом. Суть состоит не столько в том, что этот дух спускается вниз, повинуясь заклинанию или иной необходимости, сколько в том, что душа возвышается до него. Даже внешние объекты в данном случае не просто символы, они имеют мистическое родство с соответствующим божественным началом. Хотя и идет речь о Едином, самодостаточном верховном боге, но достичь тождества с ним могут лишь очень немногие, и только после того, как человек служил демонам и добился слияния с ними. Уровни духовных сущностей, частью заимствованные из иудейской теологии, даны в нисходящем порядке: Бог, боги, архангелы, ангелы, демоны, космические архонты, герои, материальные архонты и души. Души абсолютно индивидуальны; чем выше уровень, тем ближе духи к слиянию или «квинтэссенции». Все восемь уровней распределены в длинном перечне согласно форме, роду, изменяемости, виду, красоте, быстроте, размеру, излучению и так далее. Но более значимы их способности и дары людям. Боги полностью очищают души и даруют им здоровье, добродетель, праведность и долгую жизнь. Архангелы делают то же самое, но не столь совершенно и постоянно. Ангелы освобождают души от оков материи и приносят подобные же, но более конкретные дары. Демоны тянут души вниз, к природе, отягощают тело, посылают болезни, наказывают и так далее. Герои способствуют тому, чтобы души оказались поглощены чувственно воспринимаемыми предметами, и подвигают их на великие и благородные деяния, но в остальном ведут себя как демоны. Космические архонты заботятся о вселенских делах и даруют космические дары и все необходимое для жизни. Материальные архонты всецело принадлежат к царству материи и даруют только земные блага. Наконец, души, когда появляются, способствуют размножению, но их

поведение сильно различается согласно заслугам. Каждый дух появляется в окружении духов следующего уровня — архангелы с ангелами и так далее. Добрые демоны приносят с собой даруемые ими блага; демоны-мстители показывают будущие мучения; дурные демоны являются в сопровождении диких животных. Все духи имеют приличествующие тела, но независимы от них тем более, чем выше стоят на этой лестнице. Если допустить ошибку в обряде, злые духи появятся на месте вызываемых, приняв их форму; жрец может узнать их по надменному бахвальству. Но правильно совершенный ритуал возымеет свое действие, даже если заклинатель — не инициат, «ибо не знание соединяет приносящего жертву с божеством, иначе простые философы только и пользовались бы этой честью». Удивительная непоследовательность — с одной стороны, не важно, кто проводит церемонию, а с другой — звучит требование освободиться от страстей и вообще, как мы уже говорили, всячески подготовить душу; но в этой книге есть и еще большие нестыковки.

Дальше мы узнаем кое-что о внешней технике и необходимых формулах. В противоположность другим ответвлениям неоплатонизма, признающим только бескровные жертвоприношения, здесь — по-видимому, в качестве особого египетского добавления — каждый бог требует себе в жертву животное, над которым он властвует и с которым поэтому имеет мистическое сродство. Находится также применение для камней, растений, благовоний и прочего. Плохие манеры отдельных египетских заклинателей, их грубые угрозы богам чрезвычайно мешают; такое поведение действенно только с некоторыми слабейшими демонами, а халдеи полностью его избегают. Точно так же магическое письмо, которым кое-кто пользуется, в лучшем случае дает лишь неясные и неотчетливые видения и, кроме того, лишает сил заклинателя, который из-за этого может легко попасть во власть злых демонов-обманщиков.

Давайте покинем на мгновение это облако заблуждений и спросим, какова была доля объективной реальности в явлениях призраков; ведь мы здесь сталкиваемся отнюдь не с плодами чистого воображения. Известно, что в XVIII веке для заклинания духов широко применялся волшебный фонарь, изображения на котором отражались в тяжелом дыму курений одурманивающего действия. Нечто подобное происходило и во времена Порфирия. Существует упоминание об искусстве, позволявшем в нужный момент вызывать в воздухе, насыщенном определенными испарениями, образы богов. Ямвлих, или Абаммон, не допускает обмана даже в этом простейшем виде чародейства, все же не полностью лишенном магии; но он утверждает, что жрецы, однажды видевшие богов в их настоящем облике, мало ценят такие призраки, исчезающие, как только растает дым; магия может вызвать лишь внешнюю оболочку, простую тень божества. Но нельзя сомневаться, что обман, тем не менее, практиковался, притом с большим размахом. Мы не будем без должных на то оснований считать чистым мошенничеством способ, когда толковал явление духа и пророчествовал ребенок, так как Апулей, которого мы не можем назвать лжецом, верил в это. Он полагал, что наивной детской душе легче всего перейти в полусознательное состояние (зорогап) с помощью заклинаний и ароматов и что так она может приблизиться к своей истинной — то есть божественной — природе настолько, что сможет предсказывать будущее. Он ссылается на рассказ Варрона о том, что откровение о конце войны с Митридатом жителям города Траллы сообщил мальчик, увидевший в сосуде с водой образ Меркурия (настоящее изображение или только мираж? — puerum in aqua simulacrum Mercurii contemplantem) и описавший будущее в ста шестидесяти стихотворных строках. Но в начале III века святой Ипполит в своем «Опровержении всех ересей» разоблачил множество трюков ловкачей-жрецов. Тут опять в роли несчастной жертвы появляется мальчик, погружаемый в глубокий сон, как делал позднее Калиостро в Митаве, и обращаемый в безумца. Но большей частью над ищущими помощи демона просто насмехались. Они полагали, что пишут вопросы богам невидимыми чернилами, но на деле все это можно было прочесть с помощью химических средств, а значит, и подготовить подходящие ответы. Когда нужно было добиться появления искомого демона, заклинатели полагали, что вопрошателю вполне хватит «размахивания лавром и громких криков» в темном покое. Ему давали понять: нельзя ожидать от божества, что оно зримо обнаружит себя — достаточно и того, что оно присутствует. Затем мальчик сообщал, что сказали демоны, то есть что нашептал ему заклинатель через умело сконструированную трубу. Созданию таинственной картины способствовали шарики благовоний, смешанные или со взрывчатым веществом, или чем-то, дававшим кроваво-красные отблески, а также квасцы, которые, превращаясь в жидкость, производили впечатление, будто угольки на алтаре движутся. Наконец, для особо любопытных всегда был наготове какой-нибудь совершенно непостижимый оракул. Многое из всего этого вплоть до наших дней сохранилось не только в арсенале заклинателей, но и простых фокусников: они умеют красить яйца изнутри, играть с огнем — класть в него руку, проходить через него, выпускать его изо рта. Есть и способы, как на документах, содержание которых хочется прочитать, оставлять печати с виду неповрежденными. Среди всех этих трюков находится место и собственно чародейству. Козлы и бараны по неким загадочным причинам падают мертвыми; ягнята

даже совершают самоубийство. Дом (под воздействием духа некоего морского создания) словно бы вспыхивает. Можно устроить и искусственный гром[1]. На печени жертвенного животного иногда появляются письмена (потому что поддельный текст в отраженном виде был написан на ее левой стороне, на которой печень лежит). Череп, лежащий на земле, произносит предсказание и затем исчезает — потому что он сделан из кожи, натянутой на восковую форму, которая тает по мере того, как оказывают свое действие лежащие неподалеку угли; говорит же — через трубу, изогнутую наподобие журавлиного пищевода, — спрятавшийся помощник колдуна. В помещение не дают проникнуть лунному свету, пока не потушат все прочие огни; затем луч озаряет воду в углублении в полу и отражается в зеркале на потолке. Или же отверстие в потолке закрывают тамбурином, и, когда его убирают, помощник по сигналу дает свет. Еще более простое устройство — лампа в сосуде с узким горлышком, отбрасывающая на потолок круглое зарево. Звездное небо изображали рыбьи чешуйки, наклеенные на потолок; они начинали сверкать, если комнату хотя бы слегка освещали. Теперь мы коснемся действительных явлений богов, к которым заклинатели относились вполне спокойно, так как всецело рассчитывали на страх и послушание вопрошающих. Во мраке безлунной ночи, под открытым небом, маг призывал летящую по воздуху Гекату, а его помощник, как только формула была произнесена, отпускал несчастного птенца сокола, завернутого в горящую паклю; предварительно вопрошателя просили, едва он увидит огненный предмет, со свистом проносящийся в воздухе, закрыть лицо и благоговейно пасть ниц. Однако, например, явления пламенного Асклепия подготавливались более искусно. На стене делалось очень выпуклое изображение Асклепия, высотой, вероятно, в человеческий рост, и покрывалось легковоспламеняющимися материалами; немедленно после произнесения гекзаметра их поджигали, и несколько мгновений все это полыхало ярким пламенем. Показать, наконец, движущихся вокруг живых богов было значительно сложнее и дороже. Единственное решение проблемы заключалось в том, чтобы обустроить помещение над потолком, где прогуливались бы соответствующе одетые люди. Туда верующие смотрели сквозь воду, налитую в углубление в полу; края выемки были из камня, а дно — из стекла.

Таким образом, зачастую явления демонов имели в своей основе не возбуждение и галлюцинации, но объективную действительность. Остается вопрос, существовали ли в то время, помимо шарлатанов, серьезные теурги, пусть вводившие людей в заблуждение, но руководствовавшиеся при этом истовой верой; следующий вопрос — не для них ли Ямвлих (или тот, кто написал упомянутый трактат) предназначал свою работу.

Помимо заклинания духов, автор сообщает нам полезные сведения и о других делах, творящихся в царстве сверхъестественного. Так, что касается посланных богами грез, он говорит, что они приходят не во сне, но что уже наполовину или совсем проснувшийся человек может слышать краткие, шепотом произнесенные слова: «Делай так или эдак»; он чувствует, что вокруг него движутся духи, и иногда видит чистое и спокойное сияние. С другой стороны, пророчества, услышанные в обычных снах, ставились невысоко. Здесь говорится также, что люди, вдохновляемые божеством, живут духовной, а не животной жизнью и поэтому не боятся ни огня, ни игл, ни других пыток. Далее, божественное присутствие может воздействовать только на душу или на отдельные части тела, тогда некоторые люди поют и танцуют, некоторые поднимаются в воздух, парят над землей, кажется, будто они объяты пламенем; все это время слышатся таинственные голоса, иногда отчетливо, а иногда — едва-едва. Значительно ниже уровнем — состояние особого возбуждения, добровольно вызванное с помощью курений, зелий, словесных формул и тому подобного, которое позволяет видеть сокрытое и грядущее в воде, в чистом ночном воздухе или на стенах, покрытых священными знаками. Но весь видимый мир пронизывает столь могучий ток предвестий и предзнаменований — то есть данная мистическая система столь неохотно расставалась с разнообразными народными верованиями, — что будущее можно прочесть в гальке, тростниках, деревьях, колосьях, даже в бормотании безумного. Сверхъестественные силы также управляли полетом птиц, даруя знамения, так что вошедшая в поговорку свобода этих созданий на поверку оказывалась несуществующей. На обычную астрологию смотрели с презрением, как на бесполезный окольный путь, даже как на заблуждение, ибо не созвездия и элементы определяют судьбу, но обстановка во всем мире в момент, когда душа сходит в земную жизнь. Однако это отнюдь не мешало астрологам принимать данную философскую систему, что мы видим на примере Фирмика Матерна. Мимоходом следует отметить одну характерную черту, выдающую не греческое, а вполне варварское происхождение этого магического учения, а именно добрый прием, какой в нем встречает абракадабра чужеземных, в частности восточных, заклинаний. Их мы узнаем, впрочем, не из Ямв-лиха, а из других источников, и многие эти формулы перекочевали в

---

[1] К несчастью, руководство по устройству землетрясений в рукописи сохранилось не полностью. *(Примеч. авт.)*

оккультную литературу, имеющую хождение и по сей день. Иностранные имена считаются предпочтительнее не только потому, что они древнее, или потому, что они непереводимы, но поскольку они обладают «великой силой», то есть звучат впечатляюще и значительно. Новейшие жалобы на бессилие заклинаний объясняются единственно тем, что из-за страсти греков к новизне изменились почтенные древние ритуалы. «Одни только варвары действуют серьезно и сохраняют формулы молитв, и потому боги любят их и слушают их».

Хотя этот безвкусный набор идей целиком, вероятно, принимали лишь немногие, он все же, так или иначе, гос- подствовал во всей философии IV века, и ни один образованный язычник не избежал его влияния. В жизнеописаниях самих философов в изложении Евнапия суеверие прямо-таки выползает из всех щелей, как серый туман. Например, сам Ямвлих оставляет своих учеников в убеждении, что, молясь, он парит в воздухе на высоте десяти локтей над землей и приобретает златовидную красоту. Среди теплых купаний Гадары в Сирии он вызвал из двух источников духов Эроса и Антэроса. Они предстали в обличье мальчиков — один с золотыми, другой с блестящими черными волосами — перед пораженными учениками и спутниками мага и жались к Ямвлиху, пока он не вернул их обратно в источники. Его ученик Эдесий, забывший гекзаметр, который бог продекламировал для него в видении, пробудившись, обнаружил стих написанным на своей левой руке, и поэтому преклонился перед этой рукой. Женщину-философа Сосибию из Эфеса с детства воспитывали два демона, некогда нанявшиеся к ее отцу под видом полевых работников; вся ее последующая жизнь также оказалась связана с волшебством и ворожбой. О прочих историях, зачастую весьма красочных, мы здесь упоминать не будем. Ясно, что философы никак не могли прийти к согласию, как в жизни, так и в учении. В самой школе неоплатоников мы рано находим пример черной магии, которую александриец Олимпий пытается применить против великого Плотина. Заклинатель вызывает Аполлона в присутствии Ямвлиха и других лиц, но Ямвлих утверждает, что видение — всего-навсего призрак (е!сг«г1оп) недавно погибшего гладиатора. Что бы человек ни совершил, всегда найдется тот, кто скажет, будто это пустяк. Философ Максим даже заставил, в присутствии многих, улыбнуться статую в храме Гекаты в Эфесе и зажечься факелы у нее в руках; но кариец Евсевий полагает, что в этом нет ничего особенного. В позднейшие времена, когда язычеству понадобились все его силы, количество подобных разногласий уменьшилось. Тогда и возникла та великолепная хаотическая смесь философии, магии и мистерий, которая и сообщает эпохе Юлиана ее неповторимый облик. Чем сильнее при Константине вынуждали теургию уйти в подполье, тем неудержимей была ее власть в тот короткий период, (когда она захватила в плен своих обманов юного наследника, за все свои заслуги обреченного на несчастья. Учитель его Эдесий сказал ему: «Посвященный в мистерии, ты устыдишься того, что рожден и называешься человеком». Поистине удивительно, что Юлиан, будучи настолько погружен в мир духов, мог превратиться в столь мудрого правителя и воина. В эти поздние времена изящный Канон на побережье Египта стал чем-то вроде центра изучения магических искусств, «источником демонической деятельности». Количество паломников было невероятное, особенно с тех пор, как там поселился один из сыновей Сосипатры, Антонин; сам он не занимался теургией, но пользовался безмерным уважением как прорицатель и аскет. Все по суше или по морю приходившие в Каноп, дабы исполнить свой религиозный долг, навещали Антонина и выслушивали его пророчества. «Храмы эти, — часто скорбел он, — превратятся в гробницы» — и так действительно случилось, когда они превратились в монастыри, и там появились мощи мучеников.

Все это дало интересный двойной результат. С одной стороны, неоплатонизм требовал нравственного преображения и самоотречения; с другой — ничто не могло вернее уничтожить остатки истинно языческих морали и благочестия, нежели этот акт заклинания духов, доступный лишь для посвященных, высокомерно отрицающий права больших множеств, чью веру в старых богов и героев он смущал. Одно время мифы отвергали или толковали аллегорически, богов называли демонами, и даже героев при необходимости ухитрялись вписать в систему. Когда при Константине обшарили огромное количество храмов и отправили на переплавку золотые и серебряные части составных идолов, многие язычники поразились тому, что ни демона, ни пророка, ни даже шепчущего призрака не обнаружилось ни в глубинах храмов, ни внутри самих статуй. Люди научились отделять прекрасную рукотворную форму бога от его демонической природы. Особого упоминания заслуживает культ Ахилла в своем демоническом аспекте, усилившемся после III столетия. Ахилл является обитателям Троянской равнины уже не как идеал героической красоты, но как наводящее ужас видение.

Так перед нами вырисовывается судьба позднеязычес-кого монотеизма. Конечно, чистые души и проницательные мыслители, пришедшие к пониманию единства Бога в духе ранних и лучших времен, еще продолжали существовать. Но слишком часто вере этой вредили демонические добавления. О язычестве, например, Аммиана Марцеллина не так легко судить, ибо он был одним из

благороднейших людей IV века и насквозь видел колдунов от философии при дворе своего героя Юлиана; но как ограничен его монотеизм! Боги у него продолжали оставаться если не демонами, то, в сущности, олицетворениями качеств. Немезида — верховное право божества в действии, при этом она именуется дочерью Юстиции. Фемида — извечный закон, но как личность она начальствует над авгурами. Меркурий зовется mundis velocior sensus, что приблизительно значит «движущий принцип вселенной». Наконец, Фортуна продолжает управлять человеческой судьбой. У этих поздних язычников верховное божество передало свое основное свойство, а именно личностность, меньшим богам и демонам, в честь которых теперь проводились обряды. Может быть, это верховное существо лучше всего сохранило собственное лицо у солнцепоклонников, которые всех богов производили от солнца и служили ему как материальному и духовному принципу бытия. Константин, по крайней мере внешне, похоже, склонялся к такой вере, пусть даже и избрал для нее форму культа Митры; об этом еще пойдет речь. Отцу его, Констанцию Хлору, старательно приписывают поклонение единому истинному Богу — если только Евсевий опять не возводит обычную митраистскую религию на уровень чистого монотеизма. В этот период смешения религий в язычество и парсизм вполне могли проникнуть элементы иудаизма, как, например, в случае с каппадокийскими гипсистариями (что означает — служители Высочайшего Бога) в начале IV столетия. Они были истинными монотеистами, но влияние их распространялось лишь на данную провинцию, и поэтому подробнее говорить о них здесь нужды нет. Наконец, кое-где можно обнаружить приметы совершенно бестолкового монотеизма среди тех, кто всегда умел держать нос по ветру и, когда эдикт Константина о терпимости устранил все границы, стал стараться никого не обижать. Такова молитва одного из панегиристов подобного сорта: «Мы взываем к тебе, Верховный Создатель всего в мире, чьи имена столь же многочисленны, сколь и языки, данные тобою людям, и нам не дано знать, какого имени требуешь ты! Присуща ли тебе божественная сила и разум, разлитые во всем мире, через которые ты существуешь во всех элементах, и ничто вне тебя не влияет на твои действия; или же ты — владыка, пребывающий превыше небес и глядящий на свои труды с высокой башни; мы просим и умоляем тебя — сохрани нашего повелителя вовеки». Видно, что говорящий оставляет право выбора между имманентным и трансцендентным божеством, и, когда он далее присваивает этой неопределенной высшей сущности всемогущество и милосердие, он тут же отказывается от своих слов дерзкой заключительной формулой: «Если ты не дашь заслугам его награды, тогда иссякли или твое могущество, кли твоя благость». Этот галльский оратор, несомненно, лишь один из множества нерешительных и благоразумных людей, желавших увидеть, какое действие возымеет эдикт.

Теперь, рассмотрев философский демонизм и его влияние на языческий монотеизм, мы снова обратимся к тем верованиям и магическим представлениям переходного периода, которые относятся скорее к народным суевериям. Впрочем, как уже указывалось, четкой границы здесь провести невозможно.

Зачастую мы наблюдаем в этой области только развитие уже существовавшего в предыдущий период. Так, например, гаруспики-этруски удержали свои позиции, и, пожалуй, могущество их даже возросло с тех пор, как они едва не вымерли в I веке. При императорском дворе гаруспики пользовались официальным правом советоваться с богами, а также имели значительную частную практику, по крайней мере в Риме. Авгуры в узком смысле устанавливали будущее по внутренностям животных и полету птиц, гадали о воле небес по молниям и даже сами притягивали их, управляли основанием городов и делали многое другое; но с течением времени они объединились с другими чародеями, в частности с астрологами-халдеями, и наши авторы не всегда вполне отличают их от прочих магов.

Оракулы — то есть ответы на вопросы касательно будущего, данные в определенных святых местах, — тоже отнюдь не умолкли, хотя у них и появились грозные соперники в лице странствующих заклинателей. Разнообразнейшие языческие религии империи сходились на том, что есть особые места, где воля богов открывается яснее всего. Поэтому во всех провинциях имелись храмы-оракулы, пророческие источники, священные расщелины, гроты и тому подобное — некоторые восходили ко временам высокой, дорийской античности, — отвечавшие на все возможные вопросы. В этот же перечень следует включить святилища Эскулапа и Сераписа, куда, дабы увидеть целебные сны, зачастую собиралось самое лучшее общество. Но так или иначе, торжественных, общественно значимых, публичных совещаний с богами больше не проводилось. Те, кого интересовали дела государства, сохраняли величайшую секретность и предпочитали обращаться к заклинателям. Однако, если никто уже не советовал Крезу гекзаметрами перейти Галис, все же толпы паломников разных интересов и общественных положений продолжали приносить подношения наиболее почитаемым прорицателям. Павсаний посетили один за другим все греческие оракулы, руководствуясь благочестием и любопытством. О Дельфах у нас имеется ряд скудных заметок, который зато никогда не прерывался надолго и, сойдя на нет в правление Константина, вскоре

возобновился. Вплоть до позднейшего времени встречаются упоминания о греческих и малоазиатских оракулах в Абах, Делосе, Милете, Колофоне и других местах; не следует позволять вводить себя *в* заблуждение христианским авторам, среди которых общепринятым стало утверждение, что после рождения Христа оракулы замолчали. По-видимому, в очень древнем святилище в Додоне это действительно так и случилось. Рим сберег «сивилли-ны книги», считавшиеся высочайшим авторитетом, когда речь шла о судьбе государства, и продолжал время от времени справляться с ними. Однако похоже, что при Аврелиане, во времена варварских вторжений, против того, чтобы советоваться с этими книгами, в сенате выступила целая партия людей просвещенных, или же еретиков. Излюбленным оракулом окрестностей Рима, к которому обращались даже императоры, стал величественный храм Фортуны в Пренесте, взиравший на близлежащие земли со своих высоких террас. Весьма почитаемые храмы в Антии и Тибуре были, так сказать, второго сорта по сравнению с «пренестинскими жребиями». В Верхней Италии теплый источник Апон близ Падуи пользовался широкой славой не только благодаря своей целебной силе, но также и благодаря пророчествам, произносившимся (по крайней мере, в случае с Клавдием Готским) Вергилиевым гекзаметром. Как и во времена Плиния Младшего, исток реки Клитумн близ Сполето, в местности, прелестной и по сей день, конечно, сохранял подобное же сакральное значение. В раннехристианские времена знаки новой религии появились на одном только из многих храмов и часовен, украшавших это место, — видимо, чтобы изгнать пророчествующих демонов.

В Африке карфагенская Небесная богиня продолжала пользоваться огромным почетом благодаря своим прорицаниям вплоть до времен Диоклетиана. Даже Галлию не обошли оракулами; по крайней мере теплые источники при храме Аполлона в Отене могли велеть дать обет или нарушить его.

Что касается оракулов восточной части империи, то у нас имеются отдельные пространные сообщения о храмах Эскулапа в Эгах, сарпедонского Аполлона в Селевкии и Малла — все три находились в Киликии, — как и о храме пафийской Венеры на Кипре, оракуле на горе Кармел и нескольких египетских святилищах. Пожалуй, вообще каждый более-менее крупный азиатский храм претендовал на пророческое знание. До конца IV века идол Баальбека иногда выносили наружу, и, подобно статуе Аполлона в Гиераполе, он указывал направление движения шествия, чему давалось соответствующее истолкование. Обычно же ответы писали или же сообщали с помощью условных знаков. Примечательно усердие, с которым пальмирцы искали у Аполлона в Сарпедоне и Афродиты в Афаке сведений насчет долговечности их королевства.

По понятным причинам читателю нельзя предоставить надежных данных о распространенности таких прорицаний в эпоху Константина. Помимо оракулов, в делах повседневных знание о грядущем получали исходя из наблюдений за совер- шенно посторонними событиями, которым суеверие приписывало угрожающий смысл. Одним из наиболее интеллектуальных изобретений подобного рода стали sortes Vergilianae, когда томик просто открывали наудачу. Во введении уже отмечалось, что Септимий Север был подвержен более грубым предрассудкам, веря не только в знамения, но также в сны, астрологию, магию, аттические мистерии и так далее. С течением времени к поверьям древних римлян присоединились религиозные представления подчиненных народов и жителей Востока. Знаки и предвестия страшили людей и руководили их поступками, и никто не делал ни шагу из дома, не посоветовавшись предварительно с халдейскими или египетскими календарями. Евсевий говорит о Максимине Дазе, что он шага не делал без гаданий и прорицаний.

Но и это еще не все. Отчасти чтобы узнать будущее, отчасти чтобы повлиять на него магическими средствами, римляне в ранней империи часто пользовались отталкивающими методами, обращаясь при этом к тем же халдеям, которые читали грядущее по звездам. Часто итогом становилось преступление, и применявшиеся средства не вызывают сомнений. Когда Германик оказался жертвой смертоносного колдовства, никого не обеспокоило, что, дабы снабдить мага необходимыми частями человеческого тела, совершались, без сомнения, и другие убийства. Но даже когда шла речь не о подлинном чародействе, а только о том, чтобы заглянуть в грядущее или предотвратить несчастье, обряд зачастую ужасал. Наблюдения над человеческими внутренностями не прекращались, пока существовало язычество. Чье-то желание смерти импера- тору Адриану стоило жизни его любимцу Антиною. Разрезание трупов в магических целях, вдыхание в них призрачной жизни, наконец, вызывание духов — все это были весьма употребительные и отнюдь не необычные способы ворожбы, не говоря уже о мелочах вроде лю- бовных зелий. Волшебники, видимо, держали империю в немалом страхе, раз уж видные и высокообразованные люди могли подвергнуться такой опасности.

В чем заключалась связь между подобным чародейством и возникшими в III веке религиозными и нравственными тенденциями в язычестве, а также философией неоплатонизма?

Те составляющие оккультных наук, которые не были прямую преступны или аморальны, продолжали существовать открыто и даже поддерживались властителями; так, например,

благочестивый Александр Север назначил пенсии гаруспикам и астрологам и велел им читать лекции по своим специальностям. От более мрачных ритуалов, например подразумевавших убийство, большинство императоров отказывалось, особенно когда продолжительные войны по-способствовали созданию более здоровой атмосферы при дворе, и Деций одной из целей своей государственной деятельности поставил восстановление старой религии. Даже суеверный Диоклетиан, насколько нам известно, в таких вещах неповинен; но глупость его соправителей поистине достойна сожаления.

Неоплатоники заявляли, что их учение о демонах тесно связано с определенными сторонами обычного колдовства, однако мы, скорее всего, не увидим столь близкого родства между ними. Впрочем, их заклинания духов отчасти действительно восходят к народно-магическим представлениям Востока и Запада.

В-третьих, христиане, чья вера в демонов имела частично иудаистские, частично опять же народные корни, не расходятся в этом с язычниками. У них нет ни малейшего сомнения, что существуют бесчисленные силы-посредники, которые оказывают огромное влияние на жизнь людей, но которых, однако, можно изгнать; такие демоны — или падшие ангелы, или великаны, то есть сыновья ангелов и дочерей человеческих. Но все эти духи злы, они враги Царству Божьему и мешают людям спастись. Многие, как считалось, повинны в природных бедствиях, вроде землетрясений и чумы, равно как и в нравственных преступлениях; на самом деле именно они придумали бессмысленную, извращенную языческую религию и соблазнили ею человеческий род, дабы закрыть ему путь к освобождению. Идеи эти не новы и отчасти заимствованы из иудаизма, но с течением времени очертания их становились все резче. Как свидетель эпохи, наступившей сразу после великого гонения Диоклетиана, выступает Лактанций: «Эти демоны, высшие и земные, знают о будущем многое, но не все; они не ведают об истинном Божьем замысле. Это они приходат по зову чародеев и по их заклинаниям ослепляют фокусами умы, так что человек не видит то, что есть, но верит, будто видит то, чего нет... Они навлекают на людей болезни, грезы, безумие, чтобы ужасом пуще привязать их к себе... Но нам вовсе незачем почитать их из страха, так как они опасны, лишь пока их боятся; они убегают, стоит произнести имя Божие, и праведный сумеет заставить их открыть свои собственные имена... Они обучили людей создавать подобия покойных царей, героев, изобретателей и прочих и поклоняться им, как богам; но за всеми этими личинами скрываются они сами. В самом деле, колдуны, призывая демона, пользуются не его сомнительным именем как бога, а его подлинным, надмирным именем...» Далее, Лактанций признает, что демоны действительно обитают в храмах и совершают чудеса, дабы утвердить несчастных в их ложной вере. Знание будущего, которым они действительно владеют, имея изначально божественную природу, позволяет им иногда возвещать истину через оракулы, и потому люди считают, что демоны и сами могут руководить ходом событий. К тому же периоду относятся рассуждения Арнобия, который полностью признает реальность магии и полагает, что главное различие между Христом и колдунами состоит в том, что Христос совершал чудеса силой своего имени, тогда как последние — с помощью демонов. Он считает, что волшебство Симона Волхва, в частности его огненная колесница, — вещь совершенно обыденная. Но неизвестно, не вызывают ли все заклинатели одного и того же духа, а именно — Сатану.

Чтобы подтвердить могущество веры в магию, этих предварительных замечаний вполне достаточно. Вероятно, даже лучшие люди того времени не были вполне свободны от подобных предрассудков. Рассмотрим предмет подробнее на примерах разных видов колдовства.

Как уже отмечалось, заклинатели-неоплатоники считали вызывание человеческих душ чем-то совершенно особым и отдельным. Такой вид работы с духами часто встречался и вне связи с их мистической системой, и задолго до ее появления, поскольку самые важные сведения всегда ожидали получить от мертвых, и в некоторых древнейших религиозных представлениях покойники прямо именовались *гениями.* В первые два века о подобных «воскрешениях» упоминается достаточно часто, причем нередко с жуткими подробностями; достаточно вспомнить Нерона и Канидию Горация. В III столетии этот ряд открывает Каракалла, который, будучи охвачен безумием, полагал, что его преследуют отец — Север и убитый брат — Гета, с мечами в руках, и поэтому призвал сонм духов в поисках защиты. На зов явились Коммод и сам Север, но последний — в сопровождении непрошеного Геты, и пораженный ужасом заклинатель вместо утешения услышал страшные угрозы. Действительно, ничего подобного о поздних императорах не сообщается, но духов продолжали вызывать, и христианские авторы часто говорят об этом, как об ужасающей реальности; обвинения и запреты на подобную деятельность появляются долгое время спустя после воцарения христианства. Но в позднейший период не всегда можно провести различие между ними и общими обвинениями и запретами на преступление, именовавшееся уепейсшт и подразумевавшее достижение любых недозволенных результатов внешними методами, например составление ядов. Сюда же относились магические приемы, которые, как думали

возчики в цирке, помогали им одержать победу. В Риме продолжали существовать «учителя дьявольских искусств», и, если кто-то не хотел посылать к ним в школу сына, он мог достичь того же результата, направив туда умного раба. Еще в середине IV века мы встречаем упоминание о сардинском рабе, поднаторевшем в «вызывании злых духов и получении предсказаний от душ умерших людей».

Истинный колдун умел ненадолго вернуть трупу жизнь и заставить его говорить. В Греции издревле существовали оракулы, связанные с некромантией, но в рассматриваемый период безоговорочным центром этого мрачного искусства стал Египет, и даже уроженцы других мест произносили заклинания на египетский лад. Во второй книге «Метаморфоз» Апулея обряд черной магии проходит на площади в Лариссе, что в Фессалии, где местных чародеев тоже было немало; тем не менее именно Затклас, египтянин, появляется в одеянии из белого льна, с выбритой головой, и совершает чудо: он кладет на уста и грудь покойника разные травы, поворачивается к восходящему солнцу и шепчет молитву. Другую подобную же историю, рассказанную с апулеевским юмором, но вполне египетскими подробностями, можно найти у Гелиодора. Здесь мать воскрешает своего убитого в сражении сына, и покойник изрекает истину; в первом же случае мы остаемся в неведении, не вдохнул ли волшебник в тело Ложную, иллюзорную жизнь. Автор в лице мудрого жреца Каласирида разочарован в некромантии и, уже по другому поводу, противопоставляет эту низшую форму магии высшей, подлинной египетской мудрости, устремленной к небесам, беседующей с богами и так далее. Но в IV веке бывали и исключения, когда государственная власть начинала видеть в колдовстве не только объект насмешек; возможно, сказывалось влияние благородной доктрины плотиновско-порфириевской школы, сознательно избегавшей магии воздействий. Но что мы должны думать, обнаруживая, что некромантией занимались христианские священники, и не в Средние века, но в IV и V столетиях? Святой Спиридон, епископ Тримифунта, что на Кипре, позднее присутствовавший на соборе в Никее, имел дочь по имени Ирина, и ей один знакомый доверил некий очень ценный предмет. Она умерла, и Спиридон, желая вернуть сокровище и не зная, где оно спрятано, стал звать дочь над ее могилой, пока она не явилась ему и не сообщила необходимые сведения. Рассказчик смягчил эту историю, добавив: «Он молил Бога, чтобы Он прежде времени показал обетованное воскресение»; но фактически это интересное свидетельство устойчивости языческих верований. У нас есть также весьма впечатляющий пример с более серьезной мотивацией, относящийся к последним годам Западной Римской империи. Святой Северин, когда его христианские общины на Дунае находились в отчаянной нужде, вызвал усопшего пресвитера и уговаривал согласиться, если они попросят Бога, чтобы умерший прожил жизнь еще раз. Но мертвый умолял, чтобы его оставили вечно пребывать в мире, и упокоился бездыханным. Коренящаяся здесь психология совершенно иная и действительно христианская по своей сути; но мы не будем углубляться в данный предмет.

Наконец, следует упомянуть об употреблении некоторых частей трупов в магических целях. Чтобы выяснить изначальные формы этого странного заблуждения, нам придется подойти к истокам магии вообще; достаточно сказать, что человеческое мясо и человеческие кости играют определенную роль в самых различных ее областях, от предсказаний и до магических воздействий. Вероятно, сперва вызывали тень того человека, части тела которого были взяты для обряда, но для позднейшего периода эта связь неочевидна. Такие средства начинают применяться везде, и можно составить нескончаемый список подобных примеров, начиная с эллинистического периода и далее. Но один очень важный случай может избавить нас от неприятного путешествия в это царство тьмы. Общеизвестна геродотовская история о сокровище Рампсинита. Может быть, отрубленная рука вора имеет магический смысл; после черепа правая рука всегда ценилась больше всего. Случилось так, что при Константине, опять-таки в Египте, на родине магии, для колдовства использовалась отрезанная рука, и не кем иным, как великим Афанасием из Александрии, которого обвинили, будто он отнял ее у убитого им епископа мелетианской общины в Фивах Арсения в чародейских целях. На синоде в Тире, в присутствии архиепископа империи, противники Афанасия среди египетского духовенства предъявили не только само обвинение, но также и вышеупомянутый corpus delicti[1]; пред очи святых отцов внесли настоящую руку — «сами ли умертвили человека и отсекли ее, или вырыли и отняли ее от мертвеца — ведает Бог да виновники поступка». Афанасий блестяще опровергнул обвинение, представив посреди заседателей живого и здорового Арсения. Но сам факт, что кто-то мог отважиться сделать такое обвинение в такой обстановке, неопровержимо свидетельствует о распространенности и значении этого заблуждения.

Наблюдения над человеческими внутренностями имеют иную традицию. В древности подобный метод был распространен среди разных народов, и объектом выступали преимущественно военнопленные. По сути, это вид гадания, но магия воздействий то ли вошла в его состав, то ли, поскольку народная вера в волшебную силу частей человеческого тела слишком укрепилась, чтобы

[1] Игра слов: «corpus delicti» — «состав преступления», но «corpus» означает одновременно и «труп»

людей удовлетворил простой extispicium[1], наши источники считают применение их в магии воздействий само собой разумеющимся. Живучесть этого кошмара опять же можно убедительно доказать всего на одном примере. В сущности, все правители того времени были чрезвычайно склонны к суевериям, но Максен-ция, сына Максимиана Геркулия, обвиняли в том, что он рассекал беременных женщин и детей, чтобы изучать их внутренности, и втайне вызывал демонов. Хотя история эта взята из Евсевия, чьи представления о язычестве отнюдь не чрезмерно точны и чье стремление к достоверности отнюдь не всегда непреодолимо, тем не менее, памятуя о жестокой и злобной натуре Максенция, нет основания сомневаться в правдивости данного рассказа. Соответственно, мы не сочтем совсем уж недостойным доверия сообщение другого источника, что за два дня перед смертью властитель покинул свой запятнанный кровью дворец и перебрался в частное обиталище, так как духи-мстители не позволяли ему спать во дворце. В III веке, без сомнения, подобные случаи происходили нередко. Но этими двумя видами колдовства область применения человеческих трупов никоим образом не исчерпывается. Схожий результат достигался, к примеру, путем омовения в крови, так как в ней, согласно бытовавшим представлениям, заключается основная жизненная сила. Существовал такого рода рассказ о Марке Аврелии, столь же мрачный, сколь и омерзительный, если полагать его истинным; но даже если это выдумка, она бросает дурной свет на время, когда образованные люди могли верить в подобные вещи.

Исторические требования объективной действительности, когда речь идет об этом мире колдовства, бессмысленны. Язычники, иудеи и христиане были равно убеждены, что духов и души умерших можно вызывать к жизни. Здесь мы имеем дело не с насильственно насаждаемыми свидетельствами, как в случае со средневековым ведьмов-ством, но с сотней ненамеренных, произвольных и, как следствие, весьма отличающихся друг от друга утвержде-ний, сделанных зачастую очень добросовестными и высо-коморальными писателями. В какой степени тут участвовало сознательное мошенничество, в какой — благочестивое надувательство, а в какой — самообман и экстатическое мошенничество, остается загадкой, как и в случае с заклинаниями неоплатоников. Ибо каждый век имеет собственное представление о сверхчувственном внутри и вне человека, и потомство никогда до конца не способно проникнуть в его верования.

Сделанный нами очерк язычества был рассчитан на то, чтобы обрисовать лишь главнейшие направления тогдашних суеверий. Если отдельно разобрать каждую составляющую, если описать все отличные друг от друга концепции божественного мира, если перечислить все культы амулетов и символов — в век, когда многие довольствовались поклонением доброму демону в облике одной-единственной маленькой змейки и не верили больше ни во что, тогда, пожалуй, можно будет хотя бы теоретически доказать существование трехсот сект, известных философу Фемистию.

И с этим «политеистическим безумием» христианство снова вступило в решительную схватку. К счастью, борьба их имела и литературный аспект. Уже неоднократно цитировавшиеся отчеты об угасающем язычестве тех, кто в этот период кризиса защищал христианство прежде всего с позиций разума, Арнобия и Аактанция, имеют для нас высочайшую ценность. Конечно, почву для них подготовили их предшественники, особенно Климент Александрийский, но и сами они привнесли много нового и по-настоящему значимого в историю последнего десятилетия гонений. Весьма со-лидная работа Лактанция, несомненно, являет собой итог глубоких многосторонних исследований. Сочинение Арнобия, составленное на скорую руку, куда выплеснулся тяжелый и жаркий гнев новообращенного, — наиболее непосредственное свидетельство эпохи. Современному читателю уже не помешает их постоянное и страстное непонимание язычества, его происхождения и развития. Теперь он знает, как относиться к эвгемеризму этих христианских авторов, и готов воспринять предлагаемые ими ценные откровения, даже если в чем-то они и будут ошибочны.

Сделав выводы из всего вышесказанного, мы увидим, что распад язычества как таковой не только был весьма полезен христианству, но также что отдельные признаки этого распада несут в себе предвестие христианства и предваряют грядущее сближение. Само по себе смешение богов прекрасно подготовило почву для новой религии. Оно лишило божественное национальности и сделало его вселенским; оно сокрушило гордость греков и римлян, опиравшуюся на их древние культы. Предубеждение в пользу всего восточного, после долгих блужданий в царстве фантазий, также неизбежно послужило к выгоде христианства. Более того, глубинное содержание позднеязыческих верований было прямо аналогично христианству. Цель бытия уже не сводилась к земному существованию с его наслаждениями и неминуемой гибелью в конце, но вышла за его

[1] Рассматривание внутренностей принесенных в жертву существ и гадание по этим внутренностям.

пределы, и венцом существования стало считаться единение с божеством. Одни надеялись обеспечить себе бессмертие путем проведения тайных обрядов; другие хотели проложить дорогу к Богу, углубившись в познание магических тайн. Но новое понятие о сознательной нравственности приняли все; некоторые даже предавались самобичеваниям, у других это представление, даже если и не всегда воплощалось в жизнь, присутствовало в уме по крайней мере как теоретический идеал. Отражением этой тенденции служит факт перевода или переложения философами греческих мифов, которые не сочетались с новым мировоззрением. Гибнущее язычество соприкасалось с монотеизмом, по крайней мере иногда, в прекрасные моменты взлета, пусть тут же вновь запутываясь в сетях демонических суеверий. Едва ли язычники дошли до осознания чувства греха; но предпосылки для появления такого чувства явно присутствуют в учении неоплатоников, рассматривавшем земное рождение души как падение, а ее исход с земли — как некое освобождение.

В конце концов христианство было обречено победить, ибо оно давало несравненно более простые, четко, впечатляюще и убедительно выраженные ответы на все вопросы, найти решение которых так жаждал этот век брожений и перемен.

Глава 7
СТАРЕНИЕ В ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЕ АНТИЧНОСТИ

Если кризис античности и проявляется где-то особенно ясно, то именно в тех сумерках язычества, которые мы в предыдущей главе стремились представить в их подлинных красках. Возникает вопрос: христианство не могло вдохнуть новые жизненные силы в народы и новую мощь — в государство, или оно не хотело опровергать расхожее мнение, бытовавшее начиная с III века, что после возникновения новой религии человеческая раса оказалась обречена? Ибо язычники упорствовали в убеждении, что с приходом христианства боги прекратили руководить человеческими судьбами и удалились (exterminatos) из несчастного мира, где властвовали теперь чума, война, голод, засуха, саранча, град и тому подобное, а империю со всех сторон атаковали варвары. Христианским апологетам пришлось обстоятельно опровергать эти обвинения. «Как мало способствует уважению к вашим языческим богам такая их детская раздражительность! — говорили они. — Почему они не даруют вам здоровье и счастье и не покарают только нас, христиан? Природа не изменилась; солнце и луна светят как раньше, поля зеленеют, деревья цветут, масло и вино выжимаются, и мирная жизнь идет своим чередом. Со времен ассирийского царя Нина войны были всегда, и с приходом Христа число их фактически сократилось. Неоспоримое зло, наблюдаемое в настоящем, — часть естественного мирового процесса, согласно которому все стремится к обновлению (гешт тпоуайо)».

Но надежда на обновление, как его понимал этот автор, была тщетной. Давайте на мгновение забудем об односторонности христианства, свойственной ему с момента превращения в государственную религию, о том, что оживление империи в цели его не входило. Действительно огромное преимущество религии, чье царство не от мира сего, состояло в том, что она не ставила своей задачей обеспечение и сохранность какого-то определенного общественного строя и определенной культуры, как поступало язычество, что она могла и служить соединительным звеном между разными народами и эпохами, государствами и культурными этапа- ми, и примирять их между собой. Потому христианство не подарило вторую молодость дряхлеющей Римской империи, но зато воспитало германских захватчиков, и они не окончательно растоптали ее культуру. Спустя полтора века, когда на Каталаунских полях решалось, накинут ли гунны саван на Запад, как позднее на Азию его накинули монголы, это воспитание принесло свои плоды: римляне и вестготы объединились, чтобы отразить нападение.

Вся история этого периода несет на себе красноречивый отпечаток упадка и вырождения, в чем христианство неповинно, и каждая страница настоящей работы изобилует такими свидетельствами. Но в данной главе мы сочли уместным описать старение античности в совокупности его проявлений. Это поможет нам прояснить историческую позицию христианства.

Жалобы на тяжелые времена слышались во все века, от которых осталось литературное наследие. Но для императорского периода мысль об упадке настолько естественна, что сомнений не возникает. Ощущение, что все теперешнее ничтожно в сравнении *с* якобы блистательным прошлым, растет пропорционально огромному пространственному расширению империи и ее влияния; даже те, кто принижает величие прежних дней, делают это затем, чтобы окончательно обесславить современность. Когда Сенека, полемизируя с общепринятыми историческими представлениями, называет Филиппа и Александра Македонских разбойниками, то прибавляет: «Но мы считаем их великими, потому что сами мы слишком малы». Еще более веское, хотя и молчаливое свидетельство

предоставляет тот факт, что все философы и ораторы — а также поэты, когда не занимались попрошайничеством, — словом, вся независимая литература II, III и IV столетий никогда не упоминает о явлениях и людях, относящихся ко времени после конца Римской республики, если, конечно, это не произведения на заказ. Кажется, будто на последующий период наложен запрет. Для школьных упражнений греческие софисты предпочитают выбирать темы из благоуханного периода эллинизма, из войн с персами, Пелопоннесской войны и иногда из жизни Александра Великого. Они изображают Ксенофонта, предлагающего умереть вместо Сократа, или Солона, выступающего против Писистрата за отмену законов, или Демосфена, уговаривающего афинян бежать морем, или другое в подобном же роде. Дион Хрисостом (живший при Траяне), когда в одном месте говорит о событиях имперского периода, «современных и позорных», чувствует необходимость произнести целую речь в свою защиту; он полагает, что оппонент сочтет его болтуном, раз Дион не следует общепринятому обычаю и не рассуждает о Кире или Алкивиаде. В декламациях, приписываемых Квинтиллиану, обычно разбирается ситуация из далекого прошлого или вымышленный случай согласно какому-нибудь общему закону. Проще всего предположить, что правительство неблагосклонно относилось к рассуждениям на современную тему и могло даже преследовать автора за такую дерзость, но это ошибка. Надзор за литературой и философским школами не был в обычае римских властителей, вовсе в общем-то не стремившихся распоряжаться культурной жизнью страны. Предосудительными мы бы как раз сочли излюбленные в тогдашней ораторской практике темы. В домициановском Риме Ювенал жалуется на невыносимую скуку оратора, в сотый раз слушающего про то, как «его класс наконец уничтожил тиранов». Истории Брута, а также Гармодия и Аристогитона навязли у всех в зубах, а интереснейшие события императорского периода, вполне достойные панегирика, как, например, иудейская война, деяния Траяна, правление Антонинов, независимые авторы никогда даже не упоминали и предоставили говорить о них официальным восхвалителям. И не только ораторы, но и латинские и греческие компиляторы, те, которых иногда бездумно определяют как грамматистов, неохотно касаются периода после конца республики. Авл Геллий, например, только когда говорит о современном ему образовании и собственных своих штудиях. В «Historiae Variae» Элиана об империи, в сущности, нет ничего. Алкифрон относит свои «Письма» ко временам ранней Македонии. Афиней в своей огромной энциклопедии античных наслаждений намеренно избегает имперского периода. Даже спустя двести лет у Макробия в его «Сатурналиях», помимо короткого случайного упоминания о Траяне, самой современной частью работы остается собрание анекдотов об Августе и его остроумных высказываний. Профессиональные филологи, лучше знакомые с литературой тех времен, нежели автор, смогут подтвердить эти наблюдения на более широком материале.

Но вот эпоха, отвергаемая и презираемая современниками как незначащая и ничтожная в сравнении с прошлым, благодаря новой религии внезапно обретает новый смысл. И долго копившая силы христианская литература неожиданно выплеснулась неудержимым потоком в обмелевшее русло века и вскоре превзошла объемом все, что сохранилось от мира языческих авторов.

И все же Рим как центр и идеал мирового господства еще полагали вечным; Roma aeterna — утешение, постоянно встречающееся на памятниках и монетах, особенно во второй половине III столетия. Христианам, поскольку они понимали и ненавидели Рим как олицетворение всего языческого, как Вавилон «Откровения», понятие это казалось лишенным смысла. Они считали, что Рим, как открыто заявляет Арнобий, — «город, созданный во имя извращения рода человеческого, ради власти которого целый мир был незаслуженно порабощен». Поистине, только африканец мог высказать подобные чувства; даже в языческие времена существовала разница между Римом и империей в целом, и молитвы, возносимые за благополучие Вечного города, подразумевали языческих императоров и армии. И позднее, при христианских императорах, мысль о мировом господстве Рима не утратила своей актуальности. Пруденций считает это высшей исторической заслугой Провидения: «Вот, весь смертный род попал под власть Ромула, смешались самые различные обычаи жизни и мысли; так было предопределено, что величие имени христианина единой связью обнимет весь мир». Но самое трогательное высказывание по данному поводу — это стихотворение язычника Клавдия Рутилия Нумациана (около 417 г.), который утешал Рим, клонящийся к земле, как скорбящая мать, и черпал надежду на вечную жизнь города из воспоминаний о его прошлом великолепии.

Нельзя установить путем простых умозаключений, насколько внутреннее и внешнее положение государства оправдывало такие надежды. Структура власти, подобная римской, могла, невзирая на нарастающее окаменение, просуществовать очень долго, о чем свидетельствует пример Византийской империи. Если бы город Рим было столь же трудно взять и столь же легко

защищать, как позднее Константинополь, Западная Римская империя, весьма вероятно, продержалась бы значительно дольше, и выстоявшая столица вновь и вновь отвоевывала бы утраченные провинции. Государство так же помогает выжить народу, как и народ — государству. Поэтому старение не обязательно означает невозможность жизни, но лишь постепенное иссякание тех источников сил, которые некогда придали нации духовный и физический отпечаток благородства.

Начать следует с самой природы. Жителям Римской империи казалось, будто реки стали течь медленней и горы утратили высоту; Этна уже не так далеко видна с моря, как раньше, и то же произошло с Парнасом и Олимпом. Усердные исследователи естественной истории придерживались мнения, что вся вселенная близится к гибели.

Что касается физического облика римлян, то вырождение, по крайней мере среди высших сословий, представляется здесь очевидным. Мы судим не только по высказываниям писателей — нечто подобное звучало и раньше, — но по бесчисленным памятникам изобразительного искусства, по их чертам, которые нельзя приписать недостатку мастерства художника. Большинство статуй данного периода носят отпечаток или истинного безобразия, или изображают людей болезненных и некрасивых, обрюзгших или исхудалых. Гробницы, монеты, мозаики, столики для посуды — все подтверждает это впечатление. Конечно, соправителей и непосредственных преемников Диоклетиана с их отталкивающими чертами, поскольку они иллирийцы, не следует считать средними представителями народа. Константин, чей внешний облик прекрасно известен по статуям и монетам, выглядит крепко и правильно сложенным, но в выражении его лица есть нечто лукавое; однако панегиристы и церковные авторы в один голос восхваляют его красоту. Это не простая лесть, но доказательство снижения стандарта. На лицах его сыновей появляется принципиально новое, с этих пор весьма частое, выражение — можно назвать его «жреческим» в отрицательном смысле. У Константина II голова не слишком изящной формы — круглая, как у отца; у Константа и Констанция головы, пожалуй, излишне вытянуты. Но наглядней, чем эти иллирийские физиономии и даже, может, чем портреты вообще, о вырождении человеческого типа свидетельствуют идеалистические, обобщающие изображения того времени. Арка Константина близ Колоссеума строилась, конечно, на скорую руку, что вполне объясняет грубость пластики, но не безобразие фигур в целом и не бессмысленность их лиц. Бывают, конечно, периоды, когда искусство ищет в своем предмете не столько прекрасное, сколько характерное, и зачастую делает его безобразным, даже если натура в этом и неповинна. Но не в данном случае; здесь, скорее, проявляется неспособность художника воспроизвести даже примерно классический идеал красоты, когда в окружающем мире нет никаких точек соприкосновения с этим идеалом. В V веке то же явление обширно иллюстрируют мозаики. Следует заметить, что тогда искусство еще не изображало святых мрачными и изнуренными своим подвигом аскетизма, как позднее делали создатели византийских мозаик; тела персонажей не иссушены мукой, но лица всегда уродливы, с неправильными чертами. Даже превосходные работы, которые во всех прочих отношениях, в передаче складок одежды, движения, со стороны композиции и так далее, совершенны настолько, насколько можно ожидать в век Феодосия, — как, например, Двенадцать апостолов в православном баптистерии в Равенне — не представляют собой исключения в этом плане.

Тип телосложения жителей империи всегда очень сильно различался по отдельным областям и во многом зависел от степени благоденствия этих областей; уроженцев некоторых провинций нам легче представить здоровыми и крепкими, а некоторых — наоборот, худыми. Но средний уровень, судя по произведениям классического искусства, в то время представляют италийцы. Когда и при каких обстоятельствах их внешний облик и, по-видимому, облик всех обитателей империи изменился к худшему?

За ответом не надо далеко ходить. Две жесточайшие эпидемии чумы, при Марке Аврелии (167 г.) и при Галле (252 г.), нанесли невосполнимый ущерб населению империи. Сказано, что последняя эпидемия длилась пятнадцать лет, не пощадила ни одного уголка империи и многие города опустошила целиком. Если добавить к этому непрекращающиеся войны — внутренние, за престол, и внешние, с варварами, — и, как неизбежное следствие, полное небрежение сельского хозяйства, можно заключить, что к разрушительному действию болезни добавлялся еще и голод. Высшие сословия тоже оказались подвержены тревогам и несчастьям. Варварские поселения завершили задачу преобразования имперского физического типа и, пожалуй, скорее улучшили его.

В такую годину бедствий древняя раса вымирает не только в прямом смысле: гибнут также старые традиции и обычаи, утрачивается собственно народное мировоззрение, снимаются духовные задачи. Но это не обязательно подразумевает упадок морали; напротив, во второй половине III века явно наблюдается нравственный подъем. Даже на императорском троне в этой сфере мы отмечаем заметное улучшение (см. гл. 1). Век Каракаллы и Максиминов прошел, и Карин пал, потому что в его десятилетие действовали уже другие нормы. Что касается позднейших так называемых

чудовищ, например Максенция, то его излишества и злодеяния — ничто в сравнении с преступлениями предыдущих властителей. Число членов «полиции нравов», похоже, возросло, и поведение людей становилось все более моральным. Даже Диоклетиан обеспокоился тем, чтобы упорядочить брачные отношения, в то время страшно запутанные, и принять меры против заключения браков среди домашних и между близкими родственниками. Количество громких скандалов заметно сократилось. Жизнь Константина была чиста от подобных несообразностей, о чем однозначно свидетельствует молчание враждебных историков. Правительство все больше стремилось придерживаться гуманных средств и осознало заботу о подданных своим долгом; однако нужда в жестоких методах не исчезла, и иногда оказывалось, что, стараясь сделать как лучше, власти перестарались, например утвердив максимум цен на продукты и установив варварские наказания за преступления. Мы уже указывали на проявления этого нравственного подъема в поздней языческой религии и в аскетических идеалах философов, но здесь мы рассмотрим предмет под новым углом. Пожалуй, изменения в сторону уравновешенности и умеренности суть как раз признаки старения; тем меньше следует ждать, что они принесли бы обновление усталому миру.

Теперь, констатировав вырождение физического типа людей, продолжим исследовать то, что их окружало, и прежде всего поговорим об одежде. Здесь пластическое искусство не запечатлевало современность, оно изображало облачения давно ушедших эпох расцвета, сами по себе идеализированные. Даже, например, участники Панафинейской процессии на Парфеноне одеты не в подлинные афинские костюмы времен Фидия, но лишь изящно упрощенные части этих костюмов. Когда мы видим на римских статуях времен Константина тогу и тунику или же хламиду, не следует делать вывод, что так выглядела повседневная одежда. Здесь скорее следует доверять письменным памятникам, а они рассказывают о сложных и перегруженных нарядах, которые можно было бы назвать римским рококо, если позволить себе использовать это крайне неточное выражение.

Дабы не переписывать раздел из дошедших до нас историй костюма, ограничимся несколькими замечаниями. Принадлежащее Арборию, дяде Авзония, стихотворение первой половины IV века, обращенное «к нимфе, излишне наряженной», дает нам описание галльской девушки. Волосы ее со вплетенными лентами убраны в большой пучок (in multiplicem orbem), увенчанный шапочкой из золотой ткани. Воротник ее, кажется, красный, возможно, коралловый. Платье у нее с низким вырезом, оно зашнуровано на груди. Узкие платья, а в особенности узкие рукава, встречаются все чаще. Сложные прически, наподобие вышеописанной, изобретались на протяжении столетий, и на некоторых мраморных бюстах их делали съемными, чтобы поспевать за модой. Еще до Арбория Арнобий жалуется на дамский обычай закрывать лоб повязкой, по-видимому из золотой парчи, и на привычку завивать волосы как мужчина. Особенно безвкусен был макияж, придававший лицу не только новый цвет, но также и новую форму. Красный и белый накладывались так густо, что женщины выглядели «как идолы», и каждая слеза, пробежавшая по щеке, оставляла за собой бороздку. По крайней мере, за это насмехается над ними святой Иероним, который в свое время должен был неплохо разбираться в предмете. Главная перемена, которую предположительно можно отнести именно к этому периоду, — использование узорчатых и расцвеченных тканей вместо однотонной, единственно приличествующей человеку одежды, ибо только она не мешает наблюдать собрания людей, а также очертания тела, позы и движения. От иностранных послов Константин принял в дар «варварские наряды, украшенные золотом и цветами». Вскоре за тем подобные же наряды стали обычной торжественной одеждой, судя по церковным мозаикам, а еще через недолгое время на ризах и алтарных покровах начали вышивать целые повести. Римская мода откровенно предпочитала все чужеземное и варварское просто потому, что оно было дорого и труднодоступно. При Феодосии Великом знаменитый Симмах счел нужным отказаться от изумительной иностранной кареты, которая, как полагал император, сообщила бы больше величия выездам префекта города.

Но варваризация охватила не только костюмы. Возвышение германских, а также готских и франкских офицеров в армии и при дворе, кроме того, влияние восточного этикета и манеры поведения постепенно придали всем внешним проявлениям жизни не римский отпечаток. Совершенно новая традиция возникла с разделением общества согласно должностям и общественному положению; ничто не было более чуждо понятию гражданства, с колыбели близкому античности. Также и христианство, в огне которого сгинули столь многие составляющие античной культуры, косвенно способствовало варваризации, как покажет очерк литературы и искусства этого периода.

Искусство в высшем смысле этого слова было некогда роздухом для греков. Ни один другой народ никогда не решался датировать свои хроники по развитию прекрасного, по поэтам и художникам, как, например, это сделано в хронике на Парийском мраморе. Победоносный поход

Александра и его преемников распространил греческие художественные образцы на всем Востоке, и древние формы искусства восточных народов стали погибать; эта участь не постигла только египетские здания и статуи — вспомним Александрию.

Римляне тоже охотно приобретали себе произведения греков, не только ради роскоши, но ради удовлетворения тяги к прекрасному, присущей им, но сдерживаемой делами военными и политикой. Огромная заслуга эллинов состоит в том, что они придали благородство величию римского духа и римской нации, зачастую пожертвовав при этом собственными прирожденными чертами. А затем, повинуясь праву победителя, весь Запад принял это романизованное искусство и усвоил его так же, как и латынь. Оно отвечало и реальным нуждам — там, где на Западе сохранились поселения италийского происхождения.

Но и среди греков в пору римского господства искусство неминуемо должно было утратить прежнее положение. Очернение прекрасного уже не считалось таким кощунством, как тогда, когда поэт Стесихор ослеп, приблизившись к Елене, олицетворению прелести. Лукиан, не щадивший ни богов, ни людей, теперь позволял себе насмехаться и над древними идеалами красоты, хотя в прочих случаях наличие у него художественного вкуса документально засвидетельствовано. Великолепный цикл «Разговоры в царстве мертвых», где он отпускает вожжи своей язвительности, скрываясь под маской циника Мениппа, содержит сцену, в которой Гермес в подземном мире показывает Мениппу скелеты знаменитых красавцев и красавиц древности — Нарцисса, Нирея и прочих. «Я вижу одни только кости да черепа без тела; покажи мне Елену». — «Вот этот череп и есть Елена». — «Значит, из-за этого черепа целая тысяча кораблей была наполнена воинами со всей Эллады, из-за него пало столько эллинов и варваров и столько городов было разрушено?» На что Гермес отвечает: «Менипп, ты не видел этой женщины живой!» Тем не менее, хотя раннюю империю тогдашние эстеты вроде Петрония и Плиния Старшего порицали, не без доли справедливости, как эпоху упадка искусства, но, по крайней мере, в Италии стремление к художественности окружения продолжало оставаться невероятно сильным. Только в Помпеях, по словам Гете, «целый народ проявлял такую охоту до произведений искусства и картин, о какой теперешний страстный любитель не имеет ни представления, ни понятия, в коей не имеет и потребности».

Если мы подойдем с меркой Помпеи к тогдашнему Риму, картина будет ошеломительная.

Но в III веке искусство сталкивается со страшным материальным врагом — империю опустошают чума, войны и нищета. Однако факт, что императоры, особенно после Аврелиана, опять принимают участие в крупномасштабном строительстве и, разумеется, оказывают соразмерную поддержку и прочим искусствам, предполагает, что равновесие восстановилось и не оказывало на богатых и процветающих чрезмерного, сопряженного со многими утратами, давления.

Если допустить, что природа всегда наделяет людей достаточным количеством таланта — в чем нельзя сомневаться, каков бы ни был упадок, — встает вопрос: откуда взялись ложные дороги, на которых сгинули эти таланты? Откуда, далее, взялась серая безликость, смертным саваном накрывшая почти все искусство III—IV веков?

Приблизительно с середины II столетия художественные произведения, до того многочисленные, исчезают или оказываются простым подражанием, и с этих пор обеднение содержания и перегружение формы идут рука об руку.

Глубочайшие причины этого явления мы, вероятно, никогда не сможем ни понять, ни выразить словами. Если развитая греческая система изображения просуществовала шестьсот лет, несмотря на все превратности истории, и даже дала новые ветви, почему она утрачивает свою созидательную силу именно начиная с века Антонинов? Почему ей не удается продержаться до IV столетия? Априорный ответ можно дать, исходя из характеристики философии периода, но благоразумнее не пытаться определять срок, отпущенный духовной силе такого масштаба.

Второстепенные причины данного явления очевидны: изменились материал, цели и предмет искусства, или, косвенно, изменилось мировоззрение заказчиков. Сперва рассмотрим судьбу архитектуры. Тут ключом к тайне всеобщего упадка служит столица. Рим всегда располагал удобным и прочным материалом для монументальных построек — а именно известковым туфом и травертином. Но когда, уже после Августа, римляне захотели каррарского и африканского мрамора из-за его пластичности и невероятной красоты, то быстро привыкли к тому, что кирпичная кладка и мрамор, который ее покрывает, — это две совершенно разные вещи. Последняя, естественно, стала рассматриваться как облицовка, которую можно сменить по желанию, как простое украшение. Опять же, белый мрамор всегда вынуждал художника стараться придать форме предельное совершенство. Но когда самые дорогие и редкие материалы стали предметом повального увлечения, когда весь Восток и всю Африку перерыли в поисках драгоценного строительного камня, порфира, яшмы, агата и разноцветных мраморов, когда все границы разумного перешло использование позолоты, тогда

искусству и художнику оставалось только умыть руки. Внимание привлекали материал и цвет; всяческие профили и декоративные элементы оказались в небрежении. Кроме того, чрезвычайная твердость многих этих пород сковывала свободу резца. При таких условиях те, кто добывал и шлифовал камень, играли более важную роль, нежели автор чертежа. И там, где раньше применялся белый мрамор или другой простой материал, теперь стремились нагромоздить как можно больше украшающих деталей; вкус, ценивший простоту, испортился. Невзирая на их множество, обычно создается впечатление банальности и хаотичности, поскольку это внешнее архитектурное богатство, взятое за руководящий принцип, скоро превосходит всякую меру и используется также в тех элементах постройки, функция которых не позволяет им излишних украшений. Здесь незачем перечислять такого рода здания; общеизвестны, например, Пальмирский храм и дворец Диоклетиана в Салонах. Кроме тех случаев, когда план и пропорции этих зданий навеяны предыдущим периодом, они явно свидетельствуют об упадке, и этого не исправляет даже очарование перспективы, которое присутствует в постройках нынешнего вырождающегося стиля; вспомним Бернини. Бернини умеет управлять вниманием зрителя; здесь же — сплошной беспорядок и хаос. Бернини презирает деталь и заботится об общем впечатлении; здесь каждая завитушка претендует на особую значимость.

Такое роскошество неизбежно вело к утрате изящных форм, а новые тенденции содействовали окончательному исчезновению архитектурной структуры, унаследованной от греков. Возникло стремление строить большие внутренние помещения, предпочтительно сводчатые. В лучшие времена имперского зодчества с помощью цилиндрических и крестовых сводов колонны и антаблемент так присоединялись к куполу, что словно огибали его, как нечто отдельное — например в банях. Но интерес к такому эффекту не мог продержаться долго, особенно после того, как в эпоху христианства, с одной стороны, возросла нужда в разного рода купольных постройках, и с другой — требование высоты и величественности подавило все прочие соображения. В христианской базилике — это первый пример здания, где внутренние помещения видны исключительно в перспективе, — ряды колонн непосредственно поддерживают своды и тяжелые несущие стены. Купольная церковь с галереями наверху и внизу или с приделами вокруг совершенно уничтожила само понятие антаблемента, и колонны в ней использовались исключительно ради создания гармонического впечатления. Только в позднем Средневековье христианская архитектура наконец сменила античные формы, которые копировала все менее осознанно, пока они не стали едва узнаваемы, на одеяние, более соответствующее ее духу.

Наконец, христианских зодчих, к их несчастью, всегда обязывали уподоблять свои творения самой Церкви. То есть вся конструкция и каждый камень в ней долженствовали символизировать ее могущество и ее победу; отсюда такое множество сложных украшений и человеческих изображений, как внутри, так и на фасадах. Щедрое применение мозаики, которая помогала покрыть все поверхности библейскими образами и историями, исполненными в живых и ярких красках смальты, лишало архитектора возможности придавать постройке действительно изящные очертания; антаблемент и консоли естественно превратились в ложные полоски или вообще стали намечаться в мозаике.

Тем не менее зодчие не утратили любви к великолепной оригинальной отделке внутренних помещений и не перестали ценить совершенство исполнения. Последнее сохранило для нас творения нескольких художников византийского периода, сумевших подняться над той безликостью, о которой шла речь выше.

Те же (или схожие) причины, которые привели к упадку архитектуры, повлияли и на развитие пластических искусств и живописи, но тут действовали и другие обстоятельства. И здесь богатство материала сыграло свою отрицательную роль. Обычай создания статуй из трех или четырех видов камня, зачастую очень твердого, не говоря о тех, где применялось золото и серебро, в конечном счете неблагоприятно сказался на художественном стиле, так как стиль, дабы существовать, требует единства. Так, весьма посредственны с этой точки зрения гигантские порфировые саркофаги Елены и Констанции (матери и дочери Константина) в Ватикане — на одном из них изображены упражнения наездников, на другом — гении, приготовляющие вино. Известно, что простая реставрация первого из этих саркофагов при Пие IV потребовала девятилетнего труда двадцати пяти человек, из чего можно заключить, сколько заняло его изготовление. Не стоит даже поднимать вопрос, имел ли отношение художник к этим произведениям; был задан образец, и дальше для его осуществления требовался лишь труд рабов. Точно так же живописи вредила мозаика. Пока ею отделывают только мостовые, это можно счесть проявлением чрезмерной любви к искусству, которая не может не украсить ни одну видимую глазу поверхность — хотя есть нечто варварское в попирании ногами, например, так называемой «Битвы Александра» в Помпе-ях. Но при Плинии мозаика перебралась на стены и потолки. Это было осмысленно в банях, где обычным картинам угрожала сырость; но в других постройках мозаика без

нужды помешала живописцу самому создавать свое творение, да и вообще лишила автора творческого запала, так как зритель прежде всего думал о стоимости работы и тонкости ее исполнения, потом о предмете изображения, а уж в последнюю очередь, если до этого вообще доходило, он обращал внимание на художественную сторону. С приходом христианства мозаика становится основным способом украшения стен и сводов церкви — когда это позволяют средства ее строителей.

Но другие признаки упадка еще более убедительны. Поражает немногочисленность статуй богов, определенно восходящих ко времени после убийства Александра Севера; с другой стороны, количество изображений Митры, отвратительного Зона, Эфесской Дианы и прочих возрастает невероятно. Тут вмешивается религия. Ничто не могло настолько отвратить художника от древних божественных образов, как бесформенные чужие и демонизировавшиеся местные боги, лишившиеся своих прекрасных антропоморфных обликов. Так или иначе, скульптору было трудно проникнуться древним религиозным чувством, даже если бы такие изображения кому-то потребовались. Теперь от него ждали тысяч саркофагов, изготовлением которых преимущественно и занимались скульпторы III столетия. На рельефах, их украшающих, конечно, представлены исключительно греческие мифы и нет никаких чужеземных чудовищ; однако приобретению ими значительной художественной ценности препятствуют другие, более веские причины. Соединение законов пластики и драмы в чистой и совершенной красоте рельефа возможно только в эпохи расцвета художественного мастерства; едва начинает главенствовать стремление к внешнему эффекту, а именно в позднеэллинистический период, рельеф неизбежно утрачивает свое изящество, хотя в других областях искусства еще появляются изумительные работы. Поэтому-то даже прекраснейшие работы лучших дней Рима, создатели которых опирались непосредственно на греческую традицию, как, например, рельефы на арке Тита, имеют относительную художественную ценность. Но позднее, когда роскошь окончательно вытеснила красоту, когда спиральные изображения на колонне Траяна, ее подобия и «перенаселенные» триумфальные арки приучили людей к любым скульптурным чудесам, количество и хаотичное расположение фигур, так же как и чрезмерная детальность архитектурного облика, неизбежно скрадывали общий эффект. Художественная ценность саркофагов ослаблялась еще и тем, что их редко делали на заказ, чаще изготовляли на продажу, а значит, приходилось подделываться под грубый вычурный вкус среднего покупателя. Наконец, в ущерб искусству все более тенденциозным становился его предмет. Мифы понимали как символическую оболочку общих понятий, и отделение зерна от шелухи могло в конечном счете только повредить изобразительной стороне. За изображениями мифов о Мелеагре, Вакхе и Ариадне, Амуре и Психее, Луне и Эндимионе, Плутоне и Прозерпине, за битвами кентавров и амазонок, за вакханалиями и процессиями нереид скрывались отвлеченные идеи о судьбе, смерти и бессмертии. Такой символизм, конечно, требовал от зрителя творческого участия, но искусство не могло из-за этого достичь другой своей цели, то есть воссоздать в каждом образе то, что в нем есть вневременного и вечного, через благородство одной только формы.

По воле новой религии всех этих языческих персонажей вытеснили с саркофагов Христос и апостолы или же сцены из Ветхого и Нового Заветов, сами по себе или в параллель друг другу. Никакого развития стиля нет; снова определяющей является функция «сообщения», и специфику изображения задает символ. Мастерство последовательного повествования, крайне важное для рельефа, умирало, и поверхность саркофага начинали разделять вертикальными выпуклыми линиями и арками на столько полей, сколько предполагалось героев или историй. Эта множественность одновременно и обедняла изображение, и делала его более наивным.

Помимо того, скульпторы продолжали заниматься портретами, в виде статуи, бюста или поясного изображения в рельефе. На памятниках и саркофагах мы нередко видим, как в нише сидят рука об руку муж и жена; по-видимому, существовало правило, что должна быть видна вся верхняя половина тела, о чем свидетельствуют и монеты второй половины III века. Бюсты в собственном смысле очень редки, так что великих императоров-иллирийцев мы знаем, в сущности, только по монетам. О портретных статуях часто упоминают, но, за исключением нескольких ростовых изображений Константина, мало что сохранилось, а громоздкие и искаженные контуры дошедших скульптур помогают меньше сожалеть о потере.

Помимо материала, зачастую восхищались размерами статуй. Огромное впечатление производили сами по себе гигантские монолиты. Народ долго собирался перенести египетские обелиски в Рим; еще Элагабал мечтал перевезти туда из Фив огромный камень, соорудить лестницу и служить на нем своему верховному богу; но теперь уже Диоклетиан привез для своих бань гранитные колонны с Востока, пятнадцати футов в обхвате, а Константин переправил

громаднейший обелиск из Гелиополя в Александрию, откуда позднее Констанций переместил его в Рим. Крупнейший из всех известных кусок порфира, стофутовый столб, предназначался на пьедестал статуи основателя нового города — Константинополя. В III и IV веках скульптура стала цениться также на вес. Александр Север установил в Риме множество исполинских статуй, призвав для этого художников со всех концов земли. Галлиен велел изобразить себя в виде солнечного бога, двухсот футов ростом, и желал, чтобы внутрь его копья мог забраться ребенок, чтобы колесница и лошади имели соответствующие размеры, и вся эта конструкция, водруженная на гигантский постамент, долженствовала увенчать высшую точку Рима, Эсквилин. Но работа, как и следовало ожидать, не была завершена. Поскромнее выглядели две мраморные скульптуры в Терни — император Тацит и его брат Флориан — тридцати футов в высоту, которые вскоре после создания уничтожила молния. После Фидиевых гигантских скульптур, после сотни солнечных колоссов на Родосе богов и людей часто ваяли далеко превосходящими величиной человеческие размеры, при этом художественная сторона не страдала; но во времена упадка, когда конструкторы уже отвыкли от меньших размеров, эти исполины, подавлявшие зрителя величиной, окончательно утратили изящество и испортили вкус целым поколениям. Искаженные черты портретных статуй наглядно свидетельствуют также и о судьбе живописи в те годы.

Неизвестно, является ли это внутренним свойством живописи вообще, но, как явствует из ее истории, периоды идеалистического изображения всегда сменяются периодами реализма, то ли потому, что идеализм неспособен достаточно проникнуть в глубину природных форм и довольствуется общим, то ли потому, что он в какой-то момент выходит за собственные границы и начинает доискиваться новых эффектов в русле грубого натурализма. В разных видах живописи, прежде всего жанровых картинах, данные процессы проходят независимо. Нечто подобное происходило и в искусстве античности. Даже в эпоху расцвета существовало множество жанровых статуй и жанровых картин, и целые школы стремились как можно вернее запечатлеть действительность. Но они старались исключительно вычленить из реальности новые элементы прекрасного, и поэтому интерес к индивидуальному был всегда огромен. Следовало бы, пожалуй, ожидать, что III век станет временем подлинного натурализма, заботливо выполняемой штриховки, тщательных штудий разных обманов зрения. Параллели такого рода существуют — например, как мы увидим, в литературе.

Но то, без чего не бывает хорошей жанровой живописи — тонкое, обостренное восприятие, — не только не совершенствовалось, но все стремительней сходило на нет. Роскошь материалов и страсть к отделке совершенно вытеснили глубокое видение мира с положенного ему почетного места. Немногие сохранившиеся настенные картины мифологического содержания всего лишь повторяют более ранние мотивы и демонстрируют застывание и омертвение арабески, некогда столь украшавшей здания. Рисунки в христианских катакомбах трогают своей простотой и отсутствием каких бы то ни было претензий. Кроме того, они интересны еще и как первые примеры изображения святых; но что касается композиции и проработки деталей, тут они обнаруживают крайний недостаток умения или же вызывают в памяти произведения предшественников. Предмет этих христианских изображений возвестил закат античного искусства, но обновление содержания не означало улучшения качества. Для обширных планов победоносной веры скоро потребовалась мозаика. Так предания и персонажи Священного Писания покрыли все плоскости церкви, наперекор законам и архитектуры, и живописи. Можно только удивляться тому, что столько относительно неплохих работ появлялось еще даже в VI столетии. Единственное, что принималось во внимание, — это сакральная ценность и цельность предмета, а также величие результата. Просто наслаждаться своим творением художник возможности не имел. Искусство стало служить символу, находящемуся вне его, а не символу, который возрос вместе с искусством и сросся с ним; и художник, даже наделенный крупным талантом, всего лишь воплощал, не претендуя на славу, нечто, имеющее вселенскую значимость, — когда-то так уже было в Египте. В рукописных миниатюрах, насколько мы можем судить непосредственно или на основании позднейших копий, не так уж редко нас удивляют удачные аллегории и оригинальные образы, свидетельствующие, что, во всяком случае, неофициальная живопись еще обладала запасом жизненных сил. Так, на картинках в языческом календаре второй половины IV века есть несколько настоящих жанровых фигурок в барочном платье и на соответствующем фоне. Но в целом шло неуклонное развитие в совершенно противоположном направлении.

До некоторой степени о победе реализма действительно говорит стремительно возросшее с III века количество портретов. Мы уже видели, как основным занятием скульптора стало изготовление огромных портретных статуй; на саркофагах главному герою мифа обычно придавались черты покойного. Но для живописи того времени

характерна не столько жизнеподобность изображения, сколько традиция так называемых парадных портретов, где одного человека или целое семейство показывали в торжественном облачении, в благородных позах, часто с символическими предметами в руках. Очевидно, так предписывалось запечатлевать правителей, и частные лица следовали их примеру. Как важен на таких картинах был костюм, можно судить по изображению во дворце Квинтиллиев, где император Тацит был представлен в пяти видах: в тоге, хламиде, кольчуге, паллиуме[1] и охотничьем наряде. Ничего удивительного, что даже на монетах и могильных камнях появляются теперь не просто головы, но все тело до пояса, чтобы облачение подчеркивало достоинство и общественное положение героя. Во дворце двух Тетриков на Целийском холме имелась мозаика, на которой Аврелиан стоит между ними и принимает от них знаки верности, скипетр и венок из дубовых листьев. На стене обеденного зала в Аквилей-ском дворце красуется семейный портрет, где показано родство домов Максимиана Геркулия и Констанция Хлора. Среди прочих появляется юный Константин, принимающий золотой шлем с павлиньими перьями от маленькой Фаусты, которая позднее стала его женой. Легко представить такие семейные портреты в домах и загородных поместьях и других значительных граждан. Отзвук этого вида искусства, в основном исчезнувшего, сохранился в изображениях на диптихах из слоновой кости, обычно окружающих реалистически изображенного императора или чиновника в точно прорисованном торжественном наряде, с символическими элементами убранства.

Во времена, когда не было печатной прессы, зачастую возвещать гражданам волю правителя, то есть исполнять роль нынешних манифестов и прокламаций, приходилось живописи. Когда властитель вступал на престол, первым делом повсюду рассылались портреты нового императора, и везде их надлежало принимать с великим почетом. Их выносили в поле и вешали на государственные здания; иногда эти изображения, зачастую металлические, становились частью военных значков. На больших кусках ткани или досках рисовали удачные битвы, дабы продемонстрировать их общественности. Часто на дворцовых фризах запечатляли приемы иностранных послов, целые празднества и театральные представления, разные торжественные церемонии. Константин отметил свою победу над Лицинием, велев повесить большую символическую картину, написанную восковыми красками, над воротами императорской резиденции. На ней изображен он сам с сыновьями, у ног их — побежденный полководец в облике дракона, пронзенного стрелами, под ним — бездна; а надо всем этим реет знак креста. Позднее император велел представлять на дворцовых воротах себя самого в позе молящегося. И после его смерти в Риме появилась огромная аллегорическая картина в его честь: небеса и преображенный властитель на троне.

Подобные импровизации мало что имели общего с истинным искусством. Но тем не менее, они ясно свидетельствуют о его судьбе в целом, ибо еще в языческие времена искусство стало служанкой пропаганды и с победой христианства сменило только господина, а не роль. Многие века подавляемое собственным предметом, оно не могло или почти не могло следовать своей внутренней природе. В сущности, это и есть одно из наиболее явных отличий средневекового мировоззрения от античного.

Именно господство содержания над формой в христианском искусстве дало живописи преимущество над скульптурой. Пластические изображения святых, даже выполненные с мастерством Фидия, показались бы чем-то вроде идолов; а уж с контурами периода упадка они стали бы просто карикатурой на великие творения древности. Поэтому, если требовалось произвести впечатление средствами искусства, христианству нужен был повествовательный, способный принимать символическое значение, богатый образами вид его; то есть, очевидно, в первую очередь живопись или же промежуточная форма — рельеф. Нет нужды говорить здесь об особом предубеждении против скульпторов, которых презирали как служителей кумиров.

Поэзия в этот период также не могла возместить ущербность изобразительных искусств. Поэзии, отрезанной от живой связи с драмой, пресыщенной до отвращения эпическими трактовками мифов, отвергавшей исторический материал вместе с современностью, оставалось только уйти в лирику и роман. Конечно, стихотворство во многом оставалось сугубо академичным; но бледные воспоминания о лучших временах, звучащие, например, у буколических и дидактических поэтов III столетия — у Кальпурния Сикула, Немезиана, Серена, Саммониака и прочих, — не могут создать живую литературу, хотя иногда возникали очень талантливые произведения. С другой стороны, лирика, как и человеческое сердце, способна к вечному

[1] П а л л и у м - просторный плащ, отличительный признак греческих философов.

обновлению, и порождает отдельные прекрасные цветки даже в периоды всеобщего распада, хотя форма их часто бывает несовершенной. Когда эпос и драма утрачивают популярность и силы к развитию, на их место становится роман.

К несчастью, литература позднеязыческой эпохи дошла до нас только в отрывках, и нам недостает контекста; но сохранилось несколько симпатичных образчиков романа. Так, у нас есть греческая «Повесть пастушеская», приписываемая некоему Лонгу; но, может быть, это имя — просто результат непонимания, и в любом случае текст нельзя датировать определенным временем. Однако это прелестное повествование о приключениях Дафниса и Хлои дает полное представление об эстетике века — вероятнее всего, III, — которому принадлежит загадочный автор. Опи- сания, последовательно натуралистические, что касается обстановки и фона, и психологически глубокие, далеко превосходят буколические характеры и декорации, унаследованные от Феокрита. Эпоха, породившая такую книгу, не так далеко отстоит от эпохи, способной создавать жанровые и пейзажные картины. Но «Дафнис и Хлоя» стоит совершенно особняком, и если мы сравним это произведение с другими позднегреческими романами, то обнаружим, что они и их авторы точно так же пренебрегают точной датировкой. Если говорить о Гелиодоре (на которого мы уже неоднократно ссылались), авторе «Эфиопики», то непонятно, был ли он тем самым епископом Трикки, что в Фессалии, зрелость которого приходится на время около 400 г., или ближе к действительности мнение, что епископский титул даровали язычнику, жившему веком раньше в Эмесе (тому есть подтверждение), чтобы книга его стала приемлема для христианских библиотек. Как и в случае с Ксенофонтом Эфесским, цель автора — описать возможно больше разнообразных приключений, и позднейшие романисты, насколько умели, тоже следовали этой цели. Но у них нет и следа последовательной и подлинно художественной прорисовки характеров, свойственной Аонгу, а также его благоразумной умеренности, когда дело касается одежды и местностей. Гелиодор отличается от него зачастую не в лучшую сторону.

Снова и снова (например, в начале книги) Гелиодор умышленно задерживается на описаниях пейзажей, и подобное же встречается и у Лонга. Я не осмелюсь предложить здесь краткий дурной пересказ гумбольдтовской истории эстетического чувства применительно к пейзажу; я могу только сослаться на этот несравненный труд, где великолепно исследуется сам предмет и его взаимосвязи с прочими духовными направлениями поздней античности.

Настоящая лирика тогда если и писалась, то до наших дней она не дошла. Отголоски вроде «Pervigilium Veneris» (около 252 г.) или, например, «Молитва к океану» едва ли восходят ко времени более раннему, нежели середина III века. Отдельные неплохие отступления в область элегии и эпиграммы, относящиеся к V столетию, едва ли могут заменить подлинную лирику. Они слишком пропитаны воздухом определенных школ, слишком нарочиты, чтобы производить живое впечатление. Высокоодаренный импровизатор Клав-диан со своими панегириками, мифическими поэмами и идиллиями (в общем, поэзия его весьма разнообразна) родился слишком поздно. Клавдиан — ничтожный льстец времен эстетического декаданса, и все же его блестящие краски — почти Овидиевы по замыслу и исполнению. Историкам литературы он служит чем-то вроде предупреждения — нельзя проводить слишком жесткие границы между периодами. Рутилий Нумациан (около 417 г.), о котором уже упоминалось, тоже имеет благородные и привлекательные черты, но в целом его стихотворное путешествие довольно-таки бесформенно.

То, что официально именовалось литературой и чем восхищались во времена Константина, представляет собой плачевнейшее из всех человеческих созданий, словесно-стихотворные фокусы, придуманные по правилам грамматики. Тогда любили развлекаться, компилируя труды Вергилия, то есть используя стихи Вергилия, чтобы создать произведения совершенно иного содержания. Как бы ни коверкали их смысл, все-таки это были самые мелодичные латинские строки. Другие изыски вызывают больший протест. Среди них — эпаналепсис, когда первое слово гекзаметра повторяется на конце пентаметра; фигурные стихотворения, когда текст, кропотливо выписанный, имеет форму жертвенника, флейты Пана, органа и прочего в том же духе; сочетание всех римских размеров в одном произведении; набор криков животных; перевертыши, которые можно читать задом наперед, и прочие подобные извращения. Невозможного в этой весьма трудоемкой области достиг некий Публилий Оптациан Порфирий. По какой-то причине он был изгнан и попытался вернуть расположение Константина с помощью отчаянных поэтических ужимок и прыжков, и даже преуспел в этом. Он написал двадцать шесть стихотворений, большая их часть имела объем от двадцати до сорока гекзаметров, в каждом одинаковое количество букв, так что произведения выглядели как квадраты. Определенные буквы, выписанные красным, составляли рисунок — монограмму, знак XP, еще какой-нибудь узор, и,

будучи последовательно прочитаны, складывались в апофегму[1]. Труд, затрачиваемый сейчас читателем, показывает, сколько труда посвятил поэт совершенно обычному содержанию — комплиментам в адрес Константина и Криспа. В конце следовали четыре гекзаметра, слова в которых можно было сложить восемнадцатью различными способами, и в каждом случае получалось нечто относительно осмысленное и имеющее размер. В весьма любезном письме к Оптациану Константин, изображая покровителя искусств, рассматривает преодоление этих вымышленных затруднений как действительный шаг вперед в поэзии: «В наш век за всяким, кто пишет стихи, мое благосклонное внимание следует, как тихое веяние зефиров». Ремесленника стиха тут же вернули из изгнания; не исключено, что префект города Рима, упоминаемый в канун 329-го и 333 гг., и есть тот самый Оптациан. Случай этот вполне можно было бы опустить, если бы он не обнаруживал вкус императора.

Для античной поэзии наступление эры христианства не стало таким великим счастьем, как можно вообразить. Поэтическое переложение библейской истории принципиально отличалось от переложений древних мифов. Миф многообразен и многосторонен, и потому вместе с искусством слова и через него способен постоянно рождать новую красоту. Но библейские события подлежали художественному запечатлению уже в устойчивой и окончательной форме; с точки зрения догмы сюжетные и формальные украшения были равно опасны. Отсюда безжизненная соразмерность стихотворных Евангелий, начиная с произведения испанца Ювенка (329 г.). Элементы риторики не спасали и только выдавали соответствующее образование тогдашних христианских поэтов. У Пруденция (около 400 г.), тоже испанца, самого крупного из них, тем не менее, есть хорошие и почти лирические отрывки; и, повествуя о мучениках («Peristephanon»), он распоряжается материалом со значительно большей эпической свободой, нежели было возможно в тексте, опирающемся исключительно на Библию. Но в целом его поэзия производит впечатление чрезмерной риторичности. Несколько великолепных гимнов, принадлежащих ему и его современнику Амвросию, справедливо считаются началом всей христианской лирики. Здесь впервые силовое ударение открыто и последовательно возобладало над количественным, что ознаменовало переход к поэзии Средних веков, конечно, только внешний, но от того не менее примечательный. Позднее окаменевшую латынь освежил новый, средневековый дух.

Но риторика еще оставалась королевой. Она продолжала главенствовать в образовании. Из так называемых семи свободных искусств — грамматики, риторики, диалектики, арифметики, музыки, геометрии и астрономии, некогда составлявших «энциклопедическое» образование молодого человека из хорошей семьи, — первые три играли ту же роль, а последние четыре, благодаря расширению объема имеющегося материала, стали отдельными дисциплинами. Во времена империи все, что осталось от философии, приписали к первым трем, и считалось, что риторические школы дают нужное законнику образование. Нам сейчас трудно составить верное представление о распространенности и значении риторики в то время. В повседневной жизни умение свободно и красиво выражать свои мысли считалось совершенно необходимым, и удачная публичная речь приравнивалась к величайшему триумфу. Каждый крупный город в империи стремился заполучить одного или нескольких стоящих риторов. В Риме состязались между собой греки и местные уроженцы. Галльских ораторов пестовали в Марселе, Нарбонне, Тулузе, Бордо, Отене, Трире и Реймсе; в Испании центром этого искусства была Кордова; в Африке — Карфаген, Сикка, Мадавра и другие. В Греции и на Ближнем Востоке софисты часто становились важнейшими лицами в городе, так как, помимо своих преподавательских обязанностей, они выступали публично по всяким поводам — как сторонники данного философского направления, как адвокаты, как ораторы, занимающиеся общественными делами. Нередко очень богатые и знатные люди посвящали себя этому занятию и затем превращались в фигуры такого значения, какое было вообще возможно иметь при системе правления, подобной римской. Наконец, само государство, ранее предоставлявшее заниматься проблемами высшего образования городам и частным лицам, теперь сочло его общественным делом, оказывало риторическим школам поддержку и само платило софистам, число которых в каждом городе зависело от его положения. Но такого рода мероприятия, упоминающиеся со времен Адриана и Антонина Пия, едва ли сохраняли надлежащий размах сколько-нибудь долго. Константин еще продолжал освобождать от обременительных налогов и должностей, особенно от наводивших ужас декурий, и военной службы назначенных государством профессоров и наделенных столь же почетными привилегиями врачей вместе с семьями. Сам император, как мы увидим дальше, был страстным любителем ораторского искусства; за ту же склонность восхваляли множество его предшественников, вплоть до Нумериана. Но Константин в риторике разбирался не лучше,

---

[1] А п о ф (т) е г м а — краткое наставительное изречение, вписанное обычно в конкретную ситуацию.

чем в поэзии. Все, порожденное имперским аппаратом после Диоклетиана — письма, эдикты и законы, — все написано одинаково вычурно и напыщенно. Но императоры обычно набирали своих секретарей и прочих дворцовых служащих из числа риторов, и соответственно должны были порой обращать внимание и на иные их качества, нежели владение стилем. Евмения, секретаря Хлора, следует, вероятно, считать в этом отношении примечательным исключением.

Не преувеличивала ли античность значение умения говорить и писать? Не лучше ли было наполнять головы мальчиков и молодых людей вещами более материальными и полезными? На это следует ответить, что здесь мы не имеем права судить, так как среди нас повсеместно сохраняется безалаберность в речи и на письме, так как едва ли один из ста наших образованных людей имеет представление о том, как на самом деле нужно строить период. Для древних риторика и ее ответвления были необходимым дополнением к прекрасному и свободному бытию, к искусству и поэзии. В каком-то смысле современность следует более благородным принципам и целям, но она негармонична и несоразмерна. Самое высокое и утонченное в ней соседствует с жесточайшим варварством. И наши бесчисленные занятия не оставляют нам досуга, чтобы оскорбиться этими противоречиями.

Беглого взгляда на сохранившиеся школьные учебники позднеримской риторики достаточно, чтобы преисполниться чувства стыда. Все эти писания Рутилия Лупа, Аквилы, Руфиниана, Фортунациана, Руфина и других — не собственно римские произведения, но, похоже, робкие переделки греческих образцов времен Горгия, Аристотеля и позднейших; тем не менее они показывают, как люди занимались ораторским искусством даже в последние годы империи. Здесь не только поименованы и рассмотрены все возможные структуры предложения, фигуры речи и грамматические конструкции, которые мы не знали бы, как назвать, не будь древних, и из которых в современных курсах появляется хорошо если одна десятая, — здесь имеется также обстоятельное исследование разных стилей и изложение искусства составления и произнесения речей. О бесконечной чуткости слуха тогдашних людей мы можем составить себе некое представление, опираясь на то, что у Руфина подробно рассмотрены и приписаны к определенному месту в предложении — в начале, в конце или еще где-то — совершенно непостижимые для нас метрические различия в словах и небольших словосочетаниях. Важно было указать, в каких случаях предложение должно начинаться анапестом, а в каких — спондеем. Учение о декламации и поведении оратора завершает (у Фортунациана) эту дисциплину и вновь демонстрирует нам, что вся наша современная речь — сплошной натурализм и может отлиться в прекрасную форму лишь случайно и бессознательно, единственно благодаря врожденному таланту. Каждый жест, каждая складка одежды подчинялись определенному правилу. Оратор не меньше, чем скульптор, боялся одновременно вытянуть ту же руку и ногу. Только так красноречие могло возвыситься до мастерства, приобретаемого и духом, и телом человека.

Но оборотная сторона любого мастерства — растущее честолюбие и все большее равнодушие к сути. Греческие софисты времен ранней империи, как их описывает Филострат, всегда держались крайне заносчиво и ждали от общественности восхищения — точно так же, как некоторые представители современной музыки, чьи претензии удивительно походят на ожидания ораторов. Здесь не место рассказывать, как политическая риторика выродилась на Западе в панегирик и как постепенно задыхалась риторика судебная. От времен Диоклетиана и Константина нам достались, вероятно, лучшие из хвалебных речей в честь императоров и цезарей, на которые мы уже неоднократно ссылались. На противоположном полюсе — бедность языка тогдашних эдиктов. Христианам красота речи казалась делом несущественным; лишь спустя несколько десятилетий заявили о себе первые в ряду знаменитых проповедников. Они наконец-то примирили новое содержание с традиционной, но несколько преображенной формой. Так была преодолена любопытная двойственность: почтение к классическому стилю — и боязнь его языческих ассоциаций, приятие языка Библии — и сознание его несовершенства. Блаженного Иеронима поразило жуткое видение, в котором Судия собирался отвергнуть его, как Ciceroniani, non Christiani[1].

Так или иначе, на протяжении всего IV века риторика сохраняла жизненную важность и для язычников, и для многих христиан. Некоторые страны, например Галлия и Африка, продолжали даже гордиться отличительными особенностями своего стиля, и риторы здесь принадлежали к самым уважаемым в обществе людям. В греческих провинциях софисты любыми средствами стремились сохранить положение, присущее им в век Антонинов. Но поскольку они в то же время были

[1] Цицеронианина, а не христианина (лат.).

неоплатониками и чудотворцами, их историк Евнапий довольно-таки мало внимания уделяет их ораторской деятельности; большей частью он описывает их поведение и любуется их притязаниями. В последней главе мы рассмотрим ситуацию в Афинах; здесь следует только упомянуть о безнадежном состязании, которое язычники-софисты предложили христианским проповедникам. Поскольку вопрос состоял в том, на какую сторону склонится толпа, борьба была слишком неравной. Но не каждый ритор удовлетворился бы утешительной фразой, за которую прячется Фемистий: «Ценность речи философа не уменьшится, если ее произнести под одиноким платаном, где ее могут услышать только цикады».

Почти во всех творениях IV века упадок культуры выдают тяжеловесная исковерканная форма, нагромождение sententiarium, злоупотребление метафорическими обозначениями вещей обыденных и банальных, веяние времени — напыщенность и искусственная архаическая краткость, — все же многие писатели еще несут на себе особый отпечаток классического периода. Они еще притязают на художественность, чужеродную нам; если стиль у них выступает как нечто преднамеренное и самоценное, это вина увядающего столетия, которое прекрасно ощущало, что оно и его культура суть нечто вторичное и производное, и тщательно и неумело подражало великим образцам. Но нельзя легкомысленно упустить из виду авторов, подобных, например, Аибанию и Симмаху, у которых, как прежде у Плиния и других, каждое коротенькое письмо превращалось в маленькое произведение искусства — пусть даже они придавали своим созданиям огромное значение и явно рассчитывали не только на адресата, но и на прочую читающую публику. Симмах, по крайней мере, знал, что цицероновский период развития эпистолярного искусства прошел, и знал, почему он прошел.

Всегда ли очевидный упадок поэзии и изобразительных искусств подразумевает также и вырождение самого народа? Что, если эти элементы культуры суть цветы, долженствующие упасть, прежде чем созреет плод? Неужели истинное не может занять место прекрасного и полезное — место приятного?

Вопрос остается нерешенным, и в последнем случае решения не существует. Но каждый, кто соприкасался с классической античностью, хотя бы даже во времена ее заката, чувствует, что вместе с красотой и свободой из нее ушел также подлинный дух древности, лучшая часть национального гения, и что многословная ортодоксия, которая одна осталась греческому миру, есть лишь безжизненный осадок некогда удивительного в своей целостности бытия.

Глава 8
ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН. КОНСТАНТИН И ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЕ

В череде ситуаций, история возникновения которых прекрасно и точно известна, иногда обнаруживается событие чрезвычайной важности, чьи глубинные истоки упорно ус- кользают от взгляда исследователя. Именно таково великое гонение на христиан, предпринятое при Диоклетиане, последняя война на уничтожение, которую вело язычество против христианства. На первый взгляд в этих преследованиях нет ничего удивительного; у Диоклетиана было немало предшественников на троне мира, точно так же мечтавших искоренить христианство, и едва ли от столь ревностного и убежденного язычника можно было ожидать чего-то другого. Но проблема принимает совершенно иную окраску, если подробнее присмотреться к обстоятельствам. Со времен Галлиена — то есть более сорока лет, восемнадцать из которых приходятся на правление Диоклетиана, — новую религию никто не трогал. Даже после того, как император приказал сжечь манихеев на кострах (296 г.), христиане наслаждались покоем еще семь лет. Сообщается, что жена Диоклетиана Приска и его дочь Валерия не так уж неблагосклонно были настроены к последователям этой веры; сам Диоклетиан даже терпел рядом со своей священной особой челядинцев-христиан и мальчиков-слуг, которых любил как отец. Его придворные, их жены и дети могли поклоняться Христу прямо у него на глазах. Христиан, направленных в провинции на должности наместников, любезно освобождали от торжественных жертвоприношений, подразумеваемых их положением. Общины чувствовали себя в полной безопасности и так разрослись, что старых мест собраний никак не хватало. Везде строили новые здания; в больших городах возникали очень красивые церкви, и страха не было.

Если бы правительство допускало хоть мысль о возможности гонений в будущем, оно не позволило бы христианам беспрепятственно приобрести такой вес в государстве. Допустим, государство довольно поздно начало тревожиться, что эта религия, если совсем не обращать на нее внимания, вскоре поведет борьбу за господство; но Диоклетиан не мог быть столь беспечен. Мне кажется, без особого повода ни его первоначальные, ни постепенно сформировавшиеся убеждения не

привели бы к гонениям. В данном случае нельзя забывать, что мы имеем дело с одним из величайших римских императоров, спасителем империи и цивилизации, проницательнейшим судьей своего времени, об общественной деятельности которого остались бы иные воспоминания, если бы он умер в 302 г. «Это был выдающийся человек, умный, усердный к делам государственным, ревностно оберегавший своих подзащитных, готовый к любому заданию, которое может встретиться ему, всегда глубокий в мыслях, иногда безрассудно храбрый, но чаще благоразумный; волнения своего беспокойного духа он смирял непреклонным упорством». И нам нужно выяснить, было ли то, что омрачает великую его память, просто вспышкой наследственной жестокости и зверства, или следствием вышеописанного суеверия, или неудачной уступкой значительно менее достойным соправителям, или, наконец, не должен ли в данном случае историк искать объяснений вне буквы дошедших текстов. Христиане обременили имя Диоклетиана грузом проклятий, и язычники, воспитанные греками и римлянами, также не любили его, так как он ввел в политическую и общественную жизнь восточные обычаи. Работы единственных историков, которые, вероятно, могут дать понятие об истинном ходе событий — Аммиана и Зосима, — испорчены, и не исключено, что как раз из-за симпатии к Диоклетиану. При таком положении вещей искать в сохранившихся источниках прямые указания на что-то сущностно важное и решающее бесполезно.

Произведение, обычно рассматриваемое в качестве основного источника сведений — а именно «О смертях гонителей» Лактанция, — начинается сразу с откровенной лжи. Важное гадание по внутренностям в присутствии императора оказалось прервано, когда бывшие там христианские придворные перекрестились и так прогнали демонов; жертвоприношение повторили несколько раз впустую, прежде чем главный гаруспик догадался, в чем дело, и объявил о причине. После чего Диоклетиан в приступе ярости якобы потребовал, чтобы все, кто был во дворце, принесли жертвы, и даже передал тот же приказ армии под угрозой роспуска; на какое-то время этим все и закончилось. Данный рассказ зиждется на представлении, полностью опровергнутом Евсевием, будто император не знал о христианах у себя при дворе и не потерпел бы их. Вероятнее всего, что слуг-христиан или вовсе не обязывали присутствовать при жертвоприношениях, или же они вели себя так, как казалось приличествующим императору. Сцена, подобная описанной, или должна была иметь место много раньше, при восшествии Диоклетиана на престол, или же она совершенно немыслима. Языческие убеждения императора, восемнадцать лет вполне уживавшиеся с существованием и могуществом христиан, как бы глубоки и серьезны ни были, не могли стать решающей причиной гонений.

Вторая ложь в изложении Аактанция — боязливые уступки Диоклетиана Галерию, который прибыл в Никоме-дию (очевидно, с Дуная), чтобы склонить императора начать преследования; Галерия, в свою очередь, якобы вдохновила его мать Ромула. Ромула была ревностной служительницей великой Magnae Matris (здесь именуемой богиней гор) и очень обиделась, что окружавшие ее христиане отказались участвовать, как язычники, в ее ежедневных жертвенных пирах. Вся эта болтовня, которая единственной причиной произошедшего объявляет прихоть фанатички, рассыпается в ничто, как только мы понимаем, что Диоклетиан не боялся Галерия и что Лактанций серьезно заблуждается насчет характера Диоклетиана в целом. Ничего не стоит выдуманный разговор, якобы происходивший зимой 302/303 г., ибо автор неоднократно выдает себя как любителя остросюжетной беллетристики. Он пытается нарисовать Диоклетиана более разумным и уравновешенным, дабы сосредоточить ненависть на образе чудовища Галерия. «Итак, они совещались между собой в течение всей зимы. К ним никого не допускали, поэтому все считали, что они обсуждают важные государственные дела. Старик долго противоборствовал ярости [Цезаря], показывая, что было бы опасно беспокоить державу, проливая кровь многих людей, ведь обычно они охотно идут на смерть; будет достаточно того, что он оградит от той религии только дворцовых служащих и воинов. Однако он не смог отвести безумие этого буйного человека и потому собрал нескольких судей и группу воинов высоких рангов, он подверг их расспросам. Ведь таков был его характер, что он приглашал многих на совет, чтобы присовокупить вину других к собственным прегрешениям; и если он решал совершить что-либо хорошее, то делал это не советуясь, чтобы хвалили его одного». Учитывая все, что известно о Диоклетиане, такое поведение совершенно невероятно. Правитель, образом коего он вдохновлялся, не думает, что люди станут приветствовать, а что сочтут отвратительным, и берет на себя полную ответственность за все, что исполняют другие, доброе или дурное. Ибо любое действие, предпринятое без дозволения вождя, равносильно изъяну в его могуществе, о поддержании которого он обязан заботиться в первую очередь. Но слушаем дальше. После утвердительного решения тайного совета Диоклетиан задал уже вовсе лишний вопрос еще и Аполлону Милетскому и, естественно, получил тот же ответ. Но и тут он дал свое согласие с тем условием, что кровь не должна пролиться, тогда как Галерий жаждал якобы сжечь христиан живьем. Но мы же только что слышали из собственных уст старшего императора, что он провидит бесчисленные мученические смерти христиан! Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что христиан нужно или оставить в мире, или бороться против них

жесточайшими средствами и согласие на бескровные действия — глупость.

Таков единственный связный источник о великом бедствии. А ведь Лактанций в то время был в Никомедии и мог бы записать, конечно, не тайные переговоры, а действительный ход событий, и даже с большой точностью. Как источник подробностей, этот документ иногда настолько незаменим, насколько это возможно для столь пристрастного источника.

Евсевий находит более удобным вообще не говорить об особых причинах гонений. Аврелий Виктор, Руф, Фест, Евтропий и прочие о гонениях даже не упоминают.

Сам Диоклетиан оправдаться перед нами не может. Эдикты его сгинули, и все наши построения могут оказаться прямой противоположностью настоящим его замыслам.

Здесь открывается поле для предположений, поскольку они не оторваны от земли, а следуют по сохранившимся следам и согласуются с духом времени и характерами участников.

Проще всего сказать, что эти правители, подобно многим своим предшественникам, вынуждены были подчиниться народной ненависти к христианам. Но цепь событий не дает свидетельства такого подчинения, и мощи государства вполне хватило бы усмирить народную ярость. Не исключено, что и вправду толпы на играх в Большом цирке скандировали: «Christiani tollantur, Christiani non sint!» («Убирайтесь, христиане, пусть не будет христиан»), но это происходило уже после начала гонений, и в любом случае такие крики немного значили.

Еще можно предположить, что языческие жрецы потребовали начала гонений безоговорочно и внезапно, и императоров убедили в справедливости этих требований какие-то суеверные соображения. Диоклетиан со всей своей проницательностью достаточно погряз в предрассудках, чтобы такие догадки показались правдоподобными; по крайней мере, нет доказательств обратного. Но в таком случае до нас дошли бы имена столь авторитетных жрецов; упоминания в числе подстрекателей и зачинщиков Гиерокла, наместника в Вифинии (по другим источникам известного как ревностный неоплатоник), явно недостаточно.

Сыграло ли во всем этом какую-либо роль собственное нравственное чувство Диоклетиана? Он не был равнодушен к морали; женщина-гаруспик, предсказывавшая ему будущее и судьбу, не заставила его переступить границы нравственного. Может, в этом и есть непоследовательность, но она свидетельствует в его пользу; как мы уже видели, та же двойственность отличает лучших людей III века, у которых вера в бессмертие если и не примиряла фатализм и мораль, то хотя бы способствовала их мирному сосуществованию. Частная жизнь императора не вызывала критики даже самых придирчивых христиан, и поэтому он с полным правом мог стоять на страже общего нравственного состояния государства. Пример такой его деятельности предоставляет, среди прочего, закон о браке 295 г., уже цитировавшийся, где император провозглашает весьма достойные идеи: «Бессмертные боги проявят ласковое и милостивое расположение к имени римлян, как было в прошлом, если мы позаботимся, чтобы все наши подданные вели благочестивую, спокойную и тихую жизнь... Величие Рима достигнет вершины, милостью богов, только когда благочестивая и целомудренная жизнь составит опору законодательства...» Не могло ли быть, чтобы христиане здесь как-то оскорбили императора?

Известно, что в I и II веках римлян сплачивали слухи 6 об ужасных жестокостях, которыми якобы сопровождается христианское богослужение. Но к тому моменту они уже давно утихли и к делу поэтому не относятся, и Диоклетиан, каждый день видевший у себя при дворе множество христиан, не мог обращать внимание на подобную болтовню.

С жалобами Евсевия на внутреннее разложение христианских общин во времена непосредственно перед гонениями ситуация совершенно иная. Множество недостойных людей заполонили Церковь и даже проложили себе путь к епископским престолам. Среди тогдашних зол Евсевий называет свирепые стычки между епископами и отдельными конгрегациями, ханжество и обман, распространение верований, близких к атеистическим, дурные деяния (caciaz) и опять-таки ссоры, зависть, ненависть и жестокость со стороны духовенства.

Но это не такие проступки, из-за которых государство, защищая нравственность, может начать преследования. То же происходило и среди язычников, и в значительно большем объеме. Но весьма примечателен тот факт, что один из немногих сохранившихся официальных документов, созданных язычниками, указ об отмене эдикта о гонениях, изданный Галерием в 311 г., похоже, главной причиной преследований провозглашает глубокие и разнообразные расхождения среди самих христиан. Они отошли от веры предков и создали секты, их настойчиво упрашивали вернуться к древним обычаям и тому подобное. Но весь этот отрывок столь туманен и двусмыслен, что большинство толкователей под «отцами» и «старшими» понимают язычников. Тем не менее несколько выражений позволяют обвинить христиан все-таки в отходе от своих собственных принципов. Дальше мы читаем: «Мы увидели, что так же, как не справляется должное служение оным богам, не почитается и бог христиан». Это несколько напоминает воззрения католиков в Тридцатилетнюю войну; они рассматривали как равных себе только лютеран, а кальвинистов

презирали как побочное ответвление.

Но и этот путь неверен. Противоречия и несогласие в среде христиан никак не могли оказаться столь серьезными, чтобы государство почувствовало необходимость избавиться ото всего сообщества целиком. Благочестивые язычники, если бы они немножко подумали, с радостью постарались бы не мешать ходу его разложения, поскольку в конце концов христиане неминуемо вернулись бы в их ряды.

Тогда что же, какое объяснение остается нам выбрать? Я полагаю, что имели место какие-то важные события частного характера, и следы их поэтому были тщательно уничтожены во всех записях. Надпись в честь Диоклетиана приписывает христианам желание ниспровергнуть государство — rem publicam evertebant; в такой форме утверждение смысла не имеет, но не исключено, что в нем все же скрывается зерно истины. Не случилось ли так, что христиане, почувствовав собственный рост и силу, попытались приобрести влияние на империю?

Добиться этого было совсем несложно — стоило обратить Диоклетиана. Можно даже доказать, что нечто подобное по крайней мере намечалось. Сохранилось письмо епископа Феоны главному управляющему двором, христианину по имени Аукиан, с инструкциями по поведению на службе языческому императору; общепризнанно, что под императором может подразумеваться только Диоклетиан. Лукиан уже проводил, насколько мог успешно, работу среди своего окружения и обратил многих, начинавших службу при дворе язычниками. Хранитель личных средств императора, казначей и ризничий уже перешли в христианство. Феона полагает весьма полезным, если бы теперь управляющий принял на попечение императорскую библиотеку и постепенно и незаметно, в разговорах о литературе, убедил бы императора в истинности христианского учения. Видимо, на сторонников новой религии сильное впечатление произвели серьезность и моральные устои великого властителя, и они понимали, что обратить его значило сделать особенно важный, решающий шаг,'теперь, когда победы над варварами и узурпаторами, а также преобразование всего внутреннего механизма государства подняли авторитет императора на невероятную высоту. Едва ли нужно говорить, что все подобные попытки по отношению к язычнику вроде Диоклетиана неизбежно кончались неудачей.

Необходимо также со всей осторожностью отметить, как начались гонения. Евсевий и Лактанций сходятся в том, что незадолго до начала основных мероприятий христиане были изгнаны из армии. Возможно, уже в 298 г. или даже раньше был произведен смотр войск, где солдатам-христианам предоставили выбор — или стать язычниками и сохранить службу, или потерять ее. Большинство, не колеблясь, предпочли последнее, и сказано, что некоторые при этом погибли. Ясно, что на это руководство могло решиться лишь вынужденно и с огромной неохотой, так как хорошие солдаты и офицеры были в то время величайшим богатством империи. Осмелимся пойти дальше и заключить, что такая чистка армии имела в основе не религиозные, а политические причины, ибо иначе она прошла бы прежде среди какого-нибудь другого общественного слоя — например, арестовали бы всех епископов, что действительно было предпринято впоследствии. То ли императоры больше не чувствовали себя в безопасности, окруженные христианизированными легионами, то ли они полагали, что в делах как мирных, так и военных на них уже нельзя положиться. Причиной увольнений называли отказ участвовать в языческом жертвоприношении, но это был, разумеется, лишь предлог, потому что пятнадцать лет службу христиан в армии считали вещью вполне естественной. Можно даже утверждать, что императоры «чистили» армию, исполняя замысел поистине дьявольский, чтобы войска могли участвовать в грядущих гонениях без препятствий со стороны христиан. Противное доказать нельзя, так как мы не знаем, сколько времени прошло между увольнениями и началом преследований. Если срок составлял несколько лет, тогда правдоподобность объяснения, разумеется, равняется нулю. Жесточайшие кровопролития могли быть задуманы и подготавливаемы очень задолго, но проведения столь серьезных мер, если единственным смыслом чистки были гонения, нужно ожидать непосредственно перед началом основных действий. Трудно понять такую перемену в настроении. Если Диоклетиан и хотел иметь полностью языческую армию, то только ради безоговорочного послушания, и он уж точно не прикидывал, как будет распоряжаться ею в чрезвычайной ситуации. Стоит заметить, что император не распускал свой христианизированный двор до начала преследований, вероятно, потому, что надеялся сохранить доверие к тем, к кому привык, как можно дольше.

В свете всего вышесказанного вспомним частью высказанное, а частью утаенное Евсевием: при начале гонений в двух местах вспыхнули мятежи — в Каппадокии, район Мелитены, и в Сирии. Что касается хронологии, тут Евсевий не вполне надежен, но другого документа у нас нет. Сперва он рассказывает о выходе эдикта, потом о начале преследований в Никомедии, и именно во дворце, и описывает геройскую смерть придворных христиан. Дальше он повествует о пожарах во дворце и казнях христиан в связи с этим и о том, как выкапывали трупы убитых мальчиков-слуг. Он

продолжает: «В скором времени, когда некие люди попытались завладеть царской властью в области, именуемой Мелитенской, а другие — в Сирии, вышел царский указ повсюду бросать в темницу и держать в оковах предстоятелей церквей». Затем, справедливо или нет, христианам приписывается попытка узурпировать власть, после чего и были схвачены епископы. Однако в числе людей, непосредственно принимавших во всем этом участие, непременно находились солдаты, ибо без них захват трона невозможно представить, и если это были христиане, то, очевидно, отставные солдаты. Можно возразить, что попытки узурпации проистекали из отчаяния, так как преследования уже начались, но равно вероятно, что императоры уже знали о беспокойствах среди отставных бойцов. Если верны данные Евсевия о событиях и хронологии, а мы отрешимся от вкладываемого автором смысла и подойдем к источнику с чисто научной точки зрения, естественно предположить, что императоры столкнулись с вооруженной оппозицией и подавили мятеж.

Наконец, насколько известно содержание эдикта, власти намеревались не прямо уничтожить христиан, но постепенно ослабить их, дабы возвратить в лоно язычества. Их собрания запретили, их церкви разрушали, их священные тексты сжигали. Кто владел почетными должностями и другими чинами, те утратили их. В судебных разбирательствах против христиан из любого сословия применялись пытки. Эти верующие теряли права, по закону предоставляемые всем; пока рабы-христиане хранили верность своей религии, их нельзя было отпускать на волю. Приблизительно такие распоряжения были оглашены 24 февраля 303 г., сперва в Никомедии, которая в то время была резиденцией Диоклетиана и Галерия, и затем — во всей империи.

В самой Никомедии преследования начались в предыдущий день, на который приходился праздник Терминалий, когда префект гвардии в сопровождении офицеров и должностных лиц разграбил, а преторианцы сломали огромную церковь.

После вывешивания эдикта первой его жертвой стал почтенный христианин, разорвавший его на клочки, презрительно заметив, что в нем снова извещают о победах над готами и сарматами. Человек этот был убит. Поведение столь вызывающее нельзя объяснить иначе, как допустив, что даже в этот переломный момент еще оставалась надежда на всеобщее сопротивление.

Дальше нам рассказывают о жестоких пытках и казнях множества дворцовых чинов и слуг, причем по имени названы Петр, Дорофей и Горгоний. Евсевий, конечно, сообщает нам только, что они пострадали из-за своего благочестия, но если бы дело было только в этом, по закону бы их просто разжаловали. Откуда такое зверство по отношению к тем, кого императоры считали раньше своими детьми, хотя и знали об их христианской вере? Очевидно, по мысли правителей, они участвовали в некоем заговоре. Между тем дворец в Никомедии вспыхивал дважды. Согласно Аактанцию, поджечь его велел Галерий, дабы обвинить христиан, которые якобы сговорились с придворными евнухами; и Диоклетиан, всегда полагавший себя очень умным, не смог распознать правду, но тут же оказался охвачен беспредельной ненавистью к христианам. Тут уже невозможно опираться на пристрастного писателя; но каждый, кто изучал историю Диоклетиана, наделит его количеством сообразительности достаточным, чтобы суметь разоблачить грубейшее надувательство, которое описывает Лактанций. Огонь разгорелся в той части дворца, где жил сам Диоклетиан. Но Галерий был последним человеком, кто поджег бы крышу у себя над головой. Самое вероятное, что придворные-христиане, оказавшиеся под угрозой, были виновны; скорее всего, они хотели запугать суеверного императора, а не убивать его. На позднейшем торжестве Константин, в то время находившийся в Никомедии, попытался оправдать всех разом, заявив, что дворец подожгло молнией, как будто молнию можно спутать с чем-то еще. Оба императора действительно были убеждены в виновности христиан, и расследование преступлений приняло кровавую окраску. «Даже могущественнейшие евнухи, некогда распоряжавшиеся дворцом и императором, были преданы смерти». Ничего удивительного, что после столь скорбных событий эдикт проводился в жизнь с неумолимой строгостью и его дополнили последующие указы.

Скоро, о чем уже шла речь, начались восстания восточных христиан, которые вызвали второй эдикт, повелевавший арестовать всех глав общин.

Вероятно, читатель не одобрит такую постановку проблемы. Справедливо ли обвинять христиан из-за того, что их преследовали? Так поступали французские фанатики в 1572-м, и так же — в Вальтеллине в 1620 г.; чтобы оправдать потоки пролитой крови, они объявили, что всего лишь сумели предвосхитить жестокий заговор, замышленный поверженными противниками.

Во-первых, никто не говорит об общехристианском заговоре против правителей или вообще против язычников. Наша значительно более осторожная версия выглядит примерно так: некая часть придворных христиан, возможно очень немногочисленная, и некая часть провинциальных офицеров-христиан решила, что они смогут осуществить государственный переворот и передать империю в руки христиан или кого-то, кто им благоволит, намереваясь, может быть, пощадить самих императоров. Не исключено, что Галерий действительно обнаружил свидетельства этого прежде Диоклетиана и что последнего только с большим трудом удалось убедить.

Во-вторых, никто не станет отрицать, что среди христиан того времени нашлись бы люди, кого нимало не смутил бы такой переворот. Описание Евсевия достаточно выразительно. С другой стороны, земная власть неспособна смягчиться, когда угрожают самому ее существованию.

Несчастье заключалось в том, что правители обобщили ситуацию и стали действовать так, будто виноваты были все христиане, и еще в том, что тогдашний закон был слишком скор на пытки и на жестокие казни. Но, чтобы верно судить об отдельных случаях, нам нужны лучшие источники, нежели «Деяния мучеников». Так или иначе, огромное количество людей со временем примирилось с жертвоприношениями, и последние эдикты Диоклетиана, о которых еще пойдет речь ниже, исходили, видимо, из предпосылки, что успех в общем и целом достигнут и что противников осталось не так и много. Например, изъятие священных книг долженствовало лишить общины духовной поддержки.

Но имевшиеся противоречия создавали крайне напряженную ситуацию. Подробно проследить ужасающий ход событий не входит в задачу данной книги. Что касается соправителей Диоклетиана, август Максимиан весьма усердствовал в деле гонений, тогда как цезарь Констанций Хлор, человек мягкий и монотеист, довольствовался тем, что во вверенной ему области — в Галлии и Британии — разрушал церкви. Так или иначе, при его дворе, в Трире или Йорке, христиане были, причем в том числе и воины. Но в других частях империи гонения все ужесточались. Судя по множеству пыток и мученических смертей, похоже, что дознания проводились крайне жестоко; но нужно помнить — судьи, очевидно, полагали, что имеют дело с политическим разбирательством, и обязаны поэтому любой ценой исторгнуть признание. Позиции должностных лиц сильно различались между собой. В Африке, где о политике речь практически не шла, где требовалось, в сущности, только сдать священные тексты, христианам часто давали понять, что даже к этому их не будут вынуждать особенно сильно. Но многие вызывающе объявляли, что не отдадут хранимые священные тексты, и гордо принимали смерть. Другие тут же покорились приказу и отнесли властям все, что у них было; этих позднее клеймили именем traditores, предатели. Вообще среди христиан обнаружилось чрезвычайное разнообразие черт характера, от позорнейшей слабости до фанатической дерзости; находились между ними и великолепные образцы спокойной и разумной стой- кости. Кое-что мы узнаем также о людях, составлявших низший уровень структуры христианской общины. Были люди, желавшие искупить какое-нибудь свое преступление мученической кончиной, подобно тысячам грабителей и убийц, отправившихся в Первый крестовый поход. На других лежал огромный долг государству из-за налогов, которые они не могли платить, или же на них наседали частные кредиторы, и такие люди искали избавления от забот в смерти или же, терпеливо снося пытки и заключение, надеялись заставить богатых христиан помочь им. Кроме того, были нищие, для которых жизнь в застенке была слаще, чем за его пределами, поскольку христиане бесстрашно доставляли своим пленным братьям не только вещи первой необходимости. Карфагенский епископ Мензурий обладал достаточной долей рассудка и смелости, чтобы, увидев все это, объявить: тех, кто без нужды принял мученическую кончину, нельзя почитать как мучеников.

Между тем по прошествии чуть более одного года судебные разбирательства превратились в настоящее гонение на всех вообще христиан. За вторым эдиктом, повелевшим арестовать духовенство, последовал третий, согласно которому всех заключенных освобождали, если они приносили жертву, в противном случае их следовало к этому вынудить. В 304 г. четвертый эдикт распространил последнее распоряжение на всех христиан, причем подразумевая в качестве метода воздействия смертную казнь. На Востоке эти жесточайшие гонения продолжались четыре года и затем, с некоторыми изменениями — еще пять; на Западе они прекратились быстрее.

Церковная история долго полагала своей священной обязанностью в назидание потомству сохранять память о благороднейших мучениках того времени. В поисках подробностей нам придется довольствоваться сведениями, почерпнутыми из Евсевия и сборников житий. Несмотря на неминуемые возражения исторической критики по поводу некоторых обстоятельств и в особенности приписываемых им чудес — то, как это новое общество с новой религией и философией борется против мощнейшего языческого государства, чья культура насчитывает тысячу лет, и в конце концов побеждает благодаря самим своим бедствиям, есть воистину величественнейшая историческая картина.

Гонители явно лишились остатков нравственного чувства, когда в 305 г. Диоклетиан и его правители сложили свои полномочия, Галерий и Констанций возвысились до августов, а Север и Максимин Даза стали цезарями. С этих пор кампания выродилась в настоящую войну на уничтожение, особенно во владениях последнего — в юго-восточной части империи; читателя лучше избавить от ужасающих описаний.

Теперь мы возвращаемся к политической истории, претерпевшей в то самое время

значительные изменения.

Вскоре после начала гонений, уже весной 303 г., Диоклетиан отправился на Запад и осенью прибыл в Рим, дабы отпраздновать там вместе с Максимианом триумф по случаю многих побед и одновременно двадцатилетие царствования. По сравнению с роскошью Карина стоимость триумфа и продолжительность торжества показались весьма умеренными; когда римляне зароптали, император шутливо ответил, что в присутствии цензоров игры не могут быть чересчур уж роскошными. Он выразил свое отношение к римским сплетням, оставив 20 декабря город, не дожидаясь прихода нового года и церемоний, связанных со сменой консулов. Это был первый визит Диоклетиана в Рим со времен его восшествия на престол. Хотя он построил (после 298 г.) огромнейшие бани, это, похоже, не принесло ему благодарности граждан; хотя он сделал римлянам денежный подарок (конгиарий размером в 310 миллионов денариев, что равняется примерно шестидесяти двум миллионам талеров) больший, чем кто-либо из его предшественников, это не повлияло на настроение народа: люди ждали более впечатляющих игр, и теперь они были разочарованы.

Диоклетиан встретил новый (304-й) год в Равенне. Он тяжело заболел после зимнего путешествия в Никомедию, и с той поры до отречения (1 мая 305 г.) его редко видели. Описание торжественной церемонии отречения, весьма обстоятельное, но подпорченное абсолютной ненадежностью этого автора, дает Лактанций. Холм в трех тысячах шагов от Никомедии, колонна со статуей Юпитера, слезы старого императора, говорящего с солдатами, дожидающаяся его дорожная карета — все это, конечно, правда. Но что все ожидали, когда присутствующий Константин будет выдвинут вместо Севера или Максимина, что внезапный взлет не известного никому доселе Максимина возбудил всеобщее изумление и что все действо было рассчитано на то, чтобы удивить солдат, — в этом мы позволим себе усомниться. Что могло знать население Никомедии о системе усыновлений старшего императора или даже о его намерении объявить о новых усыновлениях? Там, вполне возможно, были люди, желавшие увидеть восхождение Константина; воины ли — остается вопросом, так как вряд ли простой трибун первого ранга успел снискать особенно широкую популярность. Что о нем в то время думал Диоклетиан, мы не знаем; раньше, во времена военных походов, он весьма благоволил ему — за что Константин платил уничижительными замечаниями и злобными интригами.

Мотивы отречения уже были представлены нами в их истинном свете. Если верны наши умозаключения, императорскую власть ограничивали двадцатилетним сроком, дабы, насколько возможно, упорядочить удивительную династию без права наследования и обеспечить спокойное преемни-чество усыновленных. Вероятно, и суеверия сыграли здесь свою роль, во всяком случае что касается твердой уверенности Диоклетиана в послушании своих соправителей. Остается допустить, что император, надеясь убедить всех своих преемников в необходимости подобных мер, имел на то основательные тайные причины.

Все же Диоклетиан, насколько возможно, какое-то время был доволен и счастлив, живя в своем лагере-дворце в Салонах. В пользу его говорит, что после двадцати лет войны и властительных грез он вернулся к местам и занятиям юности и собственными руками возделывал огород. Не следует ли заключить, что он всегда был внутренне выше восточного дворцового церемониала, который сам же и ввел, и в Никомедии часто тосковал о своем домике в Далмации? С этим поразительным человеком никогда нельзя сказать, вызван ли его поступок обычным тщеславием, верой в судьбу или силой политического гения. Диоклетиан понял, как обеспечить Римской империи то, что только и могло сохранить ее, а именно — непрерывность власти; и он оказался вынужден вступить на престол, дабы воплотить свои идеи. Теперь задача была выполнена, и он мог вернуться к тишине и спокойствию.

Максимиан, который против своей воли все же торжественно повторил поступок старшего императора, возвратился в прекрасное поместье в Лукании, в то время как его сын Максенций избрал для резиденции презренный Рим или же его окрестности. Сам презираемый и, по общему мнению, недостойный править, он прекрасно понимал ситуацию, и трудно поверить, что Галерий охотно позволил ему поселиться в этой области. Вероятно, возражения прозвучали сразу же, но так просто Максенция нельзя было переубедить. Как уже отмечалось, одного следствия диоклетиановской системы автор ее не предусмотрел: сыновей императоров следовало либо поощрять, либо убивать. Но по причинам, которые мы уже попытались обозначить, настоящей династии требовалось избегать, и с чистой деспотией Диоклетиан явно не желал иметь ничего общего, так же, как прежде, после падения Карина, он не желал иметь ничего общего с проскрипциями. Далее, Максенций женился на дочери Галерия, скорее всего, против собственной воли и воли Галерия, просто чтобы выполнить веление престарелого императора.

В течение нескольких месяцев все как будто бы шло по намеченному руслу. Но в начале следующего (306-го) года в этой занимательной драме появляется новый персонаж. Константин, которого история справедливо титулует Великим, покинув двор в Никомедии, таинственно исчез

и внезапно объявился рядом со своим отцом, Кон-станцием Хлором, когда тот уже отплывал из гавани Гес-сориака (Булонь) в Британию.

Исторический облик Константина подвергся сильнейшему искажению. Ясно, что авторы-язычники относились к нему враждебно, и это не может повредить ему в глазах потомства. Но он попал в руки худшего из льстецов, полностью исказившего его память. Это был Евсевий из Кесарии со своей «Жизнью Константина». Человек, который, несмотря на все недостатки, всегда сохранял величие и силу, предстает здесь как лицемерный святоша; множество отрывков обильно свидетельствует о его бесчисленных преступлениях. Двусмысленные похвалы Евсевия по сути своей неискренни. Он говорит о человеке, но имеет в виду его дело, а именно могучую церковную иерархию, учрежденную Константином. Кроме того, не говоря об отвратительном стиле, манера повествования у Евсевия намеренно таинственная, так что в самых важных местах читатель просто-таки видит окружающие его топи и капканы. Вовремя заметив их, читатель может легко заплутать и сделать худшее из возможных предположение касательно того, что от него скрыли.

Предисловие к этой биографии весьма восторженное: «Простирая взор к небесному своду, мы представляем, что блаженнейшая душа его обитает там с Богом. При мысли, что, сбросив всю эту смертную и земную одежду, она облеклась в блистательную ризу света и живет как украшенная неувядаемо цветущим венцом, при этой мысли ум цепенеет и остается безгласен, и предоставляет лучшему украсить ее достойными похвалами». Вот бы так и в самом деле случилось! Если бы мы вместо этого произведения располагали текстом какого-нибудь разумного язычника вроде Аммиана, мы бы подошли несравненно ближе к подлинному историческому феномену, каким был Константин, пусть бы нравственный его облик и не остался незапятнанным. Тогда бы мы, наверное, четко увидели то, что сейчас только предполагаем, — в сущности, Константин никогда не демонстрировал окружающим, что разделяет христианскую веру, но до последних дней хранил при себе свои личные убеждения. В том, что Евсевий вполне способен такой факт замолчать, он сам признался, когда ранее охарактеризовал Аициния как любимого Богом императора, говоря о войне с Максимином Дазой, хотя, конечно, прекрасно знал, что Аициний был всего-навсего язычник, терпимый к чужой вере. Судя по всему, его работа о Константине такого же свойства. Если бы автором ее был кто-нибудь другой, то, по крайней мере, слетела бы маска отвратительного ханжества, безобразящая облик императора, и перед нами предстал бы расчетливый политик, умело использующий все доступные материальные ресурсы и духовные силы, чтобы сберечь себя и власть и при этом не сдаться в руки ни одной из партий. Правда, образ такого эгоиста не слишком-то назидателен, но история предоставляет немало возможностей к нему привыкнуть. Более того, чуть шире взглянув на вещи, легко себе представить, что со времен первого своего политического выступления Константин действовал, повинуясь той движущей силе, которую от начала мира энергическое честолюбие именует «необходимостью». Это то удивительное сочетание поступков и предопределения, которое, словно некая таинственная власть, ведет за собой одаренных людей, стремящихся к власти. Тщетно протестует добродетель, тщетно возносятся к Немезиде миллионы молитв угнетаемых страдальцев; великий человек, часто сам того не сознавая, повинуется велениям высших, и в нем проявляет себя эпоха, хоть он и думает, что сам управляет своим веком и определяет его лицо.

Что касается Константина, тут главное, как мы оцениваем первые его поступки. Как известно, Галерий сперва надеялся, что война с сарматами, а потом — что «гимнастика» с дикими зверями избавят его от нежелательного лица, но бесстрашный герой равно поборол и варваров, и львов и сложил все это к ногам нового старшего императора. Тогда, невзирая на постоянные просьбы Констанция Хлора вернуть ему сына, Галерий, весьма враждебно настроенный, продолжал держать его возле себя, как пленника, и отпустил, только когда отказывать стало уже невозможно. Получив позволение, Константин в величайшем секрете до назначенного срока покинул двор, предварительно искалечив казенных лошадей так, чтобы никто не смог преследовать его. Из этого мы можем заключить, что он серьезно полагал, будто жизнь его под угрозой. Галерий, разумеется, ненавидел его, как отвергнутого и все же не оставившего честолюбивой борьбы сына императора, но освободил его, хотя, весьма вероятно, Константин после гонений оказался сильно замешан в дворцовые интриги. Так или иначе, Констанций имел право вызвать к себе сына.

Присоединившись к отцу, он участвовал в его победоносном походе против шотландских пиктов. Таким образом, Констанций никак не мог находиться на пороге смерти, как утверждают Евсевий и Лактанций, чтобы сделать повествование более

трогательным, и не потому призывал своего сына. Но сразу после возвращения с войны он умирает (в Йорке, 25 июля 306 г.). Согласно распоряжению Диоклетиана, которому все вышеупомянутые были обязаны своим положением, Галерий должен был теперь провозгласить нового августа и предоставить ему нового цезаря. Но если вместе с этим императорским повелением следовало учитывать право наследования, тогда неоспоримый приоритет имели бы сыновья Констанция от его брака с Флавией Максимианой Феодорой, падчерицей старого Максимиана, то есть Далмации, Ганнибалиан и Юлий Констанций. Однако все они были еще слишком юны, старшему едва исполнилось тринадцать.

Вместо этого наследовал Константин. Пожалуй, чересчур было бы в данном случае защищать хитроумные установления Диоклетиана касательно престолонаследия, но согласно их букве Константин был узурпатором. Он родился от сожительницы Констанция в Ниссе (Сербия) в 274 г., и поэтому, строго говоря, не подходил даже по праву наследования. Панегирист Евмений, разумеется, делает его вполне законным преемником и полагает, что он по собственному желанию просил соизволения принять власть у отрекшихся императоров, но это только слова. Тем не менее данный панегирик представляет немалый интерес, так как святость права наследования своего героя автор отстаивает с большой горячностью. Помня о происхождении Константина из рода великого Клавдия Готского, Евмений обращается к нему так: «Род твой столь благороден, что империя не может наградить тебя более высокими, достойными тебя, почестями... Не случайное чужое решение и не неожиданная милость судьбы сделали тебя императором; по рождению заслужил ты власть — дар богов».

Но согласие и благоволение других оказывались в данном случае не таким уж пустячком. Назначил ли его отец впрямую своим преемником, нельзя утверждать с точностью, так как имеющиеся источники слишком пристрастны. Возможно, отец просто призывал своего тридцатидвухлетнего сына, доблестного и опытного в делах военных, помогать оставшейся без опоры семье. Поздние авторы, например Зонара, предлагают очень удобное объяснение:

«Констанций Хлор был болен, и мучился мыслью, что другие дети его окажутся в такой беде. Тогда ангел явился ему и повелел передать свою власть Константину». Прочие, как, например, Евсевий, Лактанций и Орозий, не берут на себя труд отыскать мотивы, но пишут так, как если бы преемничество Константина было самоочевидно. Факт тот, что солдаты его отца объявили его августейшим императором. Ведущий голос при этом принадлежал вождю алеман-нов по имени Крок (или Эрок), которого Константин взял на службу вместе с его людьми, воевать против пиктов. Сыграла, естественно, свою роль и надежда на богатый подарок. Вышеупомянутый панегирист очень трогательно описывает происходившее: «Когда ты впервые выехал перед армией, воины надели на тебя пурпур, хотя ты плакал... Ты хотел убежать от этой их пылкой верности, и пришпорил коня; но это было всего лишь, сказать откровенно, юношеское заблуждение. Какому коню хватило бы сил унести тебя от настойчиво преследовавшей власти?» Бесполезно пытаться прозреть детали данной интриги.

Когда Галерий узнал, что произошло, он сделал, что мог: поскольку отстранить Константина можно было, только начав гражданскую войну, он все же признал его, но только вторым цезарем; Севера он объявил августом, а Мак-симина Дазу — первым цезарем. Подлинное посвящение во властители он получил через несколько лет в походах против германцев, о которых говорилось ранее. Галлией в то время мог управлять только ее спаситель и защитник, и на этом поле отец предоставил сыну по крайней мере подобрать колосья.

Немедленным и неизбежным следствием захвата власти Константином стал захват власти Максенцием. Что позволено сыну одного императора, трудно запретить сыну другого. Из уважения к предписаниям Диоклетиана отец Максенция Максимиан долго противодействовал такой узурпации, но в конце концов не смог устоять перед соблазном и присоединился к сыну. Хотя Максенция, вероятно, уже знали как человека дурного и развратного, союзниками его стали ожесточенные римляне, покинутые императорами, и преторианцы, значение которых настолько умалилось. Не исключено также, что последний гневный уход Диоклетиана из Рима в 303 г. был как-то связан с началом этого заговора. Галерий в результате перестарался, обложив древнюю столицу мира новыми налогами наравне с прочими областями. Максенций получил себе в сторонники нескольких офицеров, крупного поставщика и преторианцев, которые тут же провозгласили его императором. Городской префект, пытавшийся противодействовать им, сразу был казнен. Похоже, что в руках захватчика в скором времени оказалась вся Италия.

Долее Галерий не мог оставаться сторонним наблюдателем. Он отправил туда соправителя Севера (307 г.), который, унаследовав владения Максимиана, вроде бы считался главным над Италией. Но армию Севера, состоявшую преимущественно из ветеранов Максимиана, нельзя было послать против Максенция. Последовали предательство, отступление, и в Равенне или близ нее Север сдался в плен; но и это не спасло несчастного императора от подлого убийства. Галерий

собрался мстить за его гибель, но его армия оказалась столь же ненадежной, и он вынужден был поспешно вернуться.

Между тем старый Максимиан, как уже говорилось, присоединился к своему сыну — если, конечно, Максенций в самом деле родился от него и сирийки Евтропии и не был подкидышем, как утверждают некоторые язычники и христиане, свидетельство которых о значимости, снова придававшейся теперь праву наследования, следует здесь отметить. И действительно, отношениям между отцом и сыном настолько недоставало сыновнего почтения, что возникновение подобных слухов было совершенно неизбежно. Да и солдаты не радовались старику — возможно, они боялись его муштровки, но, так или иначе, когда через короткое время он попытался повести их против сына, поддержки он не нашел. Они отказались, не скрывая презрения, после чего Максимиан оправдался, будто проверял их верность. Если верить Зонаре, то он даже навестил предварительно сенат и объявил там своего сына недостойным власти. В любом случае тут примечательно забвение принципов правления Диоклетиана, особенно учитывая враждебность Максимиана к сенаторам (о чем говорилось в главе 2 данной книги).

Когда беспокойный старец увидел, что надежды его на верховную власть рухнули, он направился в Галлию, стремясь добиться от Константина того, чего не смог получить от Максенция. У него оставался еще один залог могущества — его младшая дочь Фауста; он отдавал ее Константшу и вдобавок дарил его титулом августа. Максимиан хотел дождаться, пока Максенций вступит в войну с Галерием, который уже снова был готов к схватке, и затем вмешаться с превосходящими силами. Но Константин принял дочь и титул и отказал тестю в какой бы то ни было дальнейшей помощи, после чего Максимиану оставалось только вернуться в Рим и пытаться установить более-менее дружеские взаимоотношения с собственным сыном.

В нашем распоряжении имеется торжественная речь, произнесенная по случаю этой свадьбы. Наверное, ни одному оратору «на случай» не давалось задания сложнее, нежели этому безымянному галльскому ритору, обязанному обо всем умолчать и одновременно обо всем сообщить; и нужно признать, что он исполнил это задание талантливо и тактично. Особый интерес для нас представляют поздравления с долгожданным учреждением династии: «Пусть владычество Рима и потомство императоров будут равно вечны и бессмертны!» Примечательно, что о сыне Константина от первого брака с Минервиной, Криспе, не упоминается, тогда как о самом браке, долженствующем подтвердить высокие моральные качества жениха, говорится много. Зато оратор превозносит счастье Константина, принявшего в дом Геркулианов, сыновей Фаусты.

Пока Галерий готовил поход на Италию, Максимиан опять сцепился с Максенцием. Дело дошло до того, что он прилюдно попытался сорвать с сына пурпурное одеяние. Снова ему пришлось покинуть Рим.

Среди всеобщего смятения Галерий решил прибегнуть к рассудительности престарелого Диоклетиана, который по его просьбе (307 г.) явился на встречу в Карнунт (Петронелль, неподалеку от Геймбурга). У Лактанция старший император сошел с ума за несколько лет до описываемых событий, но соправители, похоже, не потеряли доверия к силе его разума, когда встретились на Дунае. Здесь первым делом вместо убитого Севера провозгласили августом испытанного пол- кового товарища и друга Галерия — это был иллириец Ли-циний. Старый Максимиан тоже пришел на встречу, но вместо утешения и помощи его опять стали убеждать отречься. Лициний стал единственным законным властителем Запада. Но Максимиан не мог долее выносить бездействия, и, едва оказавшись вне поля зрения своих бывших соправителей, то есть в Галлии, при Константине, он поддался искушению получить за счет своего зятя то, чего не удалось обрести за счет сына. Пока Константин воевал с франками, Максимиан в третий раз надел пурпур, захватил сокровищницу и арсенал и укрылся в твердыне Арелат (Арле), а когда отсутствовавший август поспешно начал преследование, бежал в Массилию. По-видимому, там его люди выдали его зятю, который, как нам сообщают, опять даровал бунтовщику жизнь и свободу. Но Максимиан воспользовался ими лишь затем, чтобы сплести новый, опаснейший заговор, о котором Константину сообщила сама Фауста. Делать было нечего, пришлось проводить хитроумного старца в мир иной. Ему позволили выбрать способ смерти, и он избрал петлю (310 г.). В начале XI века могилу его обнаружили в Марселе. В свинцовом гробу внутри мраморного саркофага лежало прекрасно сохранившееся тело, богато наряженное и набальзамированное. Архиепископ Реймбольд из Арле бросил врага Бога и Константина в море со всеми принадлежностями, и говорят, что на этом месте вода и доселе бурлит день и ночь.

Как, наверное, омрачали эти события последние годы Диоклетиана! Тщеславие, подкрепленное правом наследования, уже наполовину уничтожило его систему, и он был обречен испить чашу скорби, наблюдая, как за пределами императорских фамилий вновь поднимает голову узурпация, явившаяся из III века, когда Элиан и Аманд, Каравзий и Аллект, Ахилл и Юлиан и их сторонники заплатили реками крови за свои посягательства на власть. Управителя Африки,

фригийца Александра, чьей поддержки наивно домогался Максенций, почти без его на то желания воины облачили в пурпур (308 г.). Нельзя винить старого садовника из Салон, пытавшегося прозреть будущее, за убежденность, что перед глазами его проходят тяжелейшие бедствия и сама гибель империи. Естественно, гражданские войны всегда отражались на ходе гонений; вспышки ужасающей жестокости, случавшиеся с 308-го по 313 г., перемежавшиеся периодами относительного затишья, непосредственно связаны с вопросами наследования. О Максенций Евсевий сообщает, что он долгое время из ненависти к Галерию щадил христиан и даже сам объявлял себя христианином. Максимин Даза тоже был то мягок, то жесток по отношению к христианам, в зависимости от того, хотел ли он бросить вызов или польстить Галерию.

Тем временем проблема престолонаследия несколько упростилась. Галерий умер в 311 г., будто бы от отвратительной немочи, в Сардике, что в Мезии. Позволим Лак-танцию услаждать свою душу описанием того, как черви пожирали нижние части туловища Августа, и добавим только, что об этом правителе, действительно безжалостном к христианам, язычники говорили: «Муж и похвальных нравов, и великий в военном деле». Следует также помнить, что у него достало силы характера ли: лить престола собственную семью и передать императорскую власть своему другу Лицинию, которого он считал наиболее достойным. Незадолго перед смертью Галерий признал проигрыш могучего государства в борьбе против христиан, издав производящий гнетущее впечатление эдикт о терпимости, в конце которого он просит, чтобы те, кого прежде преследовали, молились за него перед своим Богом. Соправители его согласились с этим указом — Константин, Лициний и косвенно — Максимин Даза, постольку, поскольку распоряжение его высшего чиновника может считаться согласием. Христиан, вернувшихся домой из темниц и рудников, радостно приветствовали даже язычники, настолько люди устали от ужасов. Детали последующих установлений не сохранились, и о них можно только догадываться из позднейшего. Однако, по всей видимости, установления эти были строги и изложены в том же мрачном тоне, что и эдикт.

Трудности, угрожавшие наследованию, внезапно разрешились, мирно и неожиданно. Максимин Даза, некогда цезарь Галерия, уже принявший в другой связи титул августа, решил, что имеет основания опасаться Лициния, считавшегося августом западной части империи, якобы собравшегося уменьшить его восточные владения. Каждый направил против другого армию, но посреди Геллеспонта, встретившись на борту корабля (311 г.), они договорились и сделали этот пролив и архипелаг границей своих владений, так что Аицинию достался весь полуостров между тем морем и Адриатическим. Что о таком разделении думал Диоклетиан, неизвестно.

В то же время военачальники Максенция подавили мятеж в Африке. Узурпатор Александр был побежден, схвачен и задушен, и несчастную провинцию строго наказали. Город Кирта испытал такие жестокости, что при Константине его пришлось отстраивать заново. Празднуя в Риме триумф, Максенций припомнил о древних раздорах между Карфагеном и столицей.

Теперь снова было два западных и два восточных правителя, Константин и Максенций, Лициний и Максимин Даза. Но их отношения сильно отличались от гармонического «тетрахорда», который некогда объединял Диоклетиана и его соправителей. Не существовало иерархии и взаимных обязательств; каждый август был сам по себе и на прочих взирал недоверчиво. Свои владения они строго разграничили; никто не смел распоряжаться в чужих землях, но никто и не помогал другому, не выговорив себе предварительно выгодных условий. Империя оказалась разделена на четыре части, и Константин, первым нарушивший мир, теперь должен был создать некое новое единство вместо существовавшего ранее.

Проследим же историю его жизни, уделяя внимание прежде всего тому, как и какими средствами он справился с этой задачей.

Среди трех своих соправителей он выбрал наиболее знающего и в то же время наиболее законного и вступил с ним в союз: Лициний обручился с Констанцией, сестрой Константина. Затем они начали войну с Максенцием (312 г.). Максенций тем временем объединился с Максимином, в основном против Лициния, у которого он желал отнять Иллирийскую область. Попытки примирения со стороны Константина ни к чему не привели; Максенций презрел «убийцу своего отца» и начал готовиться к сражению с ним. Кто первым пошел на открытый разрыв, неизвестно. Евсевий приписывает эту заслугу Константину, причем даже превозносит его и говорит о проявленной им милости к несчастному измученному Риму: «Константин сказал, что жизнь ему не в жизнь, пока царственный город будет оставаться под бременем бедствий». Едва ли это верно характеризует нам мотивы Константина, но зато подход Евсевия характеризует весьма полно. Максенций собрал огромные войска, которые не предали его в критический момент и, конечно, добыли бы для него победу, если бы он больше понимал в стратегии и не бездействовал бы трусливо. Напротив, силу Константина составляли не великолепные легионы, служившие еще покойному Констанцию Хлору, за которые его восхваляли писатели обоих вер, и не любовь христиан, и, может быть, даже не отчаяние растоптанной Италии, ибо вряд ли в этой борьбе кто-то прислушивался к голосу народа,

— но, скорее, войнолюбивая мощь ста тысяч человек, преданных самому Константину (бриттов, галлов и варваров), и собственная его личность. Если бы эти битвы воспел менее сомнительный источник, мы, возможно, сочли бы их столь же совершенными стратегически, как и итальянскую кампанию молодого Наполеона, с которой их объединяет несколько схожих сражений. Штурм Суз, бой при Турине, где тяжелую кавалерию противника — лошади и люди сплошь покрыты броней — удалось разбить с помощью железных шаров, вход в Милан, кавалерийская атака при Брешии — все это напоминает начало похода 1796 года, и страшную битву Константина при Вероне можно сравнить с захватом Мантуи. Противник тоже вполне достоин сопоставления с врагами Наполеона. Люди Максенция сражались храбро и упорно и не желали переходить на сторону Константина, так что ему пришлось заковать всех пленных воинов Вероны в цепи, чтобы они не смогли пробиться обратно к Максимину. Предать их смерти значило поступить несогласно с новоявленными идеалами гуманности и интересами государства, а на слово их, по-видимому, нельзя было положиться; поэтому мечи их перековали на кандалы. Тем не менее Верона сдалась только после того, как другая часть армии Константина штурмом взяла Аквилею и Модену.

Имея столь надежную опору, можно было попытаться завоевать всю Италию. Максенций и его полководцы были побеждены неожиданностью. Пусть они и заняли своевременно и без особых усилий альпийские проходы, они не могли пешими осаждать Альпы целиком и долину, где лились потоки крови. Стратеги могут попробовать установить, не было ли у Максенция особых причин допустить противника почти к Риму. Наши авторы представляют его то трусом, прячущимся за городскими стенами, то суеверным чародеем, и в обоих описаниях есть доля истины. Нет никаких сомнений, что жители Рима ненавидели тирана. В стычках с его солдатами погибло шесть тысяч человек, и врагов ему добавляли его распутство и невероятные прихоти. Но не это решило исход дела. На стороне Максенция сражалась огромная армия, в Риме имелось достаточно запасов на случай осады, вокруг города можно было прорыть защитные рвы, так что не составляло никакого труда остановить продвижение противника и даже, пожалуй, его обойти и взять в кольцо. Но если знаменитая битва, начавшаяся у Красных скал, в девяти милях от Рима, и закончившаяся у Мильвийского моста, действительно проходила так, как рассказывают наши авторы, оправдать ее стратегический замысел невозможно. Дело в том, что вся армия Максенция выстроилась в одну линию, так, что сзади нее оказался Тибр, — при том, что через этот стремительный поток других переправ, помимо Мильвийского моста и парома неподалеку, не существовало. Поражение в такой ситуации было неизбежно. Кто избежал мечей, погиб в волнах. Преторианцы, остававшиеся рядом с Мак-сенцием, своим ставленником, держались дольше всего. Но он тоже бежал и сгинул в водах реки, а преторианцы приняли смерть от мечей, как некогда полк Каталины в Пистойе, там, где они начинали битву. Гибель их была весьма выгодна Константину, ибо иначе когда-нибудь ему все же пришлось бы с ними считаться. Теперь он мог вовсе избавиться от преторианского лагеря.

После этого сражения запад наконец обрел своего господина; Африка и острова достались ему же. Когда столкнулись два незаконных претендента, победа досталось, как и следовало ожидать, тому, кто был более талантлив и более решителен. Константин, которого прежде знали только по войнам с варварами, внезапно оказался в центре всеобщего внимания, в лучах героической славы. Теперь следовало сообщить своему могуществу, насколько возможно, основания, отличные от военного преимущества.

Если верить только ораторам «на случай», первое, что сделал Константин, отменив самые зловредные распоряжения Максенция, — это воздал почести сенату и возвысил его с помощью отчислений из провинций. Но не требуется большой проницательности, чтобы понять, что после всего, что произошло за последние три года, сенат никак не мог участвовать в управлении государством. Константин, конечно, мог, дабы польстить христианам, возродить почет, прежде оказывавшийся этому учреждению, но он не ждал никакой поддержки с его стороны и поэтому, конечно, оставался к сенату безразличен. На деле он, вероятно, уже вынашивал планы, подразумевавшие раскол между ним и этим собранием патрициев. Спустя девять лет у панегириста, называющего сенат цветом мира, а Рим — крепостью народов и властелином земель, сквозь строчки, тем не менее, проглядывает истина: «Эта достойная душа римского народа [т. е. сенат] воскресла в древнем своем величии, без дерзкого упрямства и печального смирения. Наставления божественного владыки направили ее на должную тропу, и, слушаясь каждого его жеста, она не трепещет перед ним, но внемлет его доброте». Другими словами, сенат, большей частью состоявший из язычников и не имевший влияния на правительство, оказался в положении, внешнем по отношению к императору. Сенаторы продолжали собираться регулярно, и эти сессии даже еще отмечали в календаре (senatus legitimus, «законные собрания сената»), но, за вычетом января, они проходили только раз в месяц.

Тем временем император объявил себя покровителем христианства. Вопрос о его личных убеждениях можно пока опустить; давайте спросим себя, что могло заставить римского императора

сделать такой шаг. Христиане составляли незначащее меньшинство, которое незачем было беречь; почему решил тщеславный человек, что терпимость к ним может помочь добиться власти или хотя бы просто сослужить какую-то службу?

Загадка легко разрешится, если мы вспомним, что большая часть язычников, к чьему мнению прислушивались, не желала дальнейших гонений, что им не нравилось происходящее в жизни общества, что их беспокоила растущая кровожадность толпы, что сравнение между Галлией, отнюдь не цветущей, но хотя бы мирной, и безжалостной политикой востока и юга говорило вовсе не в пользу последних. Любой террор оказывается несостоятельным, когда средний человек успокаивается и начинает задумываться о возможных неприятных последствиях. Фанатики, мечтавшие о непрекращающихся гонениях, или погибли согласно собственной логике, или к ним перестали прислушиваться. Даже императоры-гонители иногда устраивали своим подданным передышки, когда к разнице вер относились спокойно, или по политическим соображениям, или просто чтобы позлить Галерия, и сам Галерий, когда в 311 г. заболел этой страшной болезнью, тоже издал весьма примечательный эдикт о терпимости. Два эдикта о терпимости Константина, появившиеся в Риме и Милане (312-й и 313 г.) ничего нового собой не представляли, это было даже не оружие против других императоров, напротив, он убедил Лициния, к тому времени женившегося на его сестре, присоединиться к миланскому указу (зима 312/313 г.), и оба вместе договорились с Максимином Дазой, что он также поддержит это постановление. Терпимость к христианам в данном случае — дело вынужденное и не требует дальнейших объяснений. В миланском эдикте, который подписал также Лициний, Константин пошел дальше. Этим указом он даровал неограниченную свободу всем культам, что подразумевало и многочисленные христианские секты. Государственное признание означает, что христианство оказалось приравнено к вере в старых богов; оно приобретает характер корпорации и получает обратно церкви и прочую корпоративную собственность, которая к тому времени перешла во владение государства или в частные руки.

Однако в одном пункте новый властелин Востока все-таки обнаружил свое подлинное отношение к вопросу о римской государственной религии — а именно глубинное к нему безразличие. После битвы у Мильвийского моста, помимо других почестей, сенат и народ наградили его триумфальной аркой. Арку поставили поспешно, отчасти воспользовавшись изящными фрагментами арки Траяна.

Возможно, знали, что Константин иногда называл Траяна «стенным лишаем» из-за множества надписей, увековечивавших его память; тем меньше колебались, строя памятник из Траяновых камней. Надпись на арке гласит, что Шлавий Константин Максим победил тирана и всех его сторонников «по божественному наитию» (instinctu divinitatis); но под этими словами можно различить более ранний текст: «по мановению Юпитера Оптима Максима» (nutu I.O.M.)[1]. Вероятно, изменение внесли, когда император впервые увидел надпись (которую составили без его ведома), то есть во время его приезда в Рим в 315 г., когда его религиозная позиция, по-видимому, определилась четче. Первоначальный текст показывает, что непосредственно после победы было ясно только, что император — римлянин-язычник. Исправленный вариант этого не опровергает и вовсе не представляет Константина христианином; просто-напросто не указывается прямо его исповедание веры и остается достаточно простора для монотеизма. Как известно, некоторые рельефы на арке изображают языческие жертвоприношения Аполлону, Диане, Марсу, Сильвану, а также смешанные жертвоприношения, называвшиеся suovetaurilia[2].

Не только Евсевий, но и правительственные учреждения называют Максенция «тираном», что означает, пользуясь современными выражениями, «незаконный правитель», «узурпатор». Определение было равно приложимо и к Константину, но все убедили себя, что Максенций на самом деле не являлся законным наследником и его мать якобы это признала. Когда людей уже не принуждали терпеть злодеяния принцев крови, как только народ смог выбирать, он сразу затосковал о наследственности императорской власти и взмолился о династии. С тех пор в панегириках Константин стал единственным законным правителем, а все прочие — тиранами.

Перед лицом столь могучих честолюбивых устремлений система усыновлений Диоклетиана, во многом основывавшаяся на идее самоотречения, не работала. Тогда он покончил с собой (313 г.) — или уморив себя голодом, или приняв яд. Константин и Лициний в своей необъяснимой слепоте хотели заманить его в западню и пригласили его на свадьбу Констанции в Милан, откуда он, без сомнения, не выбрался бы живым или, по крайней мере, свободным. Диоклетиан не доставил им этого удовольствия, отговорившись своими шестьюдесятью восемью годами. Тогда они послали ему письма с угрозами и обвинениями, что он якобы поддерживал Максимина Дазу и в свое время —

---

[1] Этот «более ранний текст» на самом деле плод заблуждения. *(Примеч. Мозеса Хадаса.)*

[2] Жертвоприношение свиньи, овцы и быка.

Максенция. Диоклетиан слишком устал от жизни или слишком уверился в том, что он обречен рано или поздно попасть в руки Дазы, и перспектива быть задушенным кем-то еще радовала его не больше. Хотя он умер как частный гражданин, в последний раз в римской истории ему устроили апофеоз в древнем, языческом смысле, видимо, в основном стараниями сената. Богато украшенный маленький храм при дворце в Салонах, некогда бывший святилищем Эскулапа, вероятно, не что иное, как гробница великого императора, воздвигнутая еще при его жизни, и саркофаг с рельефами, изображающими калидонскую охоту, продолжает хранить его тело. Но Мелеагр, борющийся с вепрем, здесь не кто иной, как сам Диоклетиан в переломный момент своей жизни. Не все могли видеть эту скульптуру: примерно спустя поколение гроб закрыли пурпурным покрывалом.

Чем бы были без него правители этого периода? Самое большее — военачальниками с более или менее неопределенными видами на императорский трон, они замышляли бы убийства, которые осуществляли бы солдаты или заговорщики. Только упорядоченность, внесенная им, только период свободного цезаризма вновь позволили говорить о праве преемственности, а вскоре также и о наследственном праве, даже если иногда права эти имели весьма сомнительную ценность. Без Диоклетиана не было бы Константина, то есть силы достаточной, дабы в целости и сохранности поместить империю в совершенно новую ситуацию, при этом не разрушив ее, и передвинуть центр тяготения верховной власти в новое место, согласно требованиям наступившего века.

Следующим обреченным был Максимин Даза. Развратный и необычайно суеверный, он, тем не менее, обладал той дерзкой решимостью, которая составляет необходимое украшение властелина и которая, вероятно, и побудила Галерия усыновить его. В остальном правление его, если взять его отношение к христианам, представляется временем же-стокостей и бессердечия; но едва ли стоит судить Максимина на основании частностей, ибо, как впоследствии при Юлиане, соправителями его стали маги и жрецы. Он прислушался к настойчивым просьбам двух других императоров и присоединился к эдикту о терпимости, но явно по принуждению, так что христиане, помня его предыдущие уловки, не спешили обнаруживать себя.

Годы и годы его не оставляло чувство, что однажды ему придется отстаивать свою жизнь, и поэтому он сразу вступил в тайный союз с узурпатором Максенцием, как Лициний — с узурпатором Константином. Но Максенций не помог ему в этот опасный час, может быть, потому, что знал, что Дазе уже нельзя помочь; Максимин же собрал все свои силы, дабы снова внезапно напасть на Аициния (313 г.). С молниеносной скоростью он прошел из Сирии через Малую Азию в Европу и захватил крепость Византии и Гераклею на земле своего противника. Битва с изумленным неприятелем состоялась между Гераклеей и Адрианополем. Хотя два вождя совершенно того не желали, но очевидно было, что это схватка между христианством и язычеством, так как все знали: одержав победу, Максимин возобновит гонения на христиан, притом самые жесточайшие. Однако весьма сомнительно, задумывались ли вообще об этом сражающиеся армии, хотя у Лактанция все войско Лициния выучило наизусть молитву, которую якобы ангел сообщил императору во сне. Максимин оказался жертвой или большей искусности в делах военных, или репутации своего противника, к которому переметнулась часть его собственного воинства. Бежав, он вновь собрал свои силы в Каппадокии и намеревался загородить укреплениями перевалы Тавра, но в Тарсе, что в Киликии, умер, вероятно, по причинам естественного характера. Лициний, уже взявший Никомедию и издавший там новый указ о терпимости, беспрепятственно овладел Азией и Египтом.

Константин, несомненно, наслаждался зрелищем того, как между собою сражаются два законных правителя, и сознанием того, что теперь их стало на одного меньше. Кроме того, Лициний весьма обязал его, устранив семьи Галерия, Севера и Максимина Дазы, включая их ни в чем не повинных детей; даже Приску и Валерию, вдову и дочь Диоклетиана, позднее схватили в Фессалониках и обезглавили. Такие жестокости при диоклетиановской системе правления были бы бессмысленны... да нет, невозможны. Но когда в народе снова начали задумываться о правах наследования, такие принцы и принцессы представляли большую опасность. Новый владыка Востока решил проблему обычным способом султанов: убивать, пока возможных претендентов не останется. Будучи правителем, Лициний достойно послужил крестьянству, из которого сам вышел, и делу процветания городов; когда он называет литературное образование ядом и чумой для государства, он, вероятно, выражал вполне естественное желание, чтобы в этот тяжелый для империи период было меньше ораторов (то есть законников) и больше крепких и умелых рук. Самое страшное злодеяние, которое ему приписывают, — он якобы казнил две тысячи антиохийцев в их цирке, потому что они насмехались над ним, — современные историки считают басней; но он никогда не останавливался перед кровопролитиями, если в этом чувствовалась нужда, например перед убийствами богачей, о которых мы слышали. Не только их имущество, но и их женщины тоже попали в руки старого распутника.

Но так или иначе, со времен Диоклетиана повелось, что предполагаемые наследники или цезари должны были обеспечивать безопасность трона. Константин рискнул и предложил этот

вариант некоему Бассиану, женатому на одной из сестер императора, Анастасии. Но его брат Сенецион, родственник Лициния, восстановил Бассиана против самого Константина. Император счел необходимым убрать с дороги своего зятя и потребовать от другого своего зятя выдать Сенециона. Лициний дерзко отказался; в одном из городов на западной границе его владений, Эмоне (нынешняя Любляна), статуи Константина уже были низвергнуты. Все эти события, за которыми скрываются непрекращающиеся семейные интриги, повлекли за собой большую войну, где Константин вынужден был атаковать. Наконец он вступил во владения своего зятя, разбил его (8 октября 314 г.) в Кибале-на-Саве (современное Севлиево) и преследовал его вплоть до Фракии, где на Мардийской равнине произошла вторая битва, видимо, меньшего значения. Лициний, со своей стороны, объявил командующего пограничными войсками Валента цезарем. Таким образом, первым условием мира стало превращение Валента обратно в частное лицо, чтобы не возникло третьей династии. Помимо того, Лициний должен был уступить все свои европейские владения, то есть земли к югу от Дуная вместе с Грецией (исключая Фракию) и побережье Понта.

Вот к чему привел законного императора его ранний союз с узурпатором, настолько превосходившим его силой духа, против которого после смерти Галерия следовало объединиться всем остальным, чтобы удержать свое положение. Чем больше сомнений вызывало его происхождение, тем ощутимее становилась необходимость избавиться от всех сколько-нибудь законных претендентов. Совершенно уничтожить Лициния пока еще было сложно, но Константин теперь явно главенствовал. Внешне между правителями установилось полное равенство. Спустя некоторое время (317 г.) оба объявляют своих сыновей цезарями: Константин — Криспа и младшего Константина, Лициний — Лициниана. Но сравнение возрастов этих цезарей выдает неравное положение императоров; Крисп был энергичный юноша, который вскоре уже мог командовать армией, тогда как Лициниан был полуторагодовалый малыш, причем единственный сын престарелого отца, по смерти которого он бы, конечно, еще оставался беспомощным, и отделаться от него не составило бы трудностей. Поэтому-то законный император, в полном соответствии с заветами Диоклетиана, стремился усыновить товарищей по оружию, как Валент и позднее Мартиниан, и провозгласить их цезарями; но Константин не собирался этого допускать. Себе он позволил на всякий случай объявить цезарем, помимо Криспа, старшего сына от первого брака, еще совсем юного сына Фаусты, своего тезку.

Затем Константин терпеливо ждал до 323 г., когда к нему перешли все владения Лициния. Он позволил плоду созреть, и тот упал ему в руки под тяжестью собственного веса.

Это были годы, решившие судьбу мира, когда император внимательно наблюдал за происходящим и думал, может ли христианство пригодиться умному правителю. Когда, видя стремительный рост общины, четкость ее иерархии, новизну объединений-соборов, все свойства современной ему христианской религии, он убедился, что эта сила велика и вполне может стать опорой трона, — и что пора уже заняться ею, потому что эта сила уже начинает заниматься им, императором, — он понял, что у него есть несокрушимое средство воздействия на Аициния. Аициний в те же годы оказался столь глуп, что обратил свой праведный гнев на Константина против христиан (после 319 г.), как будто они были ответственны за яростную жажду власти его противника. Если бы он имел возможность или желание возобновить гонения, он бы мог, к примеру, начать террор, и тогда появился бы широкий простор для столкновения двух партий. Но он ограничился исключением христиан из числа приближенных ко двору и мелкими притеснениями, что, тем не менее, превратилось в некое полугонение из-за непокорства сильно возросших числом сторонников новой веры. Христиане всех общественных уровней, от епископов до самых ничтожнейших, повели просто-таки пропаганду против Лициния в пользу Константина, еще ускорившего процесс, пойдя на явные провокации. Та благосклонность, которую он всегда выказывал к христианам в своих землях, неминуемо должна была ожесточить тех, кто жил под властью Аициния и ощущал на себе совершенно иное. Каждый собор, каждая встреча епископов представляли теперь опасность, и Аициний запретил их. Каждое богослужение являло собой сборище подрывных элементов, и Аициний велел мужчинам и женщинам встречаться отдельно, а потом вовсе изгнал культ из городов на поля, под предлогом, что на открытом воздухе находиться полезнее, нежели в молитвенных домах. Духовенство пыталось повлиять на мужчин через женщин, и Аициний издал указ, дабы женщины отныне выслушивали религиозные наставления только из женских уст. Он понизил в должности христиан-офицеров; некоторых, видимо, особо подозрительных епископов предал смерти, некоторые церкви разрушил или закрыл. «Он не знал, — вздыхает Евсевий, — что за него в этих церквях возносились молитвы. Он думал, что мы молимся только за Константина». Аициний действительно не издал такого постановления, которое бы противоречило эдикту о терпимости, и ариане вроде епископа Евсевия из Никомедии вполне могли пользоваться его благосклонностью и оставаться с ним до конца, но он дошел до того, что конфисковал имущество, ссылал на пустынные острова, отправлял в рудники, лишал различных гражданских привилегий, про-

давал в рабство даже высокочтимых и высокообразованных людей. Правитель, некогда терпимый, даже находивший удобным держать подданных в неведении насчет своей личной веры, наконец превратился в совершенного язычника и окружил себя египетскими магами, чудотворцами и жрецами. Он советовался с толкователями снов и оракулами, среди прочих — с Аполлоном Милетским, который отвечал двумя угрожающими строчками гекзаметром. Евсевий пишет, что в конце концов он собрал своих самых преданных друзей и телохранителей в священной роще, уставленной статуями богов. После торжественного жертвоприношения он произнес речь, краткое содержание которой сводится к тому, что предстоящая схватка должна подвести итог распре между старыми богами и новым чуждым Богом.

Что подвигло Лициния на этот отчаянный и бессмысленный шаг? По недолгом размышлении неизбежно возникнет предположение, что он тоже благоволил к христианам и в этом соперничал с Константином. Но его терпение истощила злоба противника, и Лициний проклял свою прежнюю снисходительность к христианам, у которых был такой вождь. Нападение на земли Константина оставалось столь же невозможным, как и в 314 г. Евсевий полагает, что он восхваляет своего героя, когда пишет, что Константин начал войну только из жалости к подданным Лициния, то есть без малейшего повода.

Неожиданно во владения Лициния вторглись готы, перебравшись через Дунай. Константин, которого никто не приглашал, вышел против них, отбросил их и заставил выдать захваченных пленников. Но Лициний сетовал на это вторжение в подвластную ему область — если опираться на свидетельство немногословного и позднего, но тем не менее важного компилятора, так называемого Анонима Валезиана. В этой связи следует обратить внимание на то, что говорит Иордан, знаменитый готский историк: «Часто бывало, что их так и приглашали [римские императоры]: например, при Константине их позвали, и они подняли оружие против его родственника Лициния; победив, они заперли его в Фессалонике и, лишенного власти, пронзили мечом от имени Константина-победителя». Каждый, кто пристально изучал деятельность Константина, понимает или может себе представить, как соединить эти обрывки в единое целое. Так или иначе, вторжение готов стало одним из непосредственных предвестий войны.

Опустим конкретные этапы этой последней схватки за мировое господство, второй битвы при Акции. С Фессало-никами и прочими греческими портами в распоряжении Константина после 314 г. оказалось двести военных кораблей; у Лициния, контролировавшего восточные берега империи, их было триста пятьдесят. То же соотношение наблюдалось и в других родах войск: всего у Константина было сто тридцать тысяч человек, а у Лициния — сто шестьдесят пять. Такого размера войска не сходились для братоубийственной схватки со времен Септимия Севера. Но Константин обладал огромным преимуществом: под его знаменами выступили иллирийцы. Под Адрианополем, где он одержал первую победу, пало тридцать четыре тысячи человек. Затем его флот под командованием Криспа разбил флот Лициния, которым командовал Абант (Аманд), неподалеку от Геллеспонта, и налетевшая буря совершенно уничтожила корабли побежденного. Лицинию нельзя было долее оставаться в Европе, и он прошел от Византия до Халкедона, где провозгласил Мартиниана, одного из своих приближенных, цезарем. В начале войны шаг этот мог принести победу. Не обращая внимания на протесты узурпатора, законный император имел возможность склонить на свою сторону трех или четырех надежнейших военачальников, своевременно усыновив их по образцу Диоклетиана. Но сейчас его окружали отступничество и измены, и предпринимать что-либо было слишком поздно.

После передышки борьба началась снова. Лициний спешно отозвал Мартиниана, стоявшего в Лампсаке, чтобы предотвратить высадку врага близ Геллеспонта, и велел ему присоединиться к основной армии на Босфоре, который Константин успешно пересек. Наконец под Хри-сополем близ Халкедона произошла решающая битва, после которой выжили едва ли тридцать тысяч из ста тридцати тысяч солдат Лициния, включая готов. Несчастный император бежал в Никомедию, где его тут же осадили, а Византии и Халкедон распахнули перед победителем ворота. Констанцию, жену Лициния и сестру Константина, пришедшую в лагерь, чтобы договориться со счастливцем, клятвенно заверили, что жизни ее мужа ничто не угрожает. Затем старый боевой товарищ Проба и Диоклетиана вышел из города, преклонил колена перед победителем и сложил с себя порфиру. Его отослали в Фессалоники, а Мартиниана — в Каппадокию. Но на следующий (324-й) год Константин счел более целесообразным предать их смерти: «Он был научен примером своего тестя Максимиана Геркулия и боялся, что Лициний попытается вернуть порфиру, к несчастью для империи». Поскольку речь идет о Константине, потомство вполне бы удовлетворилось такой неопровержимой мотивировкой, но вместо этого позднее родилась легенда о фессалоникийском военном заговоре в пользу сверженного правителя, о котором бы Евсевий, конечно, сообщил, будь это правда. Но, не сходя с выбранной дороги, писатель минует клятвопреступление Константина и прочее, кратко отметив, что враг Бога и его дурные советчики были наказаны согласно военным законам. То есть,

видимо, старый император был удушен, а цезарь убит своими сопровождающими. Мы еще скажем о судьбе Лициниана, столь же несчастной.

Евсевий воспевает эту войну как борьбу двух начал. Лициний — враг Бога и сражается против Бога. С другой стороны, Константин бьется под непосредственным Божественным покровительством, видимым воплощением которого стал зетеюп, известный талисман, сопутствовавший его армии. Нет недостатка в небесных видениях и духах, множества которых проходят через города Лициния и совершают разные чудеса. Евсевий не фанатик; он прекрасно понимает вполне мирской характер Константина и его холодную безжалостную жажду власти и, конечно, знает о настоящих причинах войны. Но он — первый совершенно неискренний историк античности. Его тактика, пользовавшаяся огромным успехом у современников и в течение всего Средневековья, сводится к тому, чтобы изобразить первого крупного защитника Церкви идеалом гуманности во всех отношениях, а главное — идеалом для будущих правителей. Поэтому у нас нет подлинного портрета гения, не знавшего слова «нравственность», когда дело касалось политики, и рассматривавшего религиозный вопрос исключительно с позиций политической выгоды. Мы видим, что он счел нужным теснее сблизиться после этой войны с христианами, и таким образом возвышение христианства до уровня государственной религии завершилось. Но Константин был честнее, чем Евсевий; он скорее позволял событиям происходить, нежели пытался влиять на их ход, и был не более склонен предписывать подданным какие-то определенные верования, чем Наполеон в своем конкордате.

Однако желание сойти за христианина было большой дерзостью с его стороны. Вскоре после Никейского собора Крисп, его замечательный сын от первого брака, ученик Лактанция, внезапно погиб в Поле, что в Истрии (326 г.), а потом его жена Фауста, дочь Максимиана, утонула в ванне. Одиннадцатилетний Лициниан тоже был убит, видимо, в то же время, что и Крисп. То ли Фауста играла по отношению к своему пасынку роль Федры, то ли она настраивала его против отца, или же заботилась о возвышении собственных сыновей, или это престарелая Елена, оплакивавшая внука, сподвигла Константина убить свою жену — вопросы, требующие обсуждения. Но о политической значимости этого мрачного дела свидетельствует факт, что в числе жертв оказался Лициниан. В связи с данной историей обычно вспоминают о Филиппе II или Петре Великом; но настоящее сходство прослеживается с ситуацией Сулеймана Великолепного и его сына, благородного Мустафы, павшего жертвой заговоров Роксаланы. Там, где действует право наследования, неизбежно возникает некое подобие власти султанов, при которой правители никогда не чувствуют себя в безопасности, поскольку их окружают всякие братья, сыновья, дядья, племянники и кузены, каждый из которых в один прекрасный момент может оказаться наследником, что ведет к широкому применению разных спасительных удавок и прочего. Здесь главой был Константин; посмотрим, как усвоили его уроки его сыновья.

Эти сыновья, Константин II, Констанций II и Констант, тем временем получили звание цезарей. Внуки Геркулия, после того как отец устранил мать, деда по материнской линии, дядю Максенция и сводного брата, стали особенно громко требовать трона. Этот проклятый род непременно должен был взойти к вершинам власти.

Не будем пока говорить о превращении Византия в город Константина и столицу мира. Естественно, что узурпатору нужны была резиденция и люди, ничего прежде не имевшие, всем обязанные ему и во всем зависящие от него, с которых можно было начинать преобразования в государстве и обществе и которых можно было использовать в качестве орудий этих преобразований. Не будь такой необходимости, он бы спокойно мог оставаться в Никомедии. Его уход — наиболее обдуманный и целенаправленный шаг за все время его правления.

Несравненно сложнее объяснить последнее важнейшее решение Константина — о разделе империи.

Что касается братьев Константина: у Далмация было два сына — Далмации и Ганнибалиан, столько же и у Юлиана Констанция — Галл и Юлиан, которого потомки прозвали Отступником, тогда еще совсем маленькие. Из этих четырех племянников Константин за два года до смерти выбрал Далмация, которому уже случилось побывать консулом (333 г.), и сделал его цезарем (335 г.). Ранее император уже отличил его отца, Далмация-старшего, и послал его с неопределенным титулом цензора в Антиохию, в важное и, вероятно, опасное место (332 г.), а поколением позже Констанций направил туда же Галла, чтобы одновременно и не терять из виду, и умиротворить бывшую восточную столицу. Впоследствии старшему Далмацию доверили даже нечто вроде королевской власти над Каппадокией. Причина одновременного возвышения его сына заключалась, скорее всего, в том, что он успешно подавил мятеж на Кипре, где узурпатором стал Калокер, ведавший поставками в императорскую армию верблюдов. Младший Далмации схватил его и сжег заживо в Тарсе, «как вора и раба».

Вскоре за тем, в 335 г., а значит, за два года до смерти Константина, было проведено

последовательное разделение империи, согласно которому Константин II получил земли своего деда Хлора, то есть Британию и Галлию вкупе с Испанией; Констанцию II достались Азия, Сирия и Египет; Константу — Италия и Африка. С другой стороны, вся территория между Черным, Эгейским и Адриатическим морями, а именно Фракия, Македония, Иллирия и Ахайя (с Грецией), перешли к племяннику Константина Далмацию. Даже брат Далмация Ганниба-лиан, ни о каких других заслугах которого неизвестно, получил власть — полную или же с подчинением Констанцию II, мы не знаем — над римской частью Армении, Понтом и прилегающими областями и женился на Констанции, дочери Константина и сестре его сонаследников, тогда же либо еще прежде. Конечно, данный раздел производился публично. Однако точные сведения о нем мы находим только у второго Аврелия Виктора, другие же авторы или искажают факты, или, как Евсевий, по своим причинам обходят указ молчанием.

Первый вопрос, на который необходимо ответить, звучит так: почему Константин вообще поделил империю, после того как сотни тысяч человек проливали кровь за ее объединение? Далее, удивительно, что центр страны, включая новую столицу, достался племяннику, а не кому-нибудь из сыновей. Причина, видимо, лежит в характерах этих сыновей. У Евсевия есть трогательная глава о том, как их воспитывали в страхе Божьем и учили всем добродетелям властителя, о которых мы сейчас и поговорим. Это были пропащие люди, лишенные как совести, так и веры. Если бы отец провозгласил наследником кого-то одного из них, то стоило ему закрыть глаза, как все прочие братья и родичи оказались бы в могиле; а что приключилось бы с империей, оставшейся без потомков Геркулия и Константина? Чтобы сохранить династию, страну нужно было поделить. Конечно, император предвидел, что сыновья его еще будут воевать между собой, но оставалась, по крайней мере, надежда, что из трех или пяти домов выживет хотя бы один наследник, если, конечно, благородные отпрыски вообще улучат минутку зачать нового потомка. Не просто так Константин старался пристроить сыновей как можно дальше друг от друга, отправив их в отведенные им провинции.

Вероятно, иллирийско-греческий полуостров вместе с Константинополем он отдал племяннику потому, что, принадлежи эта жемчужина кому-нибудь из трех его сыновей, вокруг нее разгорелись бы жесточайшие страсти, что и в самом деле произошло в дальнейшем. Далмации таким образом оказался в крайне сложной и опасной ситуации. Однако его обороноспособность вполне соответствовала размеру угрозы. Тот, кто владел Иллирией с ее полководцами и солдатами, мог сражаться против всей империи.

Наконец, выдвижение Ганнибалиана было всего лишь следствием выдвижения его брата. Почему он поселился именно на северной границе Малой Азии, сказать нельзя.

Эта попытка объяснения наиболее темного момента в истории Константина, возможно, не найдет широкого признания, так как предполагает невероятную грызню в императорском семействе. Но я полагаю, что не вышел за рамки вероятного.

Константин, который «начал преследовать своих родственников и, в частности, сына своего, мужа выдающегося, а также сына сестры своей, юношу достойного нрава, убил, а вскоре и с женой своей поступил так же, не говоря уже о многих своих друзьях», сохранил, пожалуй, только одну родственную связь — с матерью, Еленой. Какое бы место она ни занимала при Хлоре, с точки зрения Востока она обладала всеми правами, так как дала жизнь правителю. Говорят, что он всегда прислушивался к ее советам. Елену наградили всеми почестями, и остаток дней она провела занимаясь благотворительностью, совершая разные паломничества и основывая церкви. Она умерла в возрасте более восьмидесяти лет, видимо, немногим ранее своего сына. Городок Дрепан в Вифинии получил в ее честь имя Еленополя.

Самого Константина схватила роковая немощь, когда он готовился к оборонительной войне с Шапуром II, персидским царем. Тогда-то он оказался среди новообращенных в церкви мучеников в Еленополе, а потом его перевезли на Ахиронскую виллу близ Никомедии, где он принял крещение и умер в последний день Пятидесятницы 337 г.

Вокруг его гроба, перенесенного солдатами в Константинополь и со всей торжественностью размещенного в дворцовых чертогах, развернулись любопытнейшие события, не прекратившиеся и на следующий год.

Начинается все с описания горьких стенаний солдат. Рядовые рыдали и раздирали одежды, офицеры сетовали на свое сиротство. Конечно, скорбели они глубоко и по-настоящему, особенно стражники-германцы, которые рассматривали свои отношения с императором как личную преданность. Покойный был великим полководцем и заботился о воинах как отец; что им за дело до всего прочего? Но эти горюющие солдаты в отсутствие наследников представляли одновременно и власть, ответственную за дальнейшие события; так, именно они положили, что похороны императора не будут проводиться, пока не приедет хотя бы один из его сыновей. «Избрав из военных сановников людей, издавна известных верностью и преданностью василевсу, таксиархи послали их

возвестить кесарям о событии. Между тем находившиеся в военных лагерях войска, как бы по вдохновению свыше, единогласно решили никого не признавать римскими автократорами, кроме детей его, и вскоре положили всех их называть отныне не кесарями, а августами. Войска делали это, сносясь в своих мнениях и отзывах письменно, и единодушное согласие всех их в один момент времени распространилось повсюду». Это все, что находит нужным сообщить Евсевий.

Но где же был Далмации? Ведь именно в его землях и в его столице стоял гроб и распоряжались солдаты; почему когда его лишают законной доли империи, то даже не удосуживаются упомянуть об этом? Вместо него в город спешит Констанций и ведет торжественную процессию к церкви Апостолов. Константин ли даровал племяннику больше власти, чем мог, или против него составился слишком могучий заговор, мы не знаем. Возможно, его сразу же арестовали, возможно, какое-то время для него создавали видимость участия в управлении. Но через несколько месяцев совершилось преступление (338 г.), и тщетно пытаются некоторые авторы объявить, что Констанций в нем неповинен, потому только, что он скорее допустил, чем организовал его. Солдаты или кто-то еще для начала устранили Юлия Констанция, брата великого Константина; его детей, Галла и Юлиана, пощадили, первого потому, что он был опасно болен, второго потому, что он был еще совсем мал. Затем убили Далмация и патриция Оптата, следующим — Аблавия, некогда всевластного префекта гвардии, и, наконец, Ганнибалиана. Смешно думать, что это войска не хотели никого, кроме сыновей покойного; конечно, прямого наследника им (особенно германцам) было проще всего принять, но без чужого наущения они никогда не пошли бы на такие крайности. Для самых наивных сочинили легенду, будто великого Константина отравили по воле братьев, но он догадался о злодеянии, и последней волей его стало, чтобы тот из сыновей, который первым приедет, отомстил за него. Ничего примитивней придумать было нельзя.

Более подробный разговор о дальнейшей судьбе верховной императорской власти находится вне сферы нашей компетенции. Константин хорошо укрепил эту власть, создав новую структуру государства и Церкви, и сыновья его поэтому могли своевольничать как хотели, пока полностью не промотали унаследованный капитал, так же как сыновья Людовика Благочестивого, в чьей истории так много похожего, вели братоубийственные войны не одно поколение, пока тень Карла Великого окончательно не утратила свое величие. Причиной первой ссоры стало, естественно, положение Далмация, в частности — вопрос о принадлежности Фракии и Константинополя. Проблема вознаграждения привела к отрицанию законности этого положения; Констант желал участия в управлении Африкой и Италией; в 340 г. началась война, и Константин II погиб, не оставив потомства. Победоносный Констант принялся бы за Констанция, если бы последнего не удерживала на Востоке война с персами. Об этом знало также и окружение Константа — преимущественно наемники-германцы, среди которых он, преступник, чувствовал себя спокойней, нежели среди римлян. Предположив, что восточный император не помчится с мечом в руках на Запад и в Африку, что бы ни случилось, франк Магненций, тогда командующий иовиан и геркулиан, осмелился предстать на пиру в Отене, облаченный в порфиру (350 г.). Констант должен был быть схвачен во время охоты, но вовремя узнал о случившемся. Тем не менее выяснилось, что от него отступились и солдаты, и мирные жители, и ему оставалось только бежать. Убийцы с франком Гаисоном во главе перехватили его в Пиренеях.

Весь Запад оказался теперь в руках Магненция, а дунайские легионы подумали, что имеют столько же прав на власть, и возвели к ее вершинам старого полководца Ветра-ниона. Чтобы придать всей истории элемент комического, племянник великого Константина, сын его сестры Евтропии, по имени Непотиан, привозгласил себя императором в Риме; но у этого несчастного побочного отпрыска, желавшего переиграть роль Максенция, не было преторианского лагеря, а только гладиаторские жилища, поэтому армия, посланная Магненцием, без труда расправилась с ним. Но насчет Констанция солдаты ошиблись; он прервал персидскую войну и любыми средствами пытался уничтожить противостояние внутри империи. У Зосима есть интересное место, согласно которому Констанций сумел так настроить своих воинов в пользу исключительно династического правления, что они принялись выкрикивать: «Долой незаконных императоров!» Так или иначе, Констанций тогда проявил талант полководца и решительность. На некоторое время удалив Ветранио-на от дел, он на глазах его собственной армии одержал над ним верх, обнаружив при этом незаурядный ум. Затем он победил Магненция, и борьба их стала самой кровопролитной из всех внутриимперских раздоров. В результате по всему Западу расползлись шпионы и соглядатаи, выискивавшие сторонников узурпатора. Но, невзирая на успех, победитель, конечно, жестоко мучился, предаваясь скорбным размышлениям о будущем империи. Поскольку армия уже не хотела никаких «незаконных» правителей, Констанций стал подозревать тех своих родичей, от которых еще не успел избавиться, и возненавидел их смертельной ненавистью. Брак его с Евсевией остался бездетным, и таким образом сын Константина Великого, в результате безудержного разгула принципов султаната в течение двух поколений, пришел к тому, с чего начинал Диоклетиан, — к необходимости подыскивать приемного

сына. У Констанция была достойная его сестра, Констанция (или Константина), вдова убитого Ганнибалиа-на, с чьей помощью император завоевывал доверие Ветраниона, предлагая ему ее руку. Когда понадобилось уничтожить последнюю оставшуюся ветвь семейства, сыновей Юлия Констанция, убитого в 338 г., Константина вышла замуж за старшего из них, Галла, и, хотя она умерла прежде, чем он был убит, нет нужды сомневаться, что за его тут же последовавшую смерть немалую долю ответственности несет она. Теперь в живых остался только Юлиан, младший брат Галла, и, когда вся империя стала взирать на него как на спасителя Галлии и победителя германцев, его бесчестный двоюродный брат оставил ему выбор между гибелью и узурпацией. Но Констанций умер, когда гражданская война еще не успела начаться, после чего Юлиана признали все. Его достопамятным двухлетним правлением окончилась линия Константина, ибо брак Юлиана оказался бездетным.

Последующие преемники, Иовиан и Валентиниан, были ставленниками армии, как это обычно случалось в III веке. Но мысль о наследственном праве настолько запечатлелась в умах, что позднее данный принцип старались воплотить любыми средствами. Появились династии Валентиниана и Феодосия, переход между которыми осуществился через свадебный союз, и ни там ни там не было, по крайней мере, убийств родичей на восточный манер. С середины IV до середины V века за трон не раз боролись многие претенденты, не раз в связи с этим возникали сложные ситуации, но сомнений в законности претендента не допускалось никогда. Убеждения военачальников, по преимуществу германцев, и воззрения христиан, порожденные Ветхим Заветом, обеспечили хотя и запоздалую, но все же победу наследственному праву. Оно сохранило свою значимость в течение всего византийского периода и, невзирая на помехи, связанные с разгулом султанских и преторианских обычаев, вновь и вновь скрепляло новые, иногда даже довольно долговечные династии.

Глава 9

КОНСТАНТИН И ЦЕРКОВЬ

Часто делались попытки представить, как же понимал религию Константин, и воссоздать гипотетическую последовательность изменений в его религиозных убеждениях. Все подобного рода усилия бессмысленны. Для гения, неустанно влекомого тщеславием и жаждой власти, нельзя ставить вопрос о близости ему христианства или язычества, о сознательной религиозности или антирелигиозности; такой человек скорее внерелигиозен, даже если становится в центре церковной общины. Святость для него или живет в воспоминаниях, или это суеверная причуда. В моменты, когда верующие думают о Боге, его душу снедает другой огонь. Планы захвата мира и грезы о власти уводят его все дальше от легкой дороги, через потоки крови гибнущих армий. Он считает, что обретет покой, когда достигнет некоей цели, какие бы средства ни требовались для осуществления его мечтаний. Но между тем все его силы, как духовные, так и физические, отданы одной-единственной великой цели — господству над миром, и если он даже найдет время поразмыслить о своих убеждениях, то обнаружит, что они сводятся к чистейшему фатализму. В данном случае, конечно, трудно поверить, что серьезный богослов, весьма прилежный ученый, пусть в критике он и слаб, столь близко знакомый со своим героем современник, каким был Евсевий из Кесарии, сто раз повторит в своих четырех книгах одну и ту же ложь. Правоту его обычно доказывают, цитируя эдикты Константина, — произведение настоящего ревнителя христианства, кроме того, обращение к «собранию святых», выражение, невозможное в устах не-христианина. Однако заметим кстати, что это обращение не только не было сочинено Константином, но даже и произнесено не им, а писать эдикты он обычно целиком и полностью поручал священникам. Евсевий же, хотя все историки опираются на него, повинен в стольких передергиваниях, искажениях и домыслах, что давно лишился права считаться автором непогрешимого исторического сочинения. Достойно сожаления, хотя и вполне понятно, что ни один церковный писатель, насколько нам известно, не раскрыл истинную позицию Константина, не произнес ни одного нелестного слова в адрес агрессивного эгоиста, огромной заслугой которого стало то, что он распознал в христианстве силу мирового значения и действовал соответственно этому пониманию. Легко представить себе счастье христиан, получивших наконец прочную защиту от гонителей, но спустя полторы тысячи лет вряд ли стоит поддаваться их тогдашнему настроению.

Терпимый к прочим верованиям монотеизм Константина, вероятно, уходит корнями в мировоззрение Хлора. Первое конкретное упоминание религиозного поступка Константина — это его визит в храм Аполлона в Отене (308 г.), перед тем как он решил вновь напасть на франков. Кажется, он советовался с оракулами и делал богатые подношения. Однако поклонение Аполлону необязательно противоречит монотеизму отчего дома, ибо Хлор воспринимал высшую сущность

как бога солнца. Племянник Константина Юлиан говорил о связи Константина с особым культом Гелиоса. Рассмотрев монеты Константина, на которых изображен солнечный бог и подписано sol invicto comini, мы заключаем, что подразумевается здесь Митра. Любой, кто имел дело с древними монетами, знает, что из пяти найденных образцов константиновской эпохи на четырех лицевая сторона выглядит именно так, то есть велика вероятность, что данный девиз сохранял действительность до смерти императора. Часто встречаются также Виктория, Дух римского народа (Genius Populi Romani), Марс и Юпитер, снабженные различными эпитетами, и некоторое количество персонификаций женского рода. Однако монет с однозначно христианскими эмблемами, которые он якобы выпустил, пока еще не обнаружено. В период, когда Константин правил вместе с Лицинием, появляется изображение бога солнца с подписью comiti avgg nn., что значит «Другу двух наших августов»; на многих монетах Криспа и самого Лициния аверс точно такой же. В надписях и на монетах Константин постоянно называет себя великим понтификом и изображается с покрытой головой. В законах 319-го и 321 гг. он признает право языческих культов на существование; он запрещает только тайные опасные практики магов и гаруспиков, но дозволяет действовать заклинателям дождя и града, и за случаи, когда общественные здания вдруг уничтожает молния, возлагает ответственность на гаруспиков. Зосим, если мы склонны верить этому язычнику V века, утверждает, будто Константин много советовался со жрецами до самого убийства Криспа (326 г.), когда, по мнению автора, император действительно обратился.

Противоречит этому факт, что после войны с Максенцием (312 г.) Константин не только узаконил христианство, но и присвоил армии эмблему, которую каждый мог понимать как хотел, но которую христиане считали своей. Соединенные буквы X и P, начинающие имя Христа (Christos), как нам известно, появлялись на щитах солдат еще перед войной. В то же время или чуть позднее тот же символ, обрамленный золотом и драгоценными камнями, стал частью большого военного штандарта; его почитали, и он вдохновлял солдат на победу. Скоро подобные же значки (semeion, labarum) изготовили для всех войск, и особые воины должны были оберегать это знамя на поле битвы. Для него сделали даже специальную палатку, куда император удалялся перед всяким серьезным делом. Разве это не тождественно открытому исповеданию веры?

Прежде всего следует отметить, что Константин использовал эмблему не среди простого населения, но в армии. Воины знали его как сильного и победоносного полководца со времен сражений с франками; они большей частью помнили еще его отца; и они согласились бы принять любой символ или знак, им предложенный. Среди галлов и бриттов, конечно, было немало христиан и умеренных язычников, а германцев религия их предводителя нисколько не интересовала. Со стороны императора это — эксперимент, не обязывавший его ни к чему, кроме терпимости, которая и так стала законом во всех его владениях и долженствовала распространиться теперь и в завоеванных землях. Он, скорее всего, считал Христа одним из богов, а приверженцы христианской веры для него ничуть не отличались от язычников. Нельзя отрицать, что у Константина могли сложиться свои особые представления о Христе, не исключено даже, что он как-то связывал его с богом солнца. Но без сомнения, он руководствовался исключительно соображениями успеха; если бы в Италии он столкнулся с неприятием XP, знак бы мгновенно исчез со щитов и знамен. Теперь же он вполне убедился, что большинство язычников было недовольно гонениями, и спокойно поставил свою статую с лабарумом[1] в руке посреди Рима и подписал, что именно этот символ принес ему успех. Если бы он хотел объявить о собственном вероисповедании, он бы, разумеется, действовал иначе. 312 г. многое бы объяснил, будь у нас больше сведений о тогдашней ситуации. Самое вероятное, и в то же время самое труднодоказуемое, заключается в том, что язычники в тот момент — в момент окончания гонений — были настроены миролюбивей и спокойней, нежели до или после. Они не знали или пренебрегли тем, что христианство, однажды разрешенное, неизбежно превратится в господствующую религию.

Вероятно, и Константин не знал этого, но он позволил этому произойти, и отдавал себе отчет в своих действиях. Когда простой и ясный здравый смысл сказал ему, что христиане — хорошие подданные, что они многочисленны и что в разумно управляемом государстве гонения не нужны, он принял решение. С политической точки зрения решение это было проведено в жизнь восхитительно. В руках победителя лабарум стал одновременно материальным воплощением власти, военной мощи и новой религии. Мужественный настрой его армии, победившей одно из сильнейших воинств в античной истории, способствовал созданию вокруг нового символа ореола несокрушимости.

Но знаменитое чудо, которое, по словам Евсевия и тех, кто его переписывал, случилось во

---

[1] Л а б а р у м — государственное знамя императорского Рима с изображением креста и инициалов Иисуса Христа.

время похода против Максенция, нужно, наконец, стереть со страниц истории. Это даже не миф, то есть не народное предание, это — рассказ Константина Евсевию, притом очень поздний и тщательно приукрашенный последним. Естественно, император поклялся страшной клятвой, что ничего не придумал, но действительно видел в небесах крест с надписью «Сим победиши», что Христос вправду явился ему во сне и так далее; но история не должна слишком серьезно относиться к клятвам Константина, хотя бы потому, что, невзирая на подобные же уверения, он предал своего зятя смерти. Да и Евсевий вполне способен был сочинить две трети всего повествования.

Поведение Константина продолжает удивлять своей непоследовательностью; монограмму Христа он делает символом своего войска, на триумфальной арке в свою честь он стирает имя Юпитера, но в то же время на его монетах остаются старые боги, в частности, солнечный бог в качестве непобедимого товарища императора, и во всех более-менее серьезных ситуациях Константин ведет себя как истый язычник. Расхождение это скорее возросло, нежели уменьшилось в последние годы. Он стремился иметь хорошие отношения с обоими религиями и был достаточно силен, чтобы занимать двойственную позицию.

Его эдикты о терпимости, из которых сохранился второй, изданный в Милане (313 г.) при участии Лициния, ничего нового, кроме свободы совести и вероисповедания, не дает; позднее объявляется о неограниченной свободе богослужений. Понятие государственной религии было таким образом уничтожено, пока христианство не подобрало сброшенную язычеством оболочку. Одно установление следовало за другим, особенно когда Максимин Даза, из ненависти к Лицинию, и сам Лициний, из ненависти к Константину, принялись оскорблять христиан. Места собраний и прочая земельная собственность, конфискованная во время гонений, была возвращена; христиане открыто пользовались явным благоволением императора, и деятельность их проповедников всячески поддерживалась. Некоторое беспокойство, вызванное недовольством язычников, обнаруживается в уже цитировавшихся законах 319 г., где строго воспрещены частные ауспиции и домашние жертвоприношения, видимо, потому, что тайные совещания за закрытыми дверями во время гаданий и жертвенных пиров начали вызывать опасения. Что же касается эдиктов, обращенных к жителям Палестины и после окончательной победы над Лицинием (324 г.) — к народам Востока, то тут проявляется бесконечная личная преданность императора христианству: все, что совершали гонители, объявлено недействительным, исповедующие эту веру восстановлены во всех правах и им возвращено все имущество. Чувствуется полемический настрой этих официальных указов по отношению к политеизму; там говорится о храмах лжи, мрака, гибельных заблуждениях, еще не исчезнувших, и так далее. Но все это принадлежит не перу Константина, хотя Евсевий утверждает, что видел автограф. Составитель выдает себя по крайней мере в конце второго документа, где император якобы утверждает, что он застал начало гонений «в раннем детстве», тогда как на самом деле в 303 г. Константину было почти тридцать. Но косвенное отношение к этим текстам император, никогда, как можно заметить, если подойти к делу со вниманием, не провозглашавший себя христианином открыто, все же имеет. Его интонации — это интонации сурового завоевателя-деиста, которому нужен Бог, чтобы оправдать собственную жестокость чем-то вне самого себя. «Начав от того британского моря и от тех мест, где, по некой необходимости, определено заходить солнцу, я, при помощи какой-то высочайшей силы, гнал перед собой и рассеивал все встречавшиеся ужасы, чтобы воспитываемый под моим влиянием род человеческий призвать на служение священнейшему закону... Я дошел до стран восточных. Обремененные тяжкими бедствиями, они тем громче взывали к нам о помощи... Рассудите ревностнее все и каждый, какова должна быть сила и милость, отвергшая и уничтожившая это семя лукавых и беззаконных...» Это слова, под которыми подписался бы победоносный калиф. Наполеон примерно так же выражался в своих арабских воззваниях в Египте.

Не исключено, что Константин, приверженец деизма, родившегося из культа солнца и Митры, полагал, будто ему ведома самая общая, а значит, и высочайшая основа всех религий. Иногда он пытался найти нейтральные формы религиозной практики, которых бы равно придерживались и христиане, и язычники. Сюда относится повеление всем народом отмечать воскресенье, читая в этот день усредненный «Отче наш». «Что касается до дня Господнего, действительно воскресного, иногда называвшегося также днем света и солнца, то к ревностному хранению его он располагал и всех своих воинов... Еще не принявшим божественного учения предписал он вторым законом в воскресные дни собираться на открытых площадях, в предместье города, и там, по данному знаку, всем вместе возносить к Богу, подателю всякого блага и самой победы, выученную предварительно молитву: «Тебя единого признаем Богом, тебя исповедуем Царем, Тебя именуем помощником, Тобой приобретали мы победы, Тобой превозмогали врагов, Тебе приносим благодарение за полученные благодеяния, от Тебя чаем и будущих благ. Тебе все молимся и Тебя просим, да сохранишь на многие годы здоровым и победоносным василевса нашего Константина с боголюбезными его чадами». Христиан, думается, удовлетворяла эта молитва, а язычники, которые

могли и обидеться на такой открыто возглашаемый монотеизм, были прежде всего солдатами. На то, что поклонников Митры тут не забыли, указывает сам Евсевий своим «днем света и солнца». Насколько характерна эта так называемая молитва! Император, армия, победа — и только; ни слова о нравственности, ни слова о римлянах.

Прежде чем идти дальше, рассмотрим вкратце прочие попытки Евсевия приписать своему герою христианскую веру. После войны с Максенцием Константина всегда сопровождали служители Божьи, даже в дальних странствиях, как советчики и сотрапезники. На соборах он сидел посреди них. Факты эти легко объяснимы. Константину было важно понимать точки зрения современной Церкви; в различных ее ответвлениях у него имелись свои информанты. Красноречивое сообщение одного из них, Стратегия, настолько его порадовало, что он дал этому человеку прозвище Музониан. Никакой умный и энергичный правитель не мог упустить из рук соборы, ибо это была новая общественная сила, которой не стоило пренебрегать. Можно скорбеть о подобной эгоистичности и презирать ее, но разумная власть, корень которой — тщеславие, по необходимости будет действовать в этом направлении. Когда нам рассказывают, как часто император удостаивался таких божественных явлений, как он втайне постился и молился в палатке кресту, как он заполнял ночные часы размышлениями о божественных материях, — слушая все это из уст Евсевия, который знал правду, мы преисполняемся истинного отвращения к говорящему. Позднее император стал даже более внимателен к епископам, суждения которых учитывал в первую очередь, вероятно, потому, что понял — в их интересах любыми средствами поддерживать власть престола, а затем — потому, что иначе было нельзя. В своих энцикликах он обращается к епископам как к «возлюбленным братьям» и предлагает считать себя одним из них, «епископом дел внешних». Образование своих сыновей он в основном доверяет церковникам и ведет дело так, что этих сыновей следует считать уже настоящими христианами. Их окружение и двор состоят преимущественно из христиан, тогда как их отец, по косвенному указанию Евсевия, спокойно оставлял на высших постах и в качестве ргаез1с1ит (наместников) в провинциях язычников, а не только новое духовенство, до самых последних лет жизни. Его запрет гладиаторских игр — явная уступка священникам, хотя соответствующий закон говорит только о «мире и спокойствии в отечестве», чему эти игры, по-видимому, мешали. Так или иначе, это один из указов, которые провозглашались лишь затем, чтобы тут же оказаться забытыми, ибо сам Константин впоследствии о нем не вспоминает. Поучения, которые время от времени император произносил в присутствии своих придворных и «несметных толп», представляют собой весьма загадочное явление. Он якобы хотел «управлять подданными, воспитывая их, и все свое царство вести к разумности». Для этой цели созывались собрания, и властелин мира спокойно выступал вперед и начинал говорить. Если речь заходила о религии, его поза и голос окрашивались глубоким смирением. Рассуждал он обычно о политеизме, монотеизме, провидении, спасении и божественном приговоре. Тут, продолжает придворный епископ, Константин прямо обвинял своих слушателей, посрамляя грабителей, хищников и корыстолюбцев; бичуя окружающих, он заставлял их потуплять взоры... Намерения его были праведны, но эти люди оставались тупыми и глухими. Они одобрительными криками встречали его приближение, но ненасытность не позволяла добрым чувствам пробудиться в них. Император писал свои речи на латыни, а переводчики перелагали их на греческий. Как же тут быть? Неужели Константин, в поведении столь усердно подражавший Диоклетиану, придававший такое значение собственному величию, унизился до того, чтобы выставляться перед столичными толпами? Что он хотел выслушать критику и преисполниться смирения — весьма сомнительно, и, скорее всего, внимавшие ему по понятным причинам никакой критики не высказывали. Но зачем речи, когда император был волен действовать как ему угодно? Об одной из причин несложно догадаться. В период религиозного кризиса звучащее слово вышло за рамки риторских декламаций и панегириков и, произносимое с проповеднической кафедры, приобрело столь огромное влияние, что Константин не мог отказаться от этой новой возможности умножить свою власть, так же как наиболее сильные правители наших дней — от появлений в периодической прессе. Если, не будучи крещенным, он называл себя, тем не менее, «епископом внешних дел», то почему бы ему не изобразить христианского вероучителя? Как в этих речах обстояли дела с религиозными догматами, мы не знаем; и едва ли император признавал себя не вполне воцерковленным христианином. Евсевий ясно указывает на побочную цель этих наставлений; они давали Константину удобный случай выразить свою приязнь и неприязнь, вызвать у людей страх и в изящной и неопределенной форме сообщить им то, что он не мог вложить даже в наиболее искусно составленный указ. По сути, это было нечто вроде речей Тиберия перед сенатом. Нельзя забывать: помимо прочего, Константин «предал многих своих друзей смерти», как говорит доверчивый Евтропий, а крайне осторожный Евсевий предпочитает обойти данный факт молчанием.

Черты назидательности до сих пор присущи образу этого правителя, так как во все века достойные восхищения христиане зачисляли его в свои ряды. Но и эти слабые черточки нам

должно наконец стереть. Церковь ничего не потеряет, лишившись этой страшной, хотя и великолепно одаренной в политическом плане, фигуры, так же как язычество ничего с нею не приобретет. Так или иначе, язычники впали в ту же самую ошибку, предположив, что обращение императора было подлинным, а не показным. Враждебно настроенный Зосим излагает другую версию. После убийства Криспа и Фаусты, а также нарушения клятвы (касательно Лициния), императора стала терзать совесть, и он обратился к жрецам (согласно Созомену, к знаменитому неоплатонику Сопатру) за прощением. Когда они сказали, что такие злодеяния искупить нельзя, некий египтянин (видимо, Осий), приехавший из Испании, прорвался к императору и убедил его, что христианство может смыть любую провинность. После этого Константин сперва запретил язычникам гадать о будущем, а потом построил новую столицу, и так все узнали о его обращении. Возможно, что тут и есть зерно истины, но в целом рассказ явно не соответствует действительности. Что бы ни осталось от римских верований в душе Константина, ужасные события неминуемо случились бы, и как бы ни был он воспитан в прочих отношениях, едва ли он ждал утешения, едва ли искал прощения у языческих богов; причинно-следственная связь событий здесь явно не соответствует действительности.

Как раз в последнее десятилетие жизни Константин обнаруживает явно нехристианские и даже прямо языческие интересы. Вместе с матерью он украшает Палестину и крупные города империи великолепными церквями, но одновременно сооружает нечестивые святилища в новоявленном Константинополе. Два из них, посвященные Матери богов и Диоскурам, можно считать просто красивыми вместилищами для произведений искусства — идолов, однако храм и изображение Тихе, обожествленной персонификации города, явно предназначались для отправления культа. При освящении Второго Рима проводились откровенно языческие обряды; торжества включали в себя суеверия, которые позднейшие авторы тщетно пытались отождествить с христианским ритуалом.

Другим Константин тоже разрешал строить храмы старой религии. Надпись из поселения умбров в Спелло (между Фолиньо и Ассизи), долгое время из-за непонятности содержания считавшаяся фальшивой, что, казалось бы, подтверждало странное варварское написание, есть, по-видимому, подлинный памятник этой снисходительности Константина к язычникам, датируемый двумя последними годами его жизни. Он разрешает Гиспеллатам выстроить великолепный храм в честь его собственного семейства, которое он называет Gens Flavia[1], при единственном условии — чтобы святилище не подпало «заблуждениям заразного суеверия», предоставляя понимать это как кому будет угодно. Он издал также указы касательно жрецов и приказал перенести гладиаторские игры из Больсены в Спелло, причем назвал гладиаторов по именам. В те же примерно годы он освободил некоторые жреческие коллегии, а именно сакердотов и фламинов, владевших землей, от обременительных провинциальных должностей, которые хотели заставить их исполнять христиане, особенно в Африке. Разумеется, с его ведома еще в 331 г. по воле сената был восстановлен храм Согласия, не говоря уже о многочисленных жертвенниках, восстановленных в предыдущие годы.

В близких отношениях лично с императором в то время состояло очень много язычников. Неоплатоник Сопатр, ученик Ямвлиха, продолжает держаться как самолюбивый греческий софист. «Сопатр, который был одареннее всех благодаря возвышенности своей природы и величию души, не пожелал общаться с другими людьми, а поспешил к императорскому двору, чтобы своим словом управлять помыслами и делами Константина и направлять их на правильный путь. И здесь он проявил такую мудрость и стал таким влиятельным, что сам император поддался его обаянию и публично ввел его в совет, даровав ему место по правую от себя руку, что было чем-то неслыханным и невиданным. Но всесильные вельможи, воспылав ненавистью к тем придворным, которые обратились к изучению философии, выжидали...» Так у Евнапия, который, впрочем, заслуживает не больше доверия, чем Филострат, когда хвастается связями с именитыми философами. Но в рассказе есть и доля правды; Сопатр был близок к Константину. Забудем, что он якобы не позволил императору искупить убийство Криспа; но он, бесспорно, участвовал в освящении города Константинополя. Позднее, во всяком случае после 330 г., Аблавий, префект гвардии, добился его падения. Когда в новой столице был голод, Аблавий, как говорят, внушил императору, что Сопатр своим невероятным искусством помешал дуть ветрам, долженствовавшим нести египетские суда с зерном по морю. Так или иначе, но Константин казнил софиста. Мы вправе усомниться, единственно ли происки Аблавия стали тому причиной, поскольку Суда замечает: «Константин предал Сопатра смерти, дабы показать, что он больше не язычник. Ибо ранее он был весьма близок с ним». В другой связи (когда речь пойдет об Афанасии) мы еще раз

[1] Род Флавиев (лат.).

выскажем предположение, что стареющий император начал испытывать страх перед христианскими священниками, что в последние годы он уже не мог сохранить столь долго оберегаемую им личную свободу. Многие даже думают, что в конце жизни Константин совершенно запретил языческие жертвоприношения, и если сведения Евсевия заслуживают доверия, то не только жертвоприношения, но и запросы оракулов, установку идолов и мистерии. Зосим утверждает, что указ, запрещающий вопрошать оракулов, появился вскоре после 326 г. Но тут даже слепой обратит внимание на несоответствия. Если надпись из Спелло и поддельна, имеются другие свидетельства. Главный наш источник по обрядам и мистериям, трактат христианина Фирмика, относится ко времени непосредственно после смерти Константина. Автор страстно призывает его сыновей совершить то, что их отец вроде бы уже сделал: «Рубите их, рубите их, эти храмовые украшения! В плавильню этих богов, пустить их на монеты! Все обетные приношения — ваши; берите и владейте ими!»

Конечно же и при Константине святилища ниспровергали и уничтожали, а священные изображения отправляли на переплавку. Капище наподобие посвященного Небесной богине в Ливане, только и заслуживало, чтобы солдаты сровняли его с землей (около 330 г.); «Он счел самое то капище недостойным солнечного света». Интереснее факт разрушения известного храма Асклепия в Эгах, что в Киликии, куда до тех пор приходили толпы людей в надежде увидеть целительный сон. По-видимому, бог («обман душ», как называет его Евсевий) оказался вовлечен в политические дела. В Гелиополе, едва ли менее развращенном, нежели Афака, были попросту запрещены языческие культы и насильственно учреждено епископство, за что пришлось заплатить общине. В других местах случалось, что обратившееся население по собственной воле разрушало местные святилища, а затем получало на это официальное одобрение императора. Вероятно, именно в качестве награды за такую активность город-гавань Газа получил имя Констанции, а некое место в Финикии стало именоваться Константиной.

Кроме того, император повелел опустошить многие храмы, по-видимому, из-за любви к богатству или нужды в деньгах. Здесь Евсевий тоже скрывает истинную причину и подлинный размах этих грабежей, однако все же нечаянно выдает себя. Дело в том, что он не упоминает о мраморных статуях вовсе, а только о тех, внутри у которых находилось нечто особое; Евсевий говорит о черепах, костях, старом тряпье, сене, соломе и так далее, но, очевидно, в первую очередь там находилась деревянная основа, необходимая часть крисоэлефантинных статуй, таких, как скульптура Зевса Олимпийца. В своем панегирике Константину автор свидетельствует открыто: «Отделяя вещества, по-видимому, годные, и испытывая их плавкой и огнем, все полезное и нужное складывали для сбережения в безопасное место, а оставшееся затем бесполезное в память стыда возвращали нечестивым». Сколько статуй и какие (вероятно, прекраснейших произведений греческого искусства) встретили судьбу, неразрывно связанную с ценностью их материала, мы не знаем. Так или иначе, украшать свою новую столицу Константин предпочитал тем, что было изготовлено из не настолько ценного материала. В том же месте Евсевий говорит о бронзовых статуях: «Эти также узники, боги старых сказок, увозились, опутанные волосяными веревками». Конфискацию проводили пользующиеся доверием люди, уполномоченные на это непосредственно двором. Им не сопротивлялись; перед ними жрецы раскрывали свои сокровеннейшие тайники. Однако вполне понятно и естественно, что Константин осмеливался на подобные шаги только в надежных, преимущественно христианизо-ванных городах, вблизи от своей резиденции. Он мог бы не трогать статуй из золота и серебра, но это было так просто, а соблазн был так велик, особенно ввиду финансовых затруднений, мысль о коих у такого рода правителей обычно перевешивает все прочие соображения. Сюда же, конечно, относится снятие в нескольких храмах дверей и потолочных балок, которые часто делались из бронзы и стоили труда, затрачиваемого на их переплавку. С этого начиналось разрушение величественных построек, затем вносила свой вклад немилосердная погода, и тогда уже предохранить колонны и прочие несущие элементы от посягательств местных жителей можно было, разве что полив их негашеной известью. У нас есть официальное подтверждение тому, что после 333 г. так действительно поступали, во всяком случае с надгробиями язычников. Еще раньше законом был назначен срок для приведения в должный вид обветшавших или недостроенных храмов. Как обстояли дела с земельной собственностью, в точности неизвестно; иногда ее, разумеется, конфисковывали, но в крупном объеме и регулярно это делалось уже при преемниках Константина. Невероятно, чтобы в 335 г. Константин издал указ о полном уничтожении храмов, как утверждает «Хроника» Иеронима. Все, что совершал сам император или чему он позволял совершиться, рождалось из простой жажды наживы и под влиянием духовенства, и поэтому в действиях его нет никакой логики. Бессмысленно искать рациональную основу за поступками человека, принципиально нерационального в данном отношении.

Что же касается исповедания христианства Константином и его предсмертного крещения, то об этом каждый пусть судит сам.

Огромные внешние изменения, которые претерпело положение, а значит, и структура христианской Церкви при Константине, достаточно хорошо известны и могут нуждаться лишь в кратком напоминании. Одновременно с выходом первого эдикта о терпимости духовенство (clerici) стало считаться отдельным сословием или корпорацией, последствия чего сыграли огромную роль в дальнейшей судьбе Церкви. Подготовка к этому происходила уже давно; с одной стороны, духовенство отъединилось от паствы, с другой — его объединили общие функции, в особенности учреждение соборов. Но стоило ли государству, едва объявившему о религиозной терпимости, так сразу сдаваться? Разве нельзя было, не замечая существования клириков как сословия, вступать в переговоры напрямую с общинами? Константин обнаружил, что духовенство уже обладает значительной властью благодаря своей организации и сильно повысило свой авторитет благодаря гонениям, так что ему оставалось или править, опираясь на эту структуру и доверие к ней, или, в противном случае, приобрести непримиримого врага. Поэтому он всячески выказывал клирикам свое благоволение, позволяя даже участвовать в руководстве империей, они же в отплату преданнее всех проводили в жизнь его волю и не уделяли внимания тому факту, что он сам еще увязал одной ногой в язычестве, а руки его обагряли все новые и новые потоки крови. Теперешнее положение духовенства имело, однако, и печальную сторону. Преследования не только облагородили его нравственный облик, но и стали причиной жестоких столкновений. Те, кто не отступил от своих убеждений, противопоставили себя не только тем, кто во время гонений отрекся от веры или выдал священные тексты, но и тем, кто спасся, воспользовавшись вполне допустимыми для благоразумного христианина средствами. В Африке произошло отпадение донатистов, а также мелетиан в Египте, еще когда не вполне завершились гонения. Так впервые императору представился случай принять участие во внутрицерковном споре, поскольку, раз он однажды вмешался в дела веры, о нейтралитете речь уже не шла. Здесь, как и позднее, в ситуации со значительно более доступным пониманию арианством, Константин проявил тактичность; он, конечно, вставал на одну из сторон, но не карал при этом противников. Он бы, конечно, предпочел единую Церковь, ведь это означало бы единую власть, но он научился приспосабливаться к христианским расколам и не собирался компрометировать императорское звание излишним упрямством или суровостью в отношении людей и предмета, которые не возбуждали в нем никаких эмоций. Константин тщательно изучил реакцию христиан на гонения; ничто не могло сильнее углубить упомянутые разногласия, нежели новые мученические кончины. Он, разумеется, сознавал, что не все его преемники сумеют сохранить подобное же спокойствие; ясно было, что, однажды назвавшись христианами, они позволят личным пристрастиям увлечь себя на ту или иную сторону. Но в результате оказалось, что власть императора имела под собой достаточно крепкие основания, чтобы никакие испытания ей не угрожали, в том числе и иконоборчество VIII века.

В качестве сословия или корпорации духовенство сперва было освобождено Константином ото всех общественных обязанностей (munerumt; 313-й и 319 гг.), сводившимся отчасти к несению обременительных государственных должностей, отчасти к уплате налогов, а то оба эти элемента объединялись в страшном институте декурий. (Люди богатые в надежде на льготы немедленно поспешили в ряды клириков, и в следующем, 320 г. появился соответствующий запрет, который, впрочем, обойти явно было не так уж и сложно.) Другое свидетельство признания корпоративного характера Церкви последовало в 321 г. — ей дозволили принимать многочисленные завещавшиеся ей наследства. Позднее, очевидно после поражения Лициния, государство предоставило духовенству постоянный доход, главным образом от земельной собственности, и долю урожая. Таким образом было положено начало великим богатствам Церкви, а кроме того, государство уступило ей часть собственной власти. Прежде христиане предпочитали сперва разрешать споры, обращаясь к епископам в качестве третейских судей, а уж потом прибегать к мирским, языческим законникам, которые, так или иначе, могли отменить решение клириков; теперь Константин лишил их такого права и сделал приговоры духовенства окончательными. Так старались избежать соперничества между светским и духовным делопроизводством, которое могло оказаться весьма опасным, вне зависимости от того, был ли мирской суд языческим или уже христианским. Этого одного достаточно для объяснения бесчисленных уступок, несомненно угрожавших структуре могучего государства. В данном случае Константин, как всегда, когда он имел дело с Церковью, не учреждал самовольно нечто новое, а лишь утверждал и упорядочивал то, что уже оформилось без всякого его участия. С точки зрения современной науки его легко упрекать за то, что он позволил жестким границам между Церковью и государством исчезнуть; но что ему оставалось, когда, повинуясь духу эпохи, Церковь у него на глазах превращалась в государство, а государство — в церковь, когда каждый христианин — чиновник или судья —

разрывался, исполняя свой долг, между религиозными и гражданскими представлениями, когда ходатайство любого епископа или блажен- ного пустынника могло перепутать все? Начавшая развиваться теократия была не детищем конкретного благоволившего Церкви императора и отнюдь не делом рук отдельных особенно сообразительных епископов, но значимым и неизбежным следствием всего хода мировой истории. Если смотреть на предмет широко, можно сказать, что Евангелию придали статус закона те, кто не верил в него, а именно — правитель, которого нимало не трогала сущность проповедуемой им религии. «Христианство отошло от собственной сути, когда стало законом для всех рожденных, а не для перерожденных». Константин хотел имперской, политизированной Церкви; однако неизвестно — будь на его месте другой, благородный, убежденный христианин, не пришлось ли бы ему следовать той же дорогой.

Как только духовенство возвысилось над обществом, требования его к себе и другим заметно возросли. Уже было предписано безбрачие; отменили государственные наказания, ранее применявшиеся к тем, кто не создал супружеских уз. И если бы старый и слепой Пафнутий, сам аскет и мученик, непревзойденный по части изгнания бесов, не заговорил об этом на Никейском соборе, институт целибата распространился бы на всех клириков. Посвящение в сан и освящение предметов приобрело огромное мистическое значение, стало считаться почти магическим актом, сообщающим своему объекту сверхъестественную мощь. Внутри самого духовенства обострились прежние различия и появились новые. Пресвитер отдалился от диакона, а епископ — от пресвитера; сами епископы имели неодинаковую власть, степень их влиятельности зависела от подчиненного им города. Впоследствии власть эта сосредоточилась главным образом в пяти патриарших резиденциях — в Риме, Александрии, Анти-охии, Константинополе и Иерусалиме. Дабы поддержать престиж епископской должности, вскоре после Константина упразднили так называемых сельских епископов (cwzepidkopoi), живших в поселениях, не имевших статуса города. В зависимости от значимости епархии, честолюбия заинтересованных лиц и могущества уже существовавших партий сторонников того или иного претендента, избрание епископов зачастую становилось предметом жарких столкновении, иногда потрясавших все здание Церкви. Преуспевший редко оказывался наилучшим; способности оратора, политика, а в особенности дельца, даже личные связи, зачастую весьма сокровенного характера, часто позволяли одержать победу над человеком с подлинным призванием. Нижний уровень иерархической структуры составляли теперь не только служители при алтаре и привратники, но огромную группу образовывали так называемые parabolani и fossores, то есть те, кто ухаживал за заразными больными, и могильщики; только в Константинополе их было около тысячи, а в Александрии — примерно вполовину меньше.

Прошло совсем немного времени, прежде чем эта богатая и могущественная Церковь приобрела и надлежащий внешний вид. Величие культу придали великолепные храмы и впечатляющие ритуалы; высшие клирики, по крайней мере в больших городах, зажили по-королевски. Это было естественное следствие переворота, совершенного Константином, обнаружившееся, впрочем, только при его сыновьях и позднее. Особенно ярко свидетельствует о том, каких средств влияния лишилось государство, следующий общеизвестный факт: вся разветвленная система общественных учреждений перешла в руки Церкви, от имени которой повсюду создавались дома для бедных, странноприимные дома, дома призрения, приюты, больницы и прочие филантропические заведения, отчасти на деньги государства, которое соприкасалось со своими подданными исключительно через солдат и безжалостных сборщиков налогов.

Кто помешал бы духовенству, уже обратившему большинство язычников, образовать настоящее правительство? Какими средствами властитель мог сохранить главенство над священниками или хотя бы не превратиться в их слугу и нахлебника? Теперь последнее обиталище императора, как и местных епископов, находилось в церкви Апостолов в Константинополе, «ибо священнослужители достойны такого же почета, что и повелитель, а в местах святых — даже большего».

При ближайшем рассмотрении мы обнаружим, что некоторое внимание императору и его могуществу все-таки уделялось. Во-первых, счастье правителей, что Ветхий Завет, хотя часто описывает раздоры между царями и высшим духовенством Израиля, тем не менее, не сообщает о теократической революции, направленной на свержение власти как таковой, но предоставляет уничтожить ее Богу и царю вавилонскому. Каждый раз, когда речь шла не о язычниках, обращались к Ветхому Завету. Эти люди, как и английские пуритане, просмотрели тот факт, что в нем говорится о совершенно особом, давно исчезнувшем государственном устройстве; а Новый Завет, к которому, конечно, прибегали более охотно, как известно, не имеет отношения ни к формам правления, ни к нациям, но к миру в целом.

Пока император исповедовал правую веру, слово его было неопровержимо; что он

представлял собой как человек и властитель, значения не имело. Константина, предмет безграничной лести, уже не обсуждали; при последующих императорах возникла теория божественного права, не смущавшаяся фактом обожествления языческих императоров и по степени искренности намного эту древнюю практику превосходившая. У Вегеция, в конце IV века, мы читаем: «Как только император принял имя Августа, ему, как истинному и воплощенному Богу, должно оказывать верность и поклонение, ему должно воздавать самое внимательное служение. И частный человек и воин служит Богу, когда он верно чтит того, кто правит с Божьего соизволения».

Но реально императорская власть, опираясь на войско, значительную часть которого составляли варвары, делами религиозными не интересовавшиеся, и на развитую административную систему, слишком крепко укоренилась, чтобы уступить дорогу правлению духовенства. И наконец, Константин был довольно умен — или удачлив — для того, чтобы сделаться главой и центром Церкви и передать это положение по наследству своим преемникам.

Мы уже обращали внимание на его попытку объявить себя «епископом дел внешних». Это не просто способ выражаться; у Церкви просто не было другого центра, что проявлялось прежде всего при выборах митрополитов, ибо, когда собирались все епископы данной провинции, дабы подыскать нового пастуха осиротевшей общине, они учитывали и пожелания императора, так как сами надеялись возвыситься с его помощью. Чтобы полностью использовать свое положение, Церковь в первую очередь нуждалась в руководящем начале. Помимо того, на больших имперских соборах император обладал кое-какими преимуществами, поскольку определял время и место и, что более важно, поскольку многие стремились выяснить его предпочтения и соответствующе голосовать. Если сам он присутствовать не мог, то посылал полномочных представителей и всегда сохранял для себя право утверждать решения, без чего они не были действительны и что придавало им статус закона.

В конце концов, соборы, где все имели равное право голоса, давали прекрасную возможность усмирить ставшие помехой для двора особенно значимые епископства.

Высокая идея собора, как она возникла в первые века христианства, сводилась к тому, что Дух Божий нисходит на представителей общин верующих, когда они вместе благоговейно готовятся держать совет о важных для всех делах. Такого рода чувство, вероятно, объединяло людей, собравшихся говорить о вещах возвышенных, каждый из которых был готов положить жизнь за свои убеждения. Но когда Церковь-победительница простерла свою власть над миром, когда соборы проводились все чаще и во все более великолепной обстановке, быстро обрисовалась печальная картина вырождения.

Первым стал собор в Никее (325 г.), главной целью которого было устранение арианского раскола. Зрелище того, как Церковь, едва спасшуюся от гонений, особенно на востоке империи, раздирает жесточайшая борьба, вызванная спорами о взаимосвязях трех лиц Троицы, — пожалуй, самое неприятное во всей мировой истории. Восточная косность и греческая софистика, равно представленные на епископских престолах, истерзали сами себя и букву Писания, пытаясь измыслить символы, которые сделали бы непостижимое постижимым и помогли бы обосновать высказанные идеи. Начавшись с homoousios и homoiousios (что означает «единосущный» и «подобный»), борьба эта продолжалась несколько сот лет, пройдя через разные ступени развития, и Восточная Церковь распалась на множество ответвлений, одно из которых приняло форму Греческой Православной Церкви и стало поддержкой и опорой Византийской империи. В скрытом виде в данном конфликте столкнулось множество сугубо мирских интересов разных людей, для которых сама суть вопроса была всего лишь лицемерным предлогом. Церковь в этом споре утратила свое внутреннее содержание; находясь в нравственном упадке, она совершенно утратила влияние на верующих; ортодоксальные догмы иссушили духовного человека. Однако все эти события, хотя сами по себе они вызывают крайне неприятные чувства, сыграли огромную роль в мировой истории. Церковь со своими ответвлениями, костенеющая, отрицающая любое развитие, полторы тысячи лет объединяла народы, противостоявшие натиску чужеземных варваров, она даже вытесняла понятие нации, ибо была могущественнее, чем государство или культура, и потому позволила выжить им обоим. В ней одной сохранился византийский дух, не вовсе лишенный будущего, ибо душа Византии — это ортодоксия.

Следует поэтому заключить, что борьба за Второе Лицо Троицы имела весьма убедительное историческое оправдание. Но нам должно воздержаться от дальнейшего рассмотрения вопросов догмы и ограничиться несколькими замечаниями касательно взаимоотношений правительства и духовенства, как они выявились на Никейском соборе и в ходе последующих событий.

Когда александрийский пресвитер Арий выступил с учением о вторичности Сына по отношению к Отцу, его противниками стали александрийский диакон Афанасий и сам епископ, которого звали Александр. Уже в 321 г. Александр созвал собор епископов из Ливии и Египта, где Арий был отлучен от Церкви. Так его доктрина и его положение приобрели значение, которого в

действительности не имели. Внимание к спору и число сторонников того и других невероятно возросли благодаря проповедям, ходатайствам и переписке. Когда епископ Евсевий из Никомедии поддержал тщеславного и эксцентричного, но не такого уж непрактичного Ария, раскол приобрел вид конфликта между александрийской и никомедийской епархиями. На территории последней или неподалеку прошел другой собор, высказавшийся в пользу Ария. Евсевий Кесарийский тоже склонился на его сторону; его «Жизнь Константина» дает нам пример исключительного по своей неискренности и неполноте рассказа об этих событиях.

Так обстояли дела в 323 г., когда Константин, завершив последнюю войну с Лицинием, принял власть над Востоком. Раскол как раз переживал пик. Император, разумеется, предпочитал добиваться всеобщего мира, нежели улаживать противоречия, или поддерживать сильнейшую или более разумную сторону, или удерживать равновесие между ними.

Один из наиболее выдающихся епископов в бывших владениях Лициния, тот самый Евсевий Никомедийский, имевший столь значительное влияние на Констанцию, сестру императора и жену Лициния, почти убедил Константина выступить за Ария. Но придворный богослов с Запада, епископ Осий, уроженец Кордовы, поняв, что собственное его влияние на императора находится под угрозой, достиг взаимопонимания с владыкой Александрии и так все запутал, что Константин увидел единственное решение проблемы в созыве всеобщего собора. Он, конечно, радовался случаю лично познакомиться с клириками своей новой земли и самому произвести на них впечатление, а также положить конец опасной неразберихе провинциальных соборов. Из 318 епископов, собравшихся в Никее в июне 325 года, уроженцами Запада было едва ли полдюжины. Римский владыка Сильвестр не присутствовал лично, но послал двоих пресвитеров, руководствуясь той разумной осторожностью, которая и его преемников удерживала от посещения восточных соборов. Более того, из, может быть, тысячи епископов Востока приглашения от императорской канцелярии получили только те, кто предположительно мог переменить свои убеждения.

И вот когда «сплетенный из прекрасных цветов великий венок иереев», «образ лика апостольского», «подобие первой Пятидесятницы» явился на зов, когда, помимо епископов, собрались многочисленные сопровождающие и толпа «мирян, сведущих в искусстве спора», Константин лично открыл собор. Он был весь в пурпуре, золоте и драгоценных камнях, и из-за этой пышности Евсевий сравнивает его с ангелом Божиим. Но впечатляющим внешним видом дело не исчерпывалось. Из дальнейшего становится ясно, что Осий настроил императора против ариан и что он и его сторонники стремились любыми средствами склонить к той же точке зрения еще не определившихся, особенно упирая на то, что так думает император. Поэтому результат определили не речи Ария и не контраргументы Афанасия, выступавшего за предвечную сущность Сына. Конец обсуждению положил император; против воли большинства Константин настоял на сомнительном определении Ьотооизюоз, и большинству оставалось только подчиниться. Лишь два епископа отказались подписаться под постановлением, и потому заслужили упоминания, даже если их поступок объяснялся отнюдь не благочестивым упрямством; это были Феона из Мармарики и Секунд из Птолемаиды. Наградой им стали анафема и отлучение. Евсевий Никомедийский подписал, но, поскольку падение его уже предопределили, ему и некоторым другим предложили подписать дополнительный пункт, где они отрекались от своих прежних убеждений. Он отказался и был изгнан в Галлию, как и Феогнис, епископ Никеи. Самого Ария сослали в Иллирию. Теперь Константин узнал, и большей частью начал презирать, своих восточных клириков. Как они дрожали перед ним, хоть легко могли развалить всю империю! Многие тайно направили ему письма с обвинениями в адрес своих собратьев; эти послания он повелел сжечь и призвал всех к согласию. Перед закрытием во дворце был устроен великолепный пир: «Дорифоры и гоплиты с обнаженными мечами стояли вокруг царского дворца и охраняли его входы, но служители Божьи безбоязненно проходили между ними и достигали внутренних покоев василевса». Император на прощание одарил епископов и произнес напутствие о мире. Александрийской общине он приказал написать: «Все, что ни делается на святых соборах епископов, должно быть отнесено к воле Божьей».

Но теперь борьба приняла действительно серьезные формы. Спустя три года (328 г.) Константин, не имевший никакого конкретного мнения касательно богословских вопросов, решил, очевидно, по наущению арианского пресвитера, рекомендованного ему умирающей Констанцией, что будет лучше — или справедливей — придать делу новый оборот. Арию и прочим сосланным дозволили вернуться; Осия устранили или, по крайней мере, он надолго скрылся из виду; антиохийская епархия была, так сказать, взята штурмом и захвачена арианином, что повлекло за собой вопиющие происшествия и взволновало городское население, вообще достаточно озлобленное. Евсевий Никомедийский, игравший основную роль во всех этих событиях, повел атаку на ненавистную епархию Александрии. Но там он обнаружил своего грозного противника, Афанасия. Афанасий являет собой первый пример того, как в средневековой Церкви выглядели

высокопоставленные иерархи. Он с юности начал продвигаться по лестнице священных чинов, полный высоких идей и целей (например, он мечтал об обращении Абиссинии), никого не боясь и не замечая препятствий, готовый на любую жертву ради дела, равно беспощадный как к себе, так и к другим, не способный понять чужую точку зрения и не всегда щепетильный в выборе средств. Насколько мы можем судить, судьба ортодоксии в то время зависела исключительно от него. Константин потребовал от этого человека вернуть Арию его доброе имя; тот отказался и стал действовать по-своему. Противники возвели на него политический поклеп, так как дела религиозные Константина задеть не могли; тогда Афанасий поспешил ко двору и лично завоевал расположение императора. Наконец его враги решили, что нашли верное оружие; они обвинили епископа перед Константином в нетерпимости, заявили, что он преследовал мелетиан, которые в Никее наслаждались миром и спокойствием. Действительно, в этом Афанасий был не совсем неповинен, но мелетиане вели себя намеренно вызывающе. Император решил, что дело нужно разобрать на соборе, который хотел созвать в Кесарее, в Палестине; Афанасий, однако, объявил (334 г.), что никогда не предстанет перед судом, состоящим сплошь из его смертельных врагов. И Константин снова покорился! Но непрекращающиеся нападки все же сыграли свою роль, и на следующий 335 г. собрание было созвано в Тире, откуда благочестивые отцы отправлялись прямо в Иерусалим, дабы присутствовать при освящении храма Гроба Господня. Начальствовало на соборе высокое должностное лицо по имени Дионисий. Самое серьезное обвинение (см. гл. 6) Афанасий блестяще опроверг; для расследования по остальным пунктам в Александрию направилась пристрастная комиссия, и решение было вынесено. Ариане наслаждались триумфом, в Никее такая радость досталась ортодоксам. Но практически тут же Афанасий снова оказался при дворе. «Едва я въехал в Константинополь, — пишет император, — как вдруг навстречу мне попался он со своими сторонниками; Бог свидетель, что сперва я даже не узнал его ,и не хотел сначала ни о чем говорить с ним». Результатом этой встречи стало то, что Константин вызвал епископов из Тира в столицу, дабы они немедленно дали отчет в своих поступках и решении. Здесь они впервые решились на самоволие; вместо всех по призыву явилось только шестеро главных, и император сдался, хотя и не окончательно. Он сослал Афанасия в римскую колонию, в г. Трир, но с условием, что александрийская епархия занята не будет, очевидно, предполагая при удобном случае возвратить ссыльного. Трудно понять, то ли Константин испугался, увидев неповиновение епископов, то ли руководствовался другими соображениями. Истцы утверждали, что Афанасий' угрожал помешать отплытию из Египта кораблей, груженных зерном, но едва ли император верил в это, даже если делал такой вид. Затем он вызвал Ария в Константинополь, по-видимому, с самыми дружескими намерениями. Выйдя из дворца, Арий неожиданно почувствовал себя плохо и тут же скончался (336 г.) в близлежащем отхожем месте, которое спустя столетие стало местной достопримечательностью. Вряд ли ему дали яд; смерть его была невыгодна Константину.

Император бы, конечно, предпочел иметь крепкую, дружную Церковь, но тут внутри нее начались серьезные разногласия. Поскольку он сам внутренне был равнодушен к происходящему, то успешно балансировал между разными партиями и по-настоящему не поддерживал ни одну из них. Он позволял им побеждать по очереди и вмешивался только затем, чтобы о нем и его власти не забыли. Скорее всего, он понимал с самого начала, что борьба ведется ради борьбы и примирение возможным не представляется. Такого отношения преемники его не понимали, поскольку их самих трогали богословские вопросы, и они разрешали избранной группе преследовать своих противников и мстить им.

Подлинное свидетельство беспристрастности Константина имеется в его эдикте против еретиков, выпущенном в последние годы его жизни. Христианин-составитель горячо нападает на еретиков — новациан, валентиниан, марки-онитов, катафригийцев и прочих; но после всех бранных излияний следует всего-навсего повеление уничтожить места их собраний. Евсевий ликует: «Темные ущелья иноверцев разрушались, и звери, то есть предводители их безбожия, обращались в бегство», однако легко заметить, что это не вполне удовлетворяет автора. О новацианах сказано особо, что Константин хотел их только немного напугать. По-видимому, гонение как таковое велось только против монтанистов или катафригийцев, которые, будучи фанатиками, могли представлять опасность, и даже их не трогали во Фригии, на родине ереси. После осуждения Ария всем церквям был отправлен указ сжечь его произведения, завершавшийся словами: «Тот, кто сокроет книгу, будет предан смерти. Бог да хранит вас!» — и Арий мирно жил в изгнании и даже пользовался почетом.

После смерти Константина сыновья его сразу же погрузились в религиозные проблемы. Воспитание их к этому располагало, а в характерах не было благородства, которое могло бы их сдерживать. Сократ Схоластик, к примеру, рассказывает, как Констанций перешел на сторону арианства. Безымянный пресвитер, якобы открывший Констанцию волю отца и поэтому утвердившийся при дворе, сперва обратил в арианство начальника императорской опочивальни

Евсевия, евнуха, а потом и всех остальных евнухов; они вместе с пресвитером убедили в своей правоте императрицу, и наконец выбор сделал сам Констанций. Затем прочие придворные, гвардия и город Константинополь разделились. Во дворце дискутировали евнухи и женщины, и каждый дом превратился в трибуну, где происходили словесные битвы. В конце концов такое положение вещей распространилось по всему Востоку, тогда как на Западе Константин II и позднее Констант были целиком на стороне Афанасия. Дела шли своим чередом: жестокие гонения, ссылки, убийства. По тако- му случаю вспомнили пытки времен Максимиана. К крещению и причастию стали принуждать, и епископские места распределялись теперь строго между членами групп. В нашу задачу не входит описание последующих кризисов. Не только процветала Церковь, влекомая своим неисправимым упрямством и амбициями, а также невероятной любовью к спорам, — рос и мальчик Юлиан, едва избежавший общей участи всех родственников Констанция. Его и брата Галла готовили для рукоположения в священный сан на вилле Мацелл в далекой Каппадокии; отдых их состоял в строительстве часовни для святого мученика Мамы. В такой обстановке формировался разум будущего проповедника язычества.

Нельзя, впрочем, забывать, что, поскольку Церковь-победительница разъединилась на множество ответвлений, то же произошло и с религией. Благородные нравственные последствия введения христианства как-то ушли из виду, уступив место бесконечным ссорам иерархов за букву учения. Герои этого и последующих десятилетий, Афанасий, Василий, Григорий Назианзин, Иероним, Хризостом — все несут в той или иной степени четкий отпечаток не только религиозности, но и внешней «церковности», почему кажутся более односторонними и менее симпатичными, нежели грандиозные, совершенные и гармоничные фигуры античности; но жизненные принципы первых, конечно, неизмеримо благороднее.

О действительных глубине и характере нравственных следствий принятия христианства нельзя судить по Евсе-вию, который не дает усомниться, что божественной наградой за обращение стали счастье на всей земле и господство над миром. Сознательно или бессознательно, но изменилось, пожалуй, отношение к светскому. Огромная масса, конечно, как и прежде, хотела наслаждаться всеми возможными и дозволенными государством удовольствиями, но люди более серьезные полностью воздерживались от многих жизненных радостей, и в конце III века даже христианский вероучитель нашел нужным выразить опасение, не повредит ли браку отдаление между мужем и женой. Многие чувствовали необходимость поделиться своими земными богатствами с бедными и церквями, а некоторые даже совершенно отказывались от собственного имущества. Две черты тогдашнего христианства — благотворительность и аскетизм, если не говорить о третьем его проявлении — миссиях к языческим народам, в которых участвовали почти исключительно духовные лица.

Что до благотворительности, то христианин, следуя известному изречению, начинал с собственного дома и со своих рабов, обращался с ними милосердно или же отпускал их на свободу. Само по себе рабство не считалось чем-то неправильным; и в позднейшие времена монастыри могли иметь собственных невольников. Но освобождение их все быстро осмыслили как благодеяние, и при Диоклетиане Хромации, префекте города Рима, волю получили примерно тысяча четыреста рабов. В конце IV века значительно большие размеры это явление приняло в благочестивом кружке блаженного Иеронима, правда, среди тех, кто полностью отверг мир; впрочем, их современник Хризостом требовал неограниченного отпуска рабов. Молодой солдат Мартин из Тура оставил себе одного такого слугу, причем относился к нему, конечно, с глубочайшим смирением, часто снимал с него обувь и прислуживал ему за столом. Константин уже пытался лишить господина власти над жизнью и смертью своего невольника, хотя прописанное в законе различие между смертью *после* жестокого обращения и *в результате* жестокого обращения легко позволяло господину выйти из положения. Считалось также, что раб может в ходе избиения умереть естественной смертью — «по велению судьбы». Теоретически язычники придерживались прежнего взгляда на рабство; Фемистий отказывал рожденным несвободными в наличии высшей мыслительной способности, а Макробий вполне серьезно рассуждал, в самом ли деле раб — человек и заботятся ли боги о рабах. Фактически большинство язычников содержали невольников совсем не так жестоко.

Благотворительность в узком смысле, зиждившаяся отчасти на вере в ничтожность земных благ и отчасти на христианском долге облегчать участь нищих и страдальцев, осуществлялась таким образом, что это создало серьезные проблемы для экономики страны. Сперва раздачу милостыни доверили особой группе церковников, а именно диаконам; их часто обманывали недостойные, но в си- туации войны с ecclesia pressa[1] в том, чтобы не уделять внимания таким

[1] Притесняемая Церковь (лат.).

мелочам, виделось некоторое величие. Это было следствие всеобщего восторженного возбуждения и вечной готовности к худшему. Диаконы по роду своего служения лучше знали конкретных людей, вернее могли проверить их. Но впоследствии щедрость жертвователей не знала пределов, принимая любые формы. Нашему веку, настаивающему на необходимости труда, сложно понять это явление; но неизвестно, можно ли было решать проблему иначе в империи почти целиком аграрной, где распределение земельной собственности становилось все более неравным, в империи, города которой заполнялись нищим пролетариатом и крестьянское население которой так уменьшилось, что возникла нужда в варварских поселениях. Столетиями городское население получало огромные пособия по безработице, конечно таковыми не считавшиеся, а именно — проводились раздачи продуктов, сначала только для обитателей Рима, предполагаемых повелителей страны, потом, в виде императорской милости, — во множестве крупнейших, а потом и менее значительных, городов. Они кормились трудами села, так как большая часть доходов империи поступала натурой. Некоторые виды подобной помощи впервые появились в эпоху Константина.

С признанием христианства Церковь получила огромные средства благодаря разнообразным пожертвованиям, не говоря о дарах государства; поэтому она была в некотором смысле обязана часть этих средств уделять на благотворительность. Выше мы уже перечисляли учреждения, таким образом созданные милосердными епископами и общинами, — xenodochia (странноприимные дома), ptochotropia (приюты для бедных), gerokomia (приюты для престарелых), nosokomia (больницы), orphanotrophia (сиротские приюты); Василии, основанные и выстроенные Василием Великим в конце IV века, могут считаться идеальным образцом подобных заведений. По большей части они предназначались для людей действительно беспомощных, что было в самом деле значительным прогрессом по сравнению

с миром языческим, хотя государство действовало в этом направлении еще в далекие античные времена.

Само правительство, как уже говорилось, передало Церкви эту роль и возможность влияния на народ вместе с ней. К примеру, Константин даровал александрийской Церкви особый вид аппопае, то есть годового запаса зерна, для раздачи бедным, несомненно, дополнительно к обычной аппопае, данной городу Диоклетианом. Церковная аппопа была попросту небезупречным средством привлечения новых сторонников, и пожертвования Константина явно рассчитывались на это. Например, когда он основал епископство в Гелиополе, а город при этом остался почти совершенно языческим, император стал оказывать любезную помощь бедным, «заботясь о наибольшем обращении людей к Слову». Его собственные дары и пособия, конечно, носили в основном случайный и политический характер; позднее он, по-видимому, принял руководство священников также и в данном вопросе. Когда, после победы над Мак-сенцием, он захотел добиться в Риме популярности, то раздал богатым и бедным крупные суммы денег, которые принес с собой либо отыскал в городе. Люди, ранее имевшие положение в обществе, но оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, получали и деньги, и почести; девушек из хороших семей он выдавал замуж за членов своего окружения, снабдив их приданым, а оборванные нищие с Форума получали милостыню, пищу и приличную одежду, последнюю, очевидно, потому, что нагота считалась непристойной.

В последние годы великолепным поводом для подарков стало пасхальное утро. Придворный епископ по такому случаю дает волю своей любви к пафосным речам, но язвительные слова Аммиана могут служить уточнением: «На основании совершенно ясных свидетельств можно утверждать, что впервые Константин дал открыть пасть своим приближенным, а Константин кормил их до отвала самым мозгом провинций». Дары императора никогда не могут служить основой для сравнения, так как неизвестно, почему он дает их и откуда берет средства. Есть какая-то двусмысленная политическая окраска даже в благодеяниях старой Елены. Путешествуя по Востоку, она преподносила крупные суммы жителям городов и, кроме того, лично тем, кто приходил к ней. Она также давала деньги солдатам; бедные вдобавок получали еще и одежду; она выручала заключенных в темницу за долги, сосланных и претерпевавших другие виды притеснения. Очевидно, Константин считал такие похождения единственного достойного доверия члена семьи весьма уместными и созвучными с духом Востока. О финансовой системе, на которой основывалось подобное благородство, мы скажем позднее.

Оставим же теперь облаченного в пурпур себялюбца, который выверял и рассчитывал все, что делал или вынужден был делать, повинуясь собственной возросшей мощи. Противоположность его пустому, в сущности, государственному авторитету составляет великая жертвенность тех, кто отдавал все, что имел, дабы «посвятить себя Богу»; здесь милосердие и аскетизм соединились гармонично и совершенно. Мужчины и женщины, частью из высших кругов общества, привыкшие наслаждаться всеми радостями жизни, буквально понимали наказ Христа молодому богачу: они продавали свое

имение и шли служить бедным, и в центре мира, окруженные шумом больших городов, они жили в добровольной нищете, предаваясь созерцанию горних высот. Даже этого было мало некоторым из них; они бежали от мира и цивилизации, становясь «спасающими душу» отшельниками.

Истории свойственно скрывать истоки великих явлений, но о развитии феномена пустынничества и его превращении в монашеский институт она предоставляет нам полный и законченный отчет. Никакое другое направление или событие не охарактеризует для нас III и IV века лучше.

В природе человека заложено стремление, когда он почувствует себя потерянным в огромном и чужом внешнем мире, пытаться найти свое «я» в одиночестве. И чем острее он ощущает внутренний раскол, разрыв, тем более совершенное одиночество ему нужно. Если религия добавляет к этому чувство греха и жажду вечного ненарушимого единения с Богом, то все земные связи исчезают, и затворник становится аскетом, отчасти из раскаяния, отчасти — чтобы не быть обязанным миру ничем, кроме самого факта бытия, отчасти — чтобы душа постоянно могла сообщаться с высшим началом. Под властью таких настроений отшельник, дабы запретить себе вернуться к предыдущему состоянию, дает обеты. Если несколько человек, чьи души пылают одним огнем, встретятся в пустыне, на основе их обетов и схожего образа жизни возникнет община со строгим уставом.

Наличие анахоретов свидетельствует о не вполне здоровом состоянии общества и психики людей, они, скорее, принадлежат периоду кризиса, когда многие сокрушенные души ищут успокоения и многие могучие сердца заходят в тупик из-за самого жизненного устройства, и должны вести борьбу с Богом, удалясь от мира. Но если кто-нибудь, будучи погружен в современность с ее тягой к деятельности и чрезмерно субъективным взглядом на вещи, захотел бы поместить всех отшельников куда-нибудь в работный дом, пусть не считает это свежей и спасительной мыслью; она не новее рассуждений тысяч людей IV столетия, слишком слабых или слишком поверхностных для того, чтобы понять, какие силы вели этих выдающихся личностей в пустыню. Не говоря о том, что приобретал или терял аскет в Фиваиде или в холмах у города Газы, все это имело огромное значение для истории, о котором не должен забывать исследователь. Именно такие отшельники сообщили монашеству последующих столетий благородно-целомудренное отношение к жизни или по крайней мере стремление к этому идеалу; без него Церковь, средоточие всех духовных интересов, постигло бы полное обмирщение, и она оказалась бы во власти грубой материальной силы. Наша эпоха, упиваясь свободной работой мысли, обмениваясь плодами интеллектуальных усилий, слишком быстро забыла, что всем этим она обязана тому ореолу сверхъестественного, которым средневековая Церковь наделила науку.

Первыми христианскими отшельниками были египтяне и жители Палестины, которые вели более или менее уединенную жизнь вблизи своих жилищ и иногда брали учеников. Но такое половинчатое существование не удовлетворяло Павла (235—341), Антония (252—357), Илариона (292—373). Чтобы полностью отгородиться от земных соблазнов и окончательно посвятить себя Богу, они удалялись от мира и по шестьдесят—восемьдесят лет жили в настоящей пустыне. Некоторые бежали от гонителей — римлян; но многие искали одиночества ради него самого, и никогда не возвращались из пустыни, потому что она становилась для них домом и потому что они не могли без ужаса подумать о жизни в насквозь прогнившем обществе. Более того, «когда мир принял христианскую окраску, отнюдь не ничтожнейшие из христиан уходили в пустыню, на время или навсегда, дабы там обрести свободу, которая, казалось, покинула победоносную Церковь. Монашество первых времен неопровержимо свидетельствует о том, что создание Константина было фальшивым» *(Цан.* Константин Великий и Церковь).

Павел Пустынник жил в потайном убежище в горах, где в дни Клеопатры обитали фальшивомонетчики. Они устроили в скале пещеру, и Павел обнаружил в ней ржавые молотки, которыми чеканили монеты, и наковальни. Укрыви-ще находилось в тени старой пальмы, его орошал маленький источник. Антоний сперва приготовлял себя к отшельнической жизни неподалеку от родного дома (вблизи Гераклеопо-ля, что в Среднем Египте), затем он долгое время прожил в гробнице, потом — в пустыне, кишевшей змеями, и наконец бежал от верующих в оазис, окруженный скалами; об этом мы поговорим ниже. Иларион из Тавафы, что возле Газы, отыскал самое любимое разбойниками место во всей округе, между топью и морем, и там служил Господу — сперва вовсе без какой-либо крыши над головой, потом — в маленькой камышовой хижине, а затем — в каменной келье пяти футов в высоту. Лишения, на которые обрекали себя эти воспитанные в роскоши люди, столь чудовищны, что лишь мужчины очень крепкого телосложения способны были выдержать их. На наш взгляд, большие мучения, чем недостаток пищи, как качественный, так и количественный, приносила ужасная грязь и отвратительные насекомые, страдать от которых от-

шельники считали себя обязанными, как и в XIV веке брат Аманд и другие. Впрочем, это было вполне естественно после того, как предыдущие поколения предавались в роскошных банях всем видам телесных наслаждений. Крайне тяжело переносимую нехватку общения можно не брать в расчет: вся культура и образованность пустынников сводилась к тому, что они знали Библию наизусть. Это, однако, не спасало их от жесточайших внутренних борений, частью представавших в форме демонских искушений. Тут легко предположить, что перед нами типичная для античности персонификация духовных сил, но на самом деле такого сложного объяснения совершенно не требуется. Иногда причиной является собственная чувственность этих отшельников, иногда — воспоминания о былой жизни, иногда ужасы пустыни навевают на анахоретов мучительные кошмары. Весь мир помнит, как в гробнице, служившей Антонию жилищем, появилось адово воинство, хотя оно чем-то напоминает бурлески Жака Кал-ло: «Демоны... разорив четыре стены Антониева жилища, вторгаются, преобразившись в зверей и пресмыкающихся. Все место мгновенно наполнилось призраками львов, медведей, леопардов, волов, змей, аспидов, скорпионов, волков. И все эти привидения производят страшный шум, обнаруживают лютую ярость». Бывало, что демоны приходили в человеческом обличье, пританцовывая, крича и свистя, и до полусмерти избивали святого. Еще более пестры видения Илариона. Каждую ночь вокруг него раздавались разнообразные звуки: плач младенцев, блеяние овечьих стад, рев быков, трубный зов армий. В ясном свете луны прямо на него помчалась колесница, влекомая взбесившимися лошадьми, но земля поглотила ее, стоило ему вскричать: «Иисус!» Ему являлись обнаженные женщины и богато накрытые столы, или же, пока святой стоял на молитве, на него прыгали лисы и волки. Однажды перед его глазами совершился поединок гладиаторов, и побежденный пал у его ног и умоляющим взором попросил о погребении. Злой дух принимает даже то жестокое обличье, которое помогает запечатлеться в нашей памяти приключениям Синдбада: он вспрыгивает на коленопреклоненного, но почему-либо отвлекшегося Илариона, седлает его, как всадник, издевательски лупит пятками по бокам и отказывается слезать.

Спокойнее всего пустынники относились к демонам, которые честно носили собственную личину сатира или кентавра и иногда стремились к обращению и искали заступничества. Что касается кентавров, здесь великий Иероним отказался решить, были ли они просто масками дьявола или пустыня действительно порождает таких чудовищ, но настаивает на реальности сатира, указавшего Антонию дорогу к святому Павлу и молившего о заступничестве. При Констанции подобное создание якобы было поймано, принесено в Александрию живым, но там умерло; его тело набили солью и отправили в Антиохию, чтобы император, там находившийся, мог узреть это чудо. Кроме того, у сатира святого Антония сохранились козлиные ноги и рожки, что выдает в нем Паниска; он не утратил также и крючковатого носа старого развратника.

После периода испытаний в жизни аскета наступал новый этап, вызывавший смешанные чувства. Мир, нуждающийся в помощи, узнавал о нем, прозревал в нем нечто необычное и возвышенное и отыскивал его в глуши. Отшельник начинал творить чудеса, без помощи мистерий и фантасмагорий, посредством одной только молитвы. Приносило ли это пользу душе его? Не вспыхивала ли в ней неизбежная гордость? Вокруг собирались почитатели и строили рядом собственные кельи; рано или поздно ему приходилось признать их своими учениками, и из-за количества посетителей он вскоре начинал нуждаться в помощниках. Наполовину против своей воли он становился «отцом», господином. Антоний, несколько десятилетий такую жизнь терпевший, бежал наконец в глубину пустыни (около 310 г.) и там, в окрестностях Афродитополя, обнаружил гору и несколько пальм, питаемых сбегавшими с нее ручейками. Но и там отыскала его братия, и ему пришлось разрешить поселиться с ним двоим из них — Пелузиану и переводчику Исааку. Снова к нему повалили бесконечные паломники, еретики и православные, высокие римские чиновники и языческие жрецы, здоровые и больные, в таких количествах, что сочли необходимым создать постоянно действующее верблюжье сообщение от Афродитополя через пустыню к жилищу отшельника. Ему не оставалось ничего, кроме как выстроить труднодоступную келью на отвесной скале, чтобы скрываться туда хотя бы изредка. Последним его велением было хранить в тайне место его погребения, поскольку богатый землевладелец, живший по соседству, уже поджидал его тела, дабы соорудить у себя в поместье martyrium, то есть церковь с гробницей святого, вероятно надеясь извлечь из этого деловую выгоду. Двое учеников сдержали слово, видимо боясь самого Илариона.

Ибо Иларион отправился в Египет, тоже стремясь лишь спастись от невыносимого наплыва посетителей и от опеки тысяч товарищей-пустынников, присоединившихся к нему в пустыне у Газы. В его биографии, одном из наиболее интересных произведений Иеронима, весьма живо описывается, откуда взялась и как выглядела эта толпа. В Газе и ее гавани Маюме стало известно, что в пустыне живет святой отшельник. Благородная римская дама, трое детей которой во время путешествия заболели лихорадкой, пошла к нему в сопровождении служанок и евнухов и слезами и стенаниями вынудила его пойти в Газу, где он и исцелил детей. С тех пор паломничества из Сирии и

Египта не прекращались, однако в непосредственном соседстве язычество обороняло свои позиции особенно упорно. Великий бог Марна в своем храме в Газе вступает с Иларионом в настоящее состязание, и в торговом, привыкшем к роскоши городе происходит раскол, понять суть которого представляет определенную трудность. Выражается этот раскол в том, что к святому постоянно приводят одержимых, то есть преимущественно тех, кто разрывался между двумя религиями, причем обе были демонические. Теоретически жертва не сознавала, что она одержима; согласно древнейшему, более общему взгляду, демон самостоятельно выбирал себе человека или животное, или же его могли призвать злобствующие чародеи. Так, Иларион однажды исцелял бесноватого верблюда. Демон воспринимался как другая личность, отдельная от одержимого, и мог, например, говорить по-сирийски или по-гречески, тогда как жертва знала только латынь и франкский. Демон олицетворяет злых языческих богов, и в данном случае, конечно, Марну. Соревнуясь с идолом, святой отступил от своих принципов и противопоставил языческой магии христианскую. Один из цирковых антрепренеров города Газы, еще не обращенное должностное лицо, почитал Марну, и у него был чародей, который помогал выиграть лошадям своего патрона и замедлял бег коней противника. Последний, христианин Италик, воззвал к Илариону, который сперва высмеял его и спросил, почему тот не продаст лошадей и не раздаст полученное бедным. Но святого тронуло естественное желание этого человека искать поддержки у Господнего раба, а не у колдуна, а также мысль, что речь идет и о победе христианства в целом. Он дал Италику чашу с водой, которой следовало окропить животных, колесницу, конюшню, наездника и запоры карцеров. Зрители с напряженным интересом следили за ходом скачек, лошади христианина легко выиграли, и даже язычники кричали: «Христос победил Марну!» — так что многие после этого обратились. Тем не менее однажды Иларион исцелил смертельно больного циркового наездника лишь с тем условием, чтобы тот навсегда оставил свое ремесло.

Как чудотворцами, так и монахами отшельники становились наполовину против своей воли. Жилища тех, кто последовал за ним в пустыню, постепенно образовали монастырь, глубоко преданный своему настоятелю.

В Египте пример такого рода представляет не только община иудеев-терапевтов, которая вела подобный же образ жизни у озера Мареотида, но и те, кто обитал в каморках при святилищах Сераписа; то была жесточайшая из форм аскетизма, однако в христианском мире находились люди, пусть и немногочисленные, кто отважился принять на себя этот подвиг. Помимо того, в тамошнем климате умеренность была не только возможна, но и необходима, и, как мы увидим, развитая промышленность страны облегчала существование неженатым ремесленникам, не имевшим или почти не имевшим земельной собственности. Везде, где бы ни поселился Антоний, собирались бесчисленные анахореты, и он наставлял их молитвой, примером и поучениями; но он никогда не считал целью своей жизни создание для них устава и не находил нужным руководить ими согласно заранее выработанному плану. Этим скорее занимался Пахомий, живший приблизительно в первой половине IV века. Молодым человеком он понял цену жесткой дисциплины, побыв недолгое время солдатом, и применил это знание на практике в знаменитом монастырском сообществе в Тавенне, между Тентиритом и Фивами. Еще при нем там жило несколько тысяч монахов, и правила, установленные им, получили применение в других монашеских объединениях, возникавших тогда же или позднее. Из них наиболее значительны: арси-нойское, располагавшееся неподалеку от озера Мерида (десять тысяч обитателей во времена Валента); поселение в Нитрийской или Скитской пустыне, к западу от Дельты; так называемая Еремика поблизости от Александрии; и, наконец, отдельные монастыри и кельи, разбросанные по всему побережью Средиземного моря и озера Мареотида, а также расположенные на Красном море и Синайском полуострове. Но Тавенна была самой могущественной; на памяти Иеронима пятьдесят тысяч монахов сходились на праздник Пасхи; они не обязательно жили в главном монастыре (monasterium majis), собирались люди изо всех поселений, входивших в общину Тавенны. Оказывается, не все монастыри располагались в пустыне; еще до конца IV века они начали появляться и в городах, борясь с остатками язычества. Так, например, храм Канопа в одноименном городе превратился в монастырь Метанойя («покаяние»). По своей структуре эти учреждения были отчасти монашескими, то есть там имелись большие дома, где могло жить много иноков, а отчасти они представляли собой lauras — ряд удаленных друг от друга келий, тоже в своем роде жилища отшельников. Во времена, о которых идет речь, в Египте такой образ жизни избрали по меньшей мере сто тысяч человек. Кроме того, мы узнаем и о появлении женских монастырей; один из них, руководимый сестрой Пахомия, уже в 320 г. насчитывал четыреста обитательниц.

Исторический феномен такого масштаба подразумевает глубокие национальные корни, и если бы народ погиб, то именно по этой причине. Для Египта было естественно в вопросах религии бросаться из крайности в крайность. Избавившись наконец, после долгой борьбы, от языческого фанатизма, египтянин полагал, что должен посвятить жизнь новой религии, таким же образом, как его

предки — символическим изображениям. Отсюда это удивительное факирское существование, последний вклад духа Древнего Египта в мировую историю; отныне он пребывает в бездеятельности.

Правила, данные Пахомием этому множеству, были результатом необходимости, но одновременно стали первым шагом к фальши и показухе; отныне аскеза — не плод свободного личного порыва, но общее установление, долженствующее заставить многие тысячи совершенно разных людей вести себя одинаковым образом. И если кто-то задумается над этим, то поймет, что Пахомий отталкивался от очень низкого среднего уровня и что его свод правил опирается прежде всего на людей без призвания к пустынной жизни, которых, однако, следовало удерживать в требуемых пределах. Труд, необходимый для прокорма монастыря, облегчал эту задачу. С увеличением численности монахов в египетской промышленности должны были наступить значительные изменения. Поскольку общины не просто плели корзины и циновки из осоки с берегов Нила, но занимались важными ремеслами — ткали лен и дубили кожу (не говоря о прочем производстве), то многие фабрики в стране оказались в невыгодном положении, ведь на открытом рынке Александрии монастыри могли предлагать товары по значительно более низким ценам. Управляющий большого монастыря, распределявший задачи и организовывавший поставки, был чем-то вроде крупного промышленника. Одинокие монахи сами продавали плоды своего труда, и даже вполне успешно, невзирая на устав. В остальных случаях монахи работали скорее ради пользы для души, чем ради добычи необходимого для жизни, и любые излишки следовало раздавать бедным. О земледелии среди общин известно немного; с другой стороны, монастыри имели на Ниле большие корабли, очевидно, тоже не просто так.

Монах не только работал, но и молился, принимал участие в ритуалах и предавался разнообразным самоистязаниям, игравшим немалую роль в жизни, принципиально не отмеченной разнообразием содержания. Сложно ожидать, что он стал бы заниматься литературным творчеством, уже исходя из происхождения и направленности рассматриваемого учреждения; в самом деле, чего в этой области добилась эрудированная Александрия, с ее греческой и восточной ученостью? Монах преследовал идеалы и цели, являвшие полную противоположность языческой сверхобразованности и распущенности, и если между двумя нравственными мирами, именуемыми «язычество» и «христианство», и существовали точки, где они примирялись или даже сближались друг с другом, то, по крайней мере, в данном вопросе отношения между ними строились на глубинной, неискоренимой враждебности. Каждая строчка, дошедшая от предыдущих столетий, будь то иероглифы или греческая скоропись, несла на себе омерзительный отпечаток язычества, идолопоклонничества, колдовства; потому читать оставалось (настолько, насколько чтение дозволялось вообще) только благочестивые христианские книги, написанные большей частью такими же монахами или переведенные на египетский с других языков. Ситуация с древним искусством была такая же, как с древней литературой; Аммония, например, восхваляли, поскольку, навестив Рим, он заметил там лишь базилики Святого Петра и Святого Павла.

Далее, строгая дисциплина должна была отрезать монаха от всех его предыдущих связей, в первую очередь от семьи, оберегать его от создания новых и заставлять трудиться. Правила Пахомия носят по преимуществу запретительный характер, производя мрачное впечатление полицейских постановлений, и в этом их позволительно сопоставить с Уставом святого Бенедикта. Статьи договора гуляли по монастырям, их обсуждали и издевательски перетолковывали, при этом соперничая друг с другом, что вполне соответствовало характеру самой страны. Так, ни в одном установлении общин Запада не написано, что монахи должны спать каждый в запертом деревянном стойле, как в футляре. Тем более, что египетский язык всегда сохраняет таинственность и некую мистичность, и говорили, что Пахомия и его учеников Корнелия и Сира обучил этому языку ангел, и оный язык представляет собой (судя по имеющимся примерам) всего лишь условное обозначение отдельных предметов и лиц буквами алфавита. Кроме того, известно, что Пахомий придумал делить своих иноков на двадцать четыре группы согласно их способностям и душевному складу и назвал эти группы «альфа», «бета», «гамма» и так далее. Однако сложно поверить, что человек столь практичный во всех прочих отношениях настолько не разбирался в психологии.

Конечно, не следует искать идеал христианской жизни среди монашеских поселений. Вместе с ними существовали и настоящие пустынники, и к ним, учитывая обстановку в тогдашнем мире, мы должны отнестись с пониманием. Большинство знаменитых отшельников IV века проводило часть жизни в монастырях, однако или до того, или после, но они избирали путь полного одиночества, и монастырь разве что посылал им хлеб и соль. Но и так они не могли избежать гордости, жестоких искушений, безумных видений. Епитимьи, которые они на себя накладывали, носили иногда поистине убийственный характер; однако эти люди не просто считали себя счастливыми, а жизнь свою — достойно прожитой; от них остались глубокие и прекрасные высказывания, доказывающие, что это счастье было не самообманом, но проистекало из постоянной сосредоточенности на высоком.

Имена Аммония, Арсения, Еллия, двух Макариев и многих других всегда останутся высеченными на скрижалях Церкви.

Третья форма, которую принимало египетское монашество, — пользовавшиеся сомнительной славой ремобофы, жившие по двое или трое в городах и замках, не имевшие определенного устава, но следовавшие собственным склонностям и потому нередко ссорившиеся. Они кормились торговлей, и им платили больше, чем другим, ведь они были святые. Соблюдая пост, они не избежали обвинения в тщеславии, и говорят, что по праздникам они предавались греху чревоугодия.

Здесь не место говорить о дальнейшем развитии египетского монашества, его ответвлениях и о том, какую роль оно играло в расколах, сотрясавших впоследствии Церковь.

В Палестине при святом Иларионе экономическая ситуация иночества была совершенно другой, и потому облик его оказался полностью иным, нежели в Египте. Господствовали земледелие и виноградарство. Многие монахи даже не расставались с личной собственностью и едва ли отличались от неженатых фермеров, содержащих наемных работников. Сам основатель продолжал жить в невозделанной пустыне и глубоко опечалился, когда благодаря ему в пустыне этой поселились люди. Но «виллы» многих его товарищей, где поспевал виноград и колосилось жито, очевидно, находились в местах более удобных для жизни. По-видимому, вокруг жилища Илариона с течением времени возник собственно монастырь; помимо того, палестинские монахи создали крупную, обширную, не отличающуюся прочными внутренними связями лавру. Если в Египте Па-хомий сумел созвать всю общину на праздник Пасхи в Тавенну и всех ее чиновников и должностных лиц — на праздник всепрощения в месяце месоре (август), то Иларион в Палестине сам вынужден был периодически обходить свои владения, дабы повидать преданных ему людей. В этих странствиях его сопровождали две тысячи монахов; сперва они носили провизию с собой, но потом стали кормиться у встречавшихся на пути землевладельцев. Поскольку святой не хотел пропустить даже самой дальней и бедной кельи, дорога часто приводила его в сарацинские деревни, и там он трудился на поприще миссионерства.

До нас дошли свидетельства, что, кроме Палестины, с начала IV века отшельники были во всей римской части Азии и в королевстве Сасанидов, а вскоре начали появляться и монастыри, и разрозненные поселения наподобие египетской лавры. К последнему типу относится монашеское объединение на горе Сигорон подле Низибиса; тамошних обитателей называли пасущимися, потому что, когда приходило время обедать, они выходили с серпами срезать травы, которые служили им единственной пищей. Из сирийских иноков быстро прославились обитатели Эдессы, в основном благодаря их великому изгонятелю бесов, Юлиану. Евстафий, суровый епископ Севастии, стал родоначальником монашества в Армении, Пафлагонии и на Понте; Василий Великий, которому было суждено придать восточному аскетизму окончательную форму, несколько позже сыграл ту же роль для Каппадокии и Галатии. В землях с холодным климатом, где не так легко давалась жизнь в одиночестве, иноки создавали монастыри преимущественно в городах и деревнях.

В более спокойных западных странах эти величественные примеры лишь постепенно находили подражателей. Только во второй половине IV века вблизи городов и в них самих стали возникать монастыри, а на маленьких скалистых островках Средиземноморья, первоначально служивших местом ссылки, начали селиться пустынники. Набожные уроженцы Запада отправлялись на Восток, дабы научиться практике аскезы, а то и остаться там навсегда. Даже в гуще городской суеты мужчины, девы и вдовы зачастую вели столь суровую и благочестивую жизнь, какая возможна лишь в заточении. То было время святого Мартина Турского, святого Амвросия и блаженного Иеронима, который знал и запечатлел и светлую, и темную сторону данного движения. Говоря о Риме и Палестине, мы еще скажем об этом. У Гал- лии вскоре возникло окрыляющее чувство, что она если не превзошла Восток, то сравнялась с ним.

Изложение взглядов автора по поводу нравственного и религиозного значения монашества и аскетизма в целом, а также их исторической необходимости представляется здесь излишним. Диаметрально противоположные мнения равно имеют право на существование. Человек с одним типом мировоззрения всегда будет отрицать такие явления как в жизни, так и в истории, представитель другого образа мыслей всегда будет восхвалять их и восхищаться ими. Однако, если кто-то захочет поспорить с этими древними подвижниками пустыни с точки зрения христианской доктрины, он должен приложить немалые усилия, чтобы его аргументы не утратили последовательности. Учения о заместительном искуплении еще не существует, и поэтому каждый аскет защищает только самого себя. Считается, что покаяние не больше приближает его к спасению, чем любое другое доброе дело; и тем не менее, он стремится окончательно отвергнуть все чувственное и все земное. Зачем такая строгость? Затем, что если верующий серьезно относится к знаменитым словам Нового Завета, не желая смягчать их буквальное значение, то он обязан

оборвать все связи с внешним миром. И пока живет христианство, не исчезнут общины, секты и просто отдельные люди, которые не смогут уклониться от этого жестокого откровения.

Глава 10
ДВОР, ВЫСШЕЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО, АРМИЯ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ, РИМ, АФИНЫ, ИЕРУСАЛИМ

Константин имел обыкновение говорить: «Быть императором — это зависит от судьбы; но те, кого сила неизбежным образом призвала к управлению, должны быть достойны императорской власти».

В целом, вообще говоря, Константин был более достоин власти, нежели все его современники и соправители, и иногда он страшно злоупотреблял своим могуществом. Никто не оспаривал его права на титул «Великий», столь редко присваивавшийся императорам, несмотря на все старания льстецов. В данном случае решили дело не неумеренные восхваления христианских авторов, но то впечатление мощи, которое произвел Константин на римский мир. Он сперва завоевал этот мир, потом обратил его в новую религию и во многих отношениях по-другому организовал его жизнь. Это оправдало бы прозвание, данное ему римлянами, даже если бы все, что он делал, оказалось ко злу. В эпоху не столь бурную человек с такими дарованиями едва ли приобрел бы для истории такое значение; скорее, он довольствовался бы славой какого-нибудь Проба или Аврелиана. Но поскольку «сила», как он называет это, поставила его властителем на границе двух эпох и вдобавок даровала ему долгое правление, его способности государственного деятеля смогли проявиться значительно шире.

Однако изложение его биографии не входит в нашу задачу; мы не будем также говорить о вымышленном героическом образе, общепринятом в Средние века, о его предполагаемом крещении, совершенном папой Сильвестром в Риме, о том, что он даровал папе Италию, и тому подобном. Как на предшествующих страницах мы давали только необходимые сведения о его отношении к трону и Церкви, так и в последующем лишь очень кратко будет сказано о других чертах его правления. Предлагаемое суждение чаще всего ни в коей мере не окончательно, и зачастую даже фактический материал вызывает споры.

Так обстоят дела прежде всего в отношении развитого дворцового церемониала и системы придворных званий. Так называемая Notitia Dignitatum, восходящая к началу V века, дает список дворцовых и государственных сановников, членов иерархической структуры, сформировавшейся большей частью, несомненно, во времена Константина, хотя прямо об этом не сказано. Однако многие придворные звания, конечно, существовали и при Диоклетиане и даже раньше, возможно, и при Адриане. Хотя у нас нет точных сведений о сути конкретной должностной деятельности, тем не менее нас не может не поразить тщеславная торжественность, окружающая власть. Прилагательное sacer (священный) появляется там, где мы ожидаем встретить просто «императорский»; например, несколько титулов имеют отношение к засго сиЬІсиЬ, «императорской опочивальне», и тому подобному.

Но, чтобы сделать выводы и разобраться в дворцовой процедуре, мы должны знать, какие из всех этих чинов предполагали действительное исполнение обязанностей, а какие существовали только номинально. Еще и сегодня сохраняются дворы монархов, вполне скромно и экономно организованные, но где при этом присваивается невероятное количество почетных званий.

Насколько значим был в римском мире того времени титул, характеризовавший положение человека в обществе, мы понимаем, читая обычные почетные эпитеты illuster, spectabilis, honoratus, clarissimus, perfectissimus, egregius[1] и обращения вроде amplitudo, celsitudo, magnitude, magnificentia, prudential tua[2], которые часто также употреблялись лишь при обращении к лицу определенного звания. Значение этих нововведений мы вкратце разбирали, когда речь шла о Диоклетиане; здесь мы можем подытожить сказанное, добавив, что правители в данном случае не столько руководствовались собственным капризом, сколько утверждали и облекали в жесткую форму закона обычаи, рожденные духом эпохи. Константин вводил новшества вполне сознательно; как говорит Евсевий, «желая почтить большее число своих подданных, василевс придумал различные чины».

Постоянное умножение и расширение прав придворных неминуемо должно было привести к возникновению новой наследственной аристократии. Сановники не только становились вне жестокой системы налогообложения и ужасов муниципальных служб, как бы возносясь в высшие,

---

[1] Сиятельный, высокородный, достопочтенный, светлейший, совершеннейший, высокочтимый.
[2] Ваше величество, высочество, превосходительство, благородие, мудрость.

прекраснейшие сферы, но также оказывались защищены от calumniarium[1], обычной судьбы обычных смертных. Привилегии эти даровались не только самим высокопоставленным лицам, но и их детям и внукам, и сохраняли силу, когда магистрат уходил в отставку. Уже и прежде существовала родовая знать, не подлежавшая обложению налогом, к которой относились семьи сенаторов, однако теперь все шло к созданию второй аристократии, куда входили придворные (palatini) и высшие должностные лица.

Но Константин умел сохранять определенное равновесие, по крайней мере там, где дело касалось его самого. Двор его был довольно-таки скользким, и, чтобы не упасть, приходилось прилагать усилия. В его непосредственном окружении имелось множество «друзей», «близких», «доверенных лиц», как бы они ни назывались; он не принадлежал к числу замкнутых, молчаливых тиранов. Помимо постоянных «чтения, письма и размышления», он испытывал и потребность в общении с внешним миром, и не мог избежать при этом непоследовательности и несправедливости. К его окружению принадлежали люди, которым были свойственны и преданность, и готовность к измене, и стадное чувство, и лукавое себялюбие; при авторитарном правителе вроде Константина последнее обычно облекалось в одежды «государственных соображений». И вот мы видим, как Константин сперва возвышает и обогащает своих друзей, даже позволяет им запускать руки в недра императорской сокровищницы, что исторгало глубокие вздохи даже у Евсевия и что Аммиан называл раковой болезнью империи. Но внезапно разражается катастрофа, сотрясающая нередко весь двор; «друзья» казнены, и, осмелимся мы предположить, имущество их конфисковано. Вероятно, императорские проповеди, о которых мы говорили выше, служили предварительным предупреждением, возможно, даже непосредственным провозвестием рока; осторожный сумеет принять меры. Даже в беседе Константин был скорей насмешлив, нежели любезен, irrisir potius quam blandus. Закон 325 г. звучал особенно жестоко: «Если кто-то, какое бы он ни занимал место, положение в обществе, каким бы ни был наделен званием, уверен, что истинно может доказать ошибку или несправедливость любого из моих судей, высших сановников, друзей или придворных, пусть без страха обратится ко мне; я прислушаюсь и рассмотрю это дело лично, и если оно окажется истинно, я сам возьму на себя возмездие... я сам отомщу человеку, который обманывал меня, лицемерно представляясь невинным. Того же, кто предоставил сведения и доказательства, я награжу почестями и имуществом. И пусть Всевышний Бог вечно будет милостив ко мне и сохранит меня во имя счастья и процветания государства». Последовал ли кто-нибудь этому безумному предложению, мы не знаем, ибо вся история собственно двора покрыта мраком. Во всяком случае, улучшения не последовало; даже в последние десять лет над Константином насмехались, из-за отчаянных сумасбродств называя его pupillus[2], подразумевая, что он нуждается в опеке. В целом ситуация довольно забавна. Перед нами — не знающий усталости деятельный самодержец, который совершенно не собирается позволять своим фаворитам открыто править, и тем не менее терпит это и даже содействует подобному положению вещей, лишь иногда кладя предел происходящему ужасными наказаниями — а затем то и дело меняет курс и воздвигает статуи казненным, как в случае с убитым Криспом. Его поведение — или расчетливый план, или проявление вспыльчивой и непостоянной натуры; мы слишком мало знаем о Константине, чтобы выбрать один, и потому предпочитаем оба эти мотива. Обладая известной долей практичности и известной долей воображения, из разрозненных сведений касательно Криспа, Елены, префекта Аблавия, узурпатора Калокера и наследника Далмация можно легко создать роман из жизни императорского двора; он был бы довольно-таки занимателен, но от начала до конца не имел бы никакого отношения к действительности. Так или иначе, существует убеждение, что в последние десять лет Константин, в сущности, не являлся уже настоящим правителем, каким был в годы своего расцвета. Аммиан предоставляет нам убедительные свидетельства полного разложения двора при его сыновьях.

О финансовом положении государства, очевидно связанном с прочими околоимператорскими делами, мы здесь говорить не будем, поскольку не располагаем необходимыми данными; мы не знаем, к примеру, были ли новые налоги, введенные Константином, в целом милостью или же бременем. Также и торговый баланс Римской империи остается загадкой. Как мы уже отмечали, в системе, унаследованной Диоклетианом, было много ошибочного; что касается мероприятий, осуществленных Константином или при его участии, то идея ввести в отдельных отраслях промышленности государственную монополию, в рамках которой трудились бы рабы, конечно, никуда не годилась; однако нельзя забывать, что современная экономическая теория совсем недавно

[1] Наветы.

[2] Сиротка (лат.).

отвергла принципы подобного же рода. Метод сбора налогов, в частности, то, что декурионы несли ответственность за полученные с округа деньги (см. гл. *У),* привел даже, пожалуй, к худшим результатам, нежели сама жадность государства. Ряд законов, изданных Константином, показывает, к каким отчаянным средствам прибегали, чтобы избавиться от декурионата, — женились на рабынях, шли в армию, пробирались в число сенаторов, переезжали в менее контролируемые города, скрывались и жили инкогнито, позднее даже бежали к варварам. Какое-то время спастись можно было, перейдя в сословие клириков, но за этим внезапным всеобщим порывом последовал столь же внезапный запрет. Правительство всячески стремилось помешать уклонению от уплаты налогов. Нищета в провинциях еще усугубилась, когда местные христианские церкви получили в собственность земельные владения, как произошло по крайней мере в нескольких случаях.

О новом делении империи мы также позволим себе сказать лишь несколько слов. Двенадцать диоцезов и более ста провинций, возникшие при Диоклетиане, теперь были распределены по четырем префектурам. Не углубляясь особенно в этот вопрос, можно привести доводы и за и против такого деления. Другое дело, будут ли они в каждом конкретном случае отвечать мотивам Константина; разумеется, не одна жажда новизны заставила его решиться на столь значительные перемены. Скорее всего, следствием стало увеличение числа государственных служащих; однако трудно установить, насколько было бессмысленно и обременительно данное увеличение. Наши суждения по данному поводу остаются безосновательными, пока мы не знаем ничего или почти ничего об обязанностях, деятельности и оплате этих работников и пока мы не представляем соотношения их численности и населения в целом. Разумеется, в дни Константина среди важных чиновников было немало жестоких и продажных людей, равно как и во времена его предшественников и преемников.

Огромное значение имело также осуществленное при этом императоре разделение гражданской и военной власти — здесь все как раз более-менее понятно. Ранее существовавшие Praefecti Praetorio, прежде — первые министры, зачастую распоряжавшиеся верховным властителем, хотя и сохранили звание, но отныне являлись всего лишь главными должностными лицами четырех префектур: Востока, Иллирии, Италии, Галлии; содержание титула полностью изменилось. Делами военными занимались теперь два высших офицера — magister equitum и magister peditum. То, что их было двое и что их обязанности делились не по областям, а по родам войск — один заведовал кавалерией, другой пехотой, — выдает замысел Константина: узурпировать власть становилось таким образом сложно или даже невозможно вообще, поскольку один не мог ничего сделать без другого. Было последовательно проведено разделение гражданской и военной администрации; перестали беспокоить порфироносца представлявшие в прошлом немалую опасность главы провинциальных армий, которые, будучи проконсулами, пропреторами, ректорами и так далее, начальствовали у себя в регионе над всеми военными силами, сдерживаемые лишь подчиненными им легатами. Данное мероприятие имело бы еще лучшие результаты, когда бы мятежи армий не сменили жестокости императорской семьи.

Широко распространено мнение, что в военном плане правление Константина ознаменовало скорее спад, нежели подъем, невзирая на талант властителя. Речь не идет о роспуске преторианцев, начатом еще при Диоклетиане и завершенном после победы над Максенцием; то была политическая необходимость, и империя немного потеряла в лице этих отважных, но опасных воинов. Естественно, тут же возникла новая императорская стража, palatini. Остальная армия, все те же легионы, наемники и так далее, по-видимому, оказалась поделена на comitatenses, которые квартировали во внутренних частях страны, и pseudocomitatenses, к которым главным образом принадлежали отряды на границе и гарнизоны передовых крепостей. Зосим, завершая биографию Константина перечнем его грехов, жестоко укоряет его за поселение comitatensum в больших городах, поскольку рубежи оказались наполовину опустошены и открыты варварам, а города изнемогали под тяжестью ненужного бремени, в то время как сами солдаты приучились наслаждаться зрелищами и роскошью. Нельзя ни безусловно признать, ни безоговорочно опровергнуть справедливость данного суждения. Возможно, крупные города тоже требовалось охранять. Сомнительно, чтобы Константин действительно к концу жизни так обленился, что бежал вместе с армией от нескольких сотен тайфалов, как сообщает тот же автор. По крайней мере, незадолго до смерти он вел серьезные приготовления к походу на персов.

Естественным следствием того, что внутренние области страны обезлюдели и там стали селить иноземцев, дабы исправить ситуацию, была растущая варваризация римской армии. Более того, нанимая служить за плату юношей из соседних с границей племен, последних таким образом лишали их наиболее агрессивных представителей. Особенно значительное положение в войске, очевидно, занимали франки; во всяком случае, во времена наследников Константина франкские офицеры пользовались популярностью при дворе. Сохранить государство было важнее, чем сохранить нацию; да и оставалась еще надежда, что варвары постепенно будут ассимилированы, как это

происходило ранее, в годы республики и первые века империи.

Нельзя установить, в самом ли деле Константин выказывал предпочтение чужеземцам, и если да, то в каком плане. Его обвиняли, что он впервые сделал варваров консулами, но подробных свидетельств об этом нет. В списках консулов фигурирует исключительно урожденная римская знать — помимо часто встречающихся имен порфироносных особ. Другие государственные должности он действительно поручал варварам, и они вовсе не заставляли его раскаиваться в своей ошибке. Пленных солдат он тысячами выкупал на поле битвы у своих собственных победоносных воинов. Возможно, у него была дерзкая мысль поддержать силы истощенной Римской империи с помощью варваров и даже сделать их правящим сословием, не теряя, однако, верховной власти; естественно, нельзя ожидать от него каких-то четких деклараций по данному поводу. Впрочем, сильнее всего неприятие Константином сути римского характера проявляется не в его отношении к чужеземцам, но в создании на Боспоре Нового Рима. Об этом-то Новом Риме и пойдет теперь речь.

Возникает вопрос: зачем в тех обстоятельствах вообще потребовалось создавать новую столицу?

Ведь это означало отнюдь не просто перенос резиденции властителя. Ясно было, что местопребывание императора изменится еще не раз, в зависимости от обстановки на границах. Пусть при самом Константине наблюдалось редкостное затишье, его наследникам в IV веке мало было толку от новой столицы и ее великолепия. Кроме того, простая смена резиденции выглядела бы совершенно иначе: Константин выстроил бы в Византии дворец, как Диоклетиан — в Никомедии, украсил бы город, даже укрепил бы его, если понадобилось, после чего предоставил бы своим преемникам делать то же самое где-нибудь еще. В таком случае властителем руководило бы прежде всего стремление обезопасить правительство.

Вопрос о причинах предпочтения именно данного места невероятно труден, поскольку мы не знаем глубинных политических замыслов Константина. Он пролил потоки крови, чтобы восстановить единство империи, а затем сам же почему-то разделил ее. Принял ли он уже решение, когда основывал новую столицу? Мы никогда не узнаем этого. Властелину мира незачем было направлять и беречь собственную династию, поскольку у него были жестокие дети. Он доверил случаю выбор наследника, которому достанутся империя и Константинополь.

Первое место обычно отводят именно удобствам географического расположения города, однако не стоит переоценивать этот фактор. Действительно, Византии лежал намного ближе к опасным рубежам, чем Рим; отсюда было значительно удобнее следить за готами на Дунае и Понте, а также за персами. Но, невзирая на все одержанные над ними победы, ситуация с франками и алеманнами еще не настолько устоялась, чтобы считать совершенно спокойной далекую рейнскую границу. Далее, еще вопрос, стоило ли располагать столицу в одном из опаснейших регионов империи, где всего несколько лет назад усердствовали готские пираты. Теперь же, впрочем, город укрепили так, что девять веков завоеватели тщетно штурмовали его стены.

Расположение Византия обеспечивало ему не только неприступность. Вспомним, какую роль в III столетии играл так называемый иллирийский треугольник, то есть часть суши между Черным, Эгейским и Адриатическим морями. Рожденные там военачальники и солдаты, среди них и семья самого Константина, ныне правили ими же спасенной страной. Эта область вполне могла теперь потребовать себе императорскую резиденцию; в таком случае перенесение столицы в Константинополь — достойное признание заслуг Иллирии. Данное толкование подтверждается словами Зонары, который сообщает, что Константин сперва подумывал о каком-нибудь городе в глубине полуострова, например о Сардике (нынешняя София в Болгарии); такой выбор можно объяснить единственно желанием почтить определенный народ.

Однако Константинополь, где бы он ни располагался, представлял собой не просто императорскую резиденцию, но символ нового положения в государстве, религии и общественной жизни. Основатель его, несомненно, вполне это сознавал; ему требовалось место, где новому не мешали бы древние традиции. Заслуженно или нет, но история наделила этот поступок печатью величия; в городе Константина сложился совершенно особый дух, совместивший в себе общественное и религиозное, и совершенно особая культура — культура Византии; любя ее или ненавидя, нельзя отрицать, что это была сила, оказавшая немалое влияние на мир в целом. Высшей точкой ее стала деспотия, бесконечно усиленная за счет объединения церковной и светской власти; мораль вытеснилась ортодоксией; естественные инстинкты в их откровенном и бесстыдном выражении оказались подавлены лицемерием и ханжеством; под бременем деспотии родились жадность, притворяющаяся нищетой, и потаенное коварство; в религиозной литературе и искусстве поражает невероятное упорство, с которым вновь и вновь повторялись устарелые, истертые мотивы; однако многое в характере новой культуры напоминает о Египте, и с Египтом Византия делит одно из благороднейших его качеств, а именно — целеустремленность. Но мы говорим не о позднейших

исторических тенденциях, а о времени их зарождения.

Высказывалось предположение, что Константин испытывал к Риму глубокую неприязнь, причиной или результатом которой стало возмущение по поводу забвения императором языческих церемоний. Однако нужды в подобном объяснении нет. Со времен Диоклетиана было абсолютно ясно, что Рим не годится для роли императорской резиденции, а также что империю необходимо поделить. Промежуточное правление Максенция со всей убедительностью продемонстрировало, к великому несчастью для города, как жестоко можно надругаться, пока императоры находятся далеко на востоке и на севере, над древним благородным именем владычицы мира; но Константин понимал, что после роспуска преторианцев с этой стороны опасаться нечего. Никто не ждал, что он действительно поселится в Риме. Центр управления на протяжении долгих лет располагался там, где штаб Диоклетиана, то есть преимущественно в Никомедии. Позднее, уже будучи владыкой Запада, Константин, как и Лици-ний, навещал Рим лишь изредка, обитая большей частью в Галлии и в военных лагерях. Но возможно, после победы над Лицинием он не хотел уже лишать Восток чести приютить у себя столицу, поскольку и в других серьезных вопросах он обычно не препятствовал естественному ходу событий. Не исключено, что тайные мероприятия, сопутствовавшие падению Лициния, также повлияли на этот выбор.

Наконец, тяга к созиданию, одно из могущественнейших стремлений, свойственных достойным правителям, превратилась у Константина в настоящую страсть. И нет символа власти более явного, нежели поражающие своим величием постройки. Далее, строительство, осуществляемое быстро и с привлечением крупных средств, создает видимость бурной императорской деятельности и в мирные времена с успехом может заменить другие ее виды. Новый город стал для своего основателя образом и моделью нового мира.

Окончательному избранию места императорской резиденции предшествовало несколько других примечательных попыток. Помимо Сардики император подумывал также о Фессалониках, а потом о Халкедоне, что на восточном берегу Боспора. Однако первое более-менее определенное решение он вынес в пользу окрестности древней Трои, откуда некогда благодаря Энею началось заселение Лация и стало возможным основание Рима. О сентиментальной любви к прошлому в случае Константина говорить не более оправданно, чем в случае Цезаря и Августа, вынашивавших подобные же планы. Конечно, свою роль языческие суеверия сыграли; мы уже видели, что император не был чужд таких соображений. Илион являлся древним священным центром римлян; некий оракул, о котором мы ничего не знаем, велел им однажды перенести столицу в Илион, туда, откуда они вышли. Константин лично посетил знаменитые просторы, где тысячу лет не прекращались жертвоприношения на погребальных курганах героев Гомера; на могиле Аякса, там, где находился римский лагерь, Константин сам принялся намечать границы будущего города. Ворота уже построили, когда однажды ночью императору явился Господь и предупредил, чтобы тот избрал другое место; и так был выбран Византии. Спустя сто лет путешественники, минуя Трою, могли еще наблюдать оставшуюся неоконченной постройку. Если читатель пожелает увидеть здесь конфликт между язычниками и христианами из императорского окружения — никто не станет ему возражать. Ясно, что придворное духовенство любыми средствами стремилось отвратить императора от языческих церемоний и предсказаний.

Но и основание Константинополя не обошлось без подобных вмешательств. Пусть за орлов, перенесших мерные ленты и камни из Халкедона через Боспор в Византии, отвечают Зонара и Цедрен; несколько такого же рода подробностей свидетельствуют разве что о стремлении современников видеть за всеми важными событиями указание свыше. Константину пришлось согласиться на обвинение в суеверии ради языческого населения империи, да и сам он, очевидно, не был вполне лишен предрассудков. Он высказался по поводу данного мероприятия в монотеистическом духе, однако довольно-таки неопределенно и таинственно: «С Божьего соизволения мы даровали городу вечное имя». Что это за вечное имя? Явно не Константинополь, вероятно, и не Новый Рим, но Флора или Антуса. «Цветущая» — тайное священное название Рима. Но Бог, по воле которого городу дали такое имя, едва ли был христианским Богом. Да и сон, который приписывают императору поздние хроники, — оборванная женщина, молящая о новой одежде, — едва ли носит христианский характер.

Торжественная закладка западной стены состоялась 4 ноября первого года 276-й Олимпиады, то есть в 326 г., когда солнце находилось в знаке Стрельца, но в час Рака. Незадолго до того наследник и, вероятно, также императрица были казнены. Именно в то время Константин сближается с философом Сопатром (см. гл. 9), и Сопатр даже присутствует на церемонии — он telestes, то есть он совершает символические действия, долженствующие обеспечить магически безопасность новой столице. Помимо Сопатра назван иерофант Претекстат, по-видимому, великий

понтифик. Позднее получила распространение легенда, будто бы на константинопольском Форуме, под колонной из порфира, несущей статую основателя, лежит палладий, тайно позаимствованный им из Рима. Это была бы настоящая telesma, такая, какие часто применяли в античности для предотвращения чумы и в качестве талисмана удачи; к примеру, Аполлоний Тианский в том же Византии таким же образом отводил воды реки Лик, несшей болезнь блох и мошек, испуг лошадей и другие несчастья.

Теперь город Виза интересовали не такие мелочи, но судьба мира, оказавшаяся сплетенной с этим местом. С возросшим вниманием стали исследовать прежнюю его историю, заново перетолковывали древние мифы и пророчества и во всем обнаруживали предзнаменования великого будущего, готового наступить. Византии приковал к себе внимание всего мира тем, насколько быстро оправился после катастрофы, постигшей его при Септимии Севере и Галлиене, а также тем, как геройски он сопротивлялся первому из них; теперь он стал господином империи.

Мы не будем пытаться описывать ни древний, ни новый город. Упомянем вкратце лишь о тех деталях, которые живописуют одновременно и самого Константина.

Он сам, с копьем в руке, очертил границы внешней стены. Возможно, в предании о данном событии содержится и зерно истины. Его спутники сочли, что он идет по слишком широкому кругу, и спросили: «Сколько еще, ваше величество?» На это он ответил: «Пока Тот, Кто идет передо мной, не остановится», как если бы он видел перед собой некое сверхъестественное существо. Понятно, что он счел полезным ответить именно так, если другие верили или показывали, что верят, в подобные явления. Нельзя установить, в самом ли деле прочие церемонии повторяли ритуалы, совершенные при основании Рима и описанные Плутархом в одиннадцатой главе «Жизни Ромула».

Спустя почти четыре года, 11 мая 330 г., проводились пышные торжества и великолепные цирковые игры по случаю освящения новой постройки и присвоения ей имени Константинополя. То, что Константин посвятил столицу Деве Марии, конечно, всего лишь позднейшая выдумка. Он посвятил ее прежде всего себе и собственной славе. Ему было мало, что название города и каждый его камень напоминают о нем и что множество величественных памятников возведены специально в его честь; каждый год в факельной процессии провозили по цирку позолоченную статую императора с Тихе, гением-хранителем места на правой руке, и цезарь должен был встать с кресла и простереться ниц перед изображением Константина и Тихе. Кто бы воспрепятствовал народу создать нечто вроде культа уже упоминавшейся колонны из порфира с огромной статуей Константина сверху, возжигать перед ней свечи и благовония и клясться ею? Арианин Филосторг обвиняет в этом христиан, и, вполне возможно, он прав, невзирая на все возражения; ибо, когда властелин мира сам указывает, что делать, христиане и язычники равно не замедлят обожествить его еще при жизни.

Все то же самое мы наблюдаем, глядя, как заселялся новый город, как он приобретал свои привилегии. Он стал в буквальном смысле равным Риму, будучи наделен теми же правами, теми же учреждениями и теми же должностями; подобно городу на Тибре, он даже располагался на семи холмах. Более того, в нем даже был сенат, хотя никто понятия не имел, зачем он понадобился; разве что двору захотелось иметь статистов для шествий. Некоторые римские сенаторы даже перебрались в Константинополь, соблазненные материальными богатствами, вроде замков и поместий; и, если верить позднейшему преданию, все было обставлено с большой деликатностью — император порадовал их, поставив на берегу Боспора точные копии их римских вилл. Кроме того, он выстроил для них великолепный дворец сената; но ни статуи муз, стоявшие некогда на священном холме Геликона, ни скульптуры Зевса из Додоны и Паллады из Линда, украшавшие ныне вход в здание, не могли придать этому новообразованию хоть какую-то ценность.

Однако помимо придворных, офицеров, чиновников и сенаторов городу требовалось также достойное население. Под годом его освящения блаженный Иероним отмечает: «Освящается Константинополь по обнажении почти всех городов». Это относится в основном к их жителям. Воспользовался ли Константин разрухой, царившей на разгромленном Востоке Лициния, или же он действовал другими методами, но, так или иначе, он достиг исполнения своего желания. Это желание, выраженное прозаическим и недружелюбным языком Евнапия, выглядит так: «Константин, опустошив другие города, перевез в Византии пьяный демос; этих людей он разместил поближе к себе, чтобы они, с похмелья, рукоплескали ему в театрах. Константину нравилось, когда возбужденный народ возносил ему хвалы или выкрикивал его имя, хотя бы даже по своей глупости они его с трудом выговаривали». Нелегко рассуждать о самодовольстве великих людей, если мы не располагаем по-настоящему хорошими источниками. В случае Константина невероятное тщеславие и помпезные выступления, о которых говорят многие авторы, скорее всего, преследуют обдуманную политическую цель. Нет сомнений, что в глубине души он презирал обитателей Константинополя.

Однако замечание Иеронима имеет еще и другой смысл. Чтобы добыть средства на

содержание нового городского управления, нужно было строже взыскивать их с империи. Известно, что Константин потратил на все шестьдесят миллионов франков на наши деньги, и это скорее мало, чем много, учитывая размах предприятия и расходы на строительство. Раздачи вина, хлеба и масла, принявшие постоянный характер после 332 г., без чего значительная часть населения просто не выжила бы, ложились на страну тяжелым бременем. Евнапий жалуется, что всех кораблей с зерном, приплывавших из Египта, Малой Азии и Сирии, не хватало, чтобы прокормить чернь. В V веке, когда писались эти слова, Константинополь стал многолюднее, чем Рим.

Наконец, многие города империи лишили других хранившихся в них сокровищ — произведений искусства, и это была жестокая потеря для имевших греческое образование. Уже говорилось о том, как хватали и пускали на переплавку статуи из драгоценных материалов; вдобавок эти, самые бесчестные и наглые из всех известных нам, похитители шедевров оправдывались, что таким образом они содействуют украшению новой столицы. Здесь Константин предстает не как язычник и не как христианин, ибо переносом изображений богов в Византии он оскорбил чувства приверженцев обеих религий, но как эгоистичный грабитель, стремящийся только прославить собственное имя. Ни один текст не наполнит любителя античного искусства большей скорбью, нежели опись произведений искусства, ввезенных в Византии Константином и его преемниками, особенно если вспомнить, что в итоге все это было уничтожено во время Четвертого крестового похода. Когда, например, Евсевий говорит о Пифийском и Сминфийском Аполлонах, о Самосской Гере, о Зевсе Олимпийце и других, то совершенно не обязательно речь идет о подлинниках; но утрата любого греческого творения невосполнима, и оригиналы названных статуй, так или иначе, утрачены. Нагромождение великолепных, но несочетаемых шедевров, как в случае с 427 статуями, установленными перед Святой Софией, производило неприятное впечатление страшной безвкусицы; иногда детали статуй заменяли совершенно варварски; например, Константин приставил слепок с собственной круглой головы к плечам гигантской статуи Аполлона и установил ее на той самой колонне из порфира. Из Рима, помимо прочего, перевезли множество скульптур императоров; по-видимому, изображение Максенция в их число попало совершенно случайно, и когда язычники новоявленной столицы принялись его почитать, вероятно, из политических соображений, то говорят, что Константин заставил убрать статую и предать смерти поклонявшихся ей. Однако значительно большее число произведений пришло из Греции и западной части Малой Азии. Некогда римские проконсулы и императоры уже грабили те же самые земли, но тогда их можно было простить, ибо Рим и его культура не могли окончательно оформиться без греческого искусства; но Византии стремился пожрать все прекрасное лишь затем, чтобы не позволить провинциям владеть им. И тем не менее, город не умел ценить свои сокровища иначе, как сочиняя про них суеверные истории, анекдоты и слабые подобия эпиграмм.

Хотя мы и располагаем довольно обширным материалом на этот счет, у нас, к сожалению, нет никакого представления о константинопольских зданиях, воздвигнутых исключительно благодаря разбою, например о колоннах, позаимствованных из окрестностей. В то время архитектура находилась в упадке. Сводчатые конструкции вступили в решающий бой с отжившей, непрактичной архитектурой ранних греческих храмов. Основная характеристика зодчества периода Константина — пестрая броская пышность. Неотъемлемой частью его являются купола, ниши, круглые залы, драгоценные инкрустации, золотое покрытие и мозаика. Императору не терпелось закончить строительство побыстрее, о чем свидетельствует поспешное, несовершенное исполнение, в результате чего несколько зданий вскоре разрушились, и понадобились новые средства на их восстановление.

Константин возвел не только много великолепных церквей, но и два очевидно языческих храма. Один из них, принадлежавший цирку, был посвящен Диоскурам, Кастору и Поллуксу; другой был Тихейон, храм Тихе, хранительницы города. Мы уже сталкивались с ежегодно проводившимся шествием, когда в цирке проносили статую императора с маленькой Тихе на руке. Упоминаются еще несколько изображений этой богини, причем одно из них пришло из Рима. Это похищение божества явно представляло собой не просто символ; оно долженствовало магически закрепить перемещение столицы мира на новое место. Константин, разумеется, прикладывал все усилия, дабы лишить Тихе ее явной «языческости». Например, лоб ее украсили крестом, а на великом празднестве 330 г. любопытным образом соединились молитва к Тихе и «Господи, помилуй»; но главенствовало, конечно, прежде всего идолопоклонническое отношение. Талисман удачи даже присоединили к публично выставляемому кресту. На декорированной вершине мильного столба видны статуи Константина и Елены, держащие крест, на котором можно заметить цепь. Цепь эта, как считалось, обладала колдовской силой, даруя Риму победы над всеми народами и защиту ото всех нападений; и ее также называли Тихе этого города. Не исключено, что вся композиция появилась в более недавние времена, и значение цепи существовало только в воображении византийцев, но Константин своими магическими действиями, уж конечно, подал повод к возникновению таких легенд.

Как мы предположили, реакция на все это придворных-христиан и клириков повлекла за

собой падение и казнь Сопатра. Нам известно также о гибели другого языческого философа по имени Канонарид, во времена, непосредственно предшествовавшие освящению города. Канонарид прилюдно прокричал императору: «Не пытайся возвыситься над нашими предками, ибо ты обратил наших предков [т. е. их обычаи и религию] в ничто!» Константин заставил философа приблизиться и стал убеждать его отказаться от этой апологии язычества, но тот воскликнул, что хочет умереть за своих предков, и был поэтому обезглавлен.

Теперь обратим наши взоры от гордой новой столицы к старой.

За Римом осталось одно преимущество, пожалуй не слишком значимое на тот момент, — по всей империи клирики признавали безусловное главенство римского епископа. Едва ли кто мог в то время предположить, что в стороне от императорского трона Византии будет воздвигнут иной трон — трон западного первосвященника, и что Церковь, в Константинополе оказавшаяся в тени светской власти, а в Антиохии, Иерусалиме и Александрии подвергавшаяся постоянной угрозе со стороны сарацинов и разного рода ересей, однажды сделает Рим духовным центром нового мира. Отношения Константина с римской христианской общиной были весьма двусмысленными. Его дар ей на самом деле — вымысел; сказочное великолепие храмов и роскошь дарений, описываемых Анастасием Библиотекарем, на деле оказываются, мягко говоря, преувеличением, что заставляет нас усомниться в хваленой щедрости императора. История о том, как Константин был крещен епископом Сильвестром в баптистерии Латерана, — также не более чем легенда, призванная скрыть тот неприглядный факт, что правителя крестил сторонник арианства, Евсевий Никомедийский. В конфликте с арианами римским епископам не удалось остаться в роли сторонних наблюдателей и судей. Да и позднее они не раз оказывались вовлечены в политические дрязги внутри Церкви, и лишь со временем римская Церковь выросла в некую стоящую над миром силу.

В те времена, о которых идет речь, главным препятствием на пути римской Церкви было то, что среди городского населения большинство составляли язычники. На протяжении всего IV века сам облик древней столицы служил напоминанием о ее языческом прошлом и настоящем.

Особенно это касается архитектуры. Должны были пройти еще годы и годы, в течение которых город не раз разрушали и перестраивали, прежде чем христианский Рим, с его церквями, патриархиями и монастырями, возник на месте Рима имперского. Даже сооружения III века по большей части служат воплощением языческой культуры и языческих наслаждений. Бани Каракаллы, Александра Севера, Деция, Филипа и более поздние — Диоклетиана и Константина, богатейшее убранство форума Траяна, роскошная вилла Гор-дианов, храм Солнца, выстроенный Аврелианом, базилика и цирк Максенция и, наконец, мечта, взлелеянная младшим Гордианом, уточненная Галлиеном, но так никогда и не воплощенная — возвести монументальную колоннаду с террасами, которая бы пересекла Марсово поле и тянулась бы дальше, вдоль Фламиниевой дороги, до самого Мильвийского моста, — все это вполне характеризует тягу к строительству той эпохи. От второй половины IV века нам остались «Regionary Catalogues» (изначально — то есть без позднейших вставок, ранее считавшихся подлинными — значительно менее обильные сведениями; в этих вставках содержатся, помимо упоминаний о прочих постройках, и названия более ста пятидесяти языческих храмов). Но даже со всеми поправками цифры оказываются внушительными. В Книгах провинций (сюда мы относим Curiosum Urbis и Notitia) описываются не все здания города, а лишь те, что расположены на границах между четырнадцатью его районами, но даже в этом перечне присутствует огромное количество храмов, форумов, базилик, бань, садов, административных строений, помещений для игр, статуй и тому подобное — и что характерно, ни одной христианской церкви. Возможно, это сознательное упущение: в эпоху Константина и Феодосия в Риме наверняка были замечательные христианские церкви, и только закоренелый язычник мог их не заметить. Мы, конечно, можем представлять себе эти сооружения сколь угодно огромными и великолепными, однако они никак не могли равняться с истинным великолепием древней языческой архитектуры. В конце каждой из книг помещены своего рода «индексы»; они ненадежны как раз в плане количественных оценок, но, если мы прибавим к двадцати восьми библиотекам, одиннадцати форумам, десяти большим базиликам и одиннадцати огромным баням только два амфитеатра, три театра, два цирка и так далее, мы все же не назовем истинного их числа, так как даже сохранившиеся развалины свидетельствуют о большем их количестве. Представим также (как это ни сложно), что среди всех этих зданий стояло великое множество роскошных декоративных построек: мраморные триумфальные арки (их было тридцать четыре или тридцать шесть), многочисленные статуи и скульптурные группы и прочее. Все это было живописно разбросано по долинам и склонам, среди садов и рощ, и повсюду слышался говор ручьев, спешивших с окрестных холмов по девятнадцати высоким арочным акведукам, чтобы напоить свежестью людей, животных, деревья и травы и сам воздух великого города. Многим народам, древним и современным, удавалось воплотить в жизнь свою любовь к монументальной

архитектуре, многие возводили колоссальные сооружения, но с этой точки зрения древний Рим был и останется уникальным в истории, ибо только там греческое преклонение перед красотой соединялось с материальной возможностью эту красоту воплотить и неистребимой жаждой величия — в том числе и внешнего. Каждый, кто приезжал в Рим, еще полный свежих впечатлений от Константинополя, как, скажем, Констанций в 356 г., когда он праздновал свою победу над Магненцием, замирал в изумлении, и любое сооружение казалось ему прекраснейшим из творений человеческих рук. Форум Траяна с его базиликой Ульпии Констанций счел верхом великолепия.

Население города, распоряжавшееся и пользовавшееся всей этой красотой, не превышало по численности население наших современных столиц. Владычица мировой империи, на территории которой при Веспасиане проживало около ста двадцати миллионов человек — город Рим, — в самые благодатные времена вряд ли насчитывала более полутора миллионов жителей. Современные исследователи внесли коррективы в прежние, невольно завышенные оценки, подсчитав общую площадь города с пригородами и площадь его обширных незаселенных территорий, на основании данных о соотношении плотности населения и размера пространства, отведенного под транспорт и архитектурные красоты в современных столицах. У кого-то может возникнуть вопрос: откуда же брались люди, чтобы наслаждаться подобной роскошью — всеми этими храмами, театрами, парками и банями? Колизей один мог вместить пятнадцатую часть населения города, Большой цирк — каждого десятого его жителя. Чтобы все эти сооружения не пустовали, требовался народ, которому на протяжении нескольких сот лет прививали бы вкус к развлечениям, народ, живущий только удовольствиями, не знающий и не желающий знать ничего, кроме непрекращающейся череды наслаждений. Огромное количество ничем не занятых холостяков, постоянный приток богатых провинциалов, разврат и роскошь, царившие повсюду, при том, что город был и оставался политическим и деловым центром империи, — все это привело к тому, что в Риме возник особый человеческий тип, невозможный более нигде.

В этой пестрой мешанине сосуществовали два отдельных сообщества, разграничение между которыми затрагивало все социальные группы, — язычники и христиане. Мы не будем здесь касаться вопроса о том, как формировалась и развивалась римская христианская община на протяжении трех первых веков христианства и в эпоху гонений. Во времена правления Константина она, очевидно, существенно выросла и претерпела некую реорганизацию, но у нас нет об этом никаких достоверных сведений. Однако источники второй половины IV века, в первую очередь сочинения Иеронима, рисуют нам мрачную картину упадка. Мир, с его соблазнами, находил путь к сердцам христиан — от рядовых членов общины до самых высоких иерархов; человек мог быть ревностным христианином и при этом лишенным всяких представлений о морали. Порой все сообщество оказывалось втянуто в распри и неурядицы. Аммиан упоминает о жестокой и кровопролитной войне между двумя претендентами на епископскую кафедру, Дамасом и Урсином (366 г.), закончившейся тем, что однажды в базилике Сицинина было найдено 137 трупов убитых людей. Иероним, ставший секретарем епископа Дамаса (победившего в этом соперничестве), имел возможность лично наблюдать, что творится в общине на всех уровнях. Он знал, как часто убивали нерожденных детей; он лично был знаком с парой плебеев, в которой муж уже похоронил двадцать жен, а жена оставалась вдовой двадцати двух мужей. Не делает он секрета и из всеобщей развращенности. Основное внимание при этом Иероним уделяет описанию пороков высших классов и некоторых клириков, указывая на их взаимовлияние. Высокородная дама, богатая вдова, гордо выставляет на всеобщее обозрение свои ярко размалеванные полные щеки; за ее носилками следуют евнухи. В их сопровождении она регулярно посещает церкви, с достоинством прокладывая себе путь через толпу нищих и раздавая милостыню. Дома у нее хранится Библия, писанная золотом по пурпурному пергаменту и украшенная драгоценными камнями, но при этом она оставит нуждающегося бедняка умирать с голоду, если тот не потешит ее тщеславие. Глашатай оповещает весь город, когда высокородная госпожа отправляется к вечере, или agape. Она и сама часто принимает гостей: в подобной роли нередко выступают и клирики — говорят комплименты, целуют хозяйку и простирают руки — в благословляющем жесте, надо думать? — нет, за подарком. Ничто не льстит так самолюбию дамы, как зависимость от нее священников. Свобода вдовы многим кажется куда привлекательней, чем жизнь под властью мужа, тем более что в ней присутствует видимость целомудрия, за которое многие стремятся вознаградить себя вином и изысканной пищей. Другие — те, кто ходит во власяницах как ночные совы, постоянно вздыхают и тайком отдаются грубейшим порывам сладострастия, — ничуть не лучше. Суровый пастырь с большим подозрением смотрит и на так называемые «духовные связи», нередко разрушающие нормальную семью. Некоторые мужчины под благочестивым предлогом бросают своих жен и берут себе других подруг. Женщины называют мальчиков своими духовными сыновьями, а в итоге вступают с ними в плотскую связь. Иероним перечисляет множество такого рода грязных деяний, в частности, рассказывает о некоем Тартюфе, который знакомился с женщинами, предлагая себя на роль исповедника, а в результате соблазнял их. Сами

клирики тоже не уберeглись от этого порока. Иероним безоговорочно осуждает порочную практику, согласно которой священнослужители селятся вместе со своими духовными сестрами, называемыми agapetes (или syneisactes), и еще более яростно — их стремление заполучить себе в качестве духовных сестер влиятельных дам и обрести, таким образом, богатство и власть. Некоторые маскируются под аскетов — не стригут волосы и бороды, ходят в черных одеждах и босые; они обманывают грешниц тем, что якобы постоянно постятся, а на самом деле предаются по ночам безудержному обжорству. Есть еще те, кто — подобно аббатам прошлого века — принимает духовный сан только ради того, чтобы чувствовать себя свободней в общении с дамами. Люди такого рода элегантно одеты, аккуратно пострижены и источают приятный аромат; на их пальцах поблескивают драгоценные камни; они жеманно ступают на мысочки в своей элегантной обуви и похожи больше на женихов, чем на служителей Церкви. Таков был Иовиниан, «разряженный в полотняные и шелковые ткани и в атребатское и лаодикийское платье. Румянятся щеки, лоснится кожа, волоса на затылке и на лбу прибраны в кружок». Находились и такие, кто тратил все свое время и силы, собирая сведения об именах, адресах и характерах разных дам. Иероним сообщает, что он лично знал одного клирика, который ходил из дома в дом и разносил грязные сплетни, так что в конце концов стал для всех просто пугалом. С утра до ночи он ездил по городу, верхом на своем быстром и красивом коне, так что его прозвали «городским форейтором» (veredarius urbis). Часто он заставал своих жертв еще в постели; а если какая-то вещь ему нравилась, он начинал выпрашивать ее таким тоном, что любой разумный человек предпочитал сразу ее ему подарить. Нашему вниманию представлен даже весьма занимательный портрет облаченного саном прожигателя жизни. Иероним повествует о нем со жгучим отвращением волка, пробравшегося в овчарню, но мы не будем обсуждать здесь историю тайной любви, ибо все сказанное и так увело нас на два поколения вперед от времен Константина.

Очевидно, основание монастырей с жестким уставом, ограждавшим отшельников от искушений городской жизни, стало в те времена насущной необходимостью. Отшельничество отвечало требованиям эпохи, ибо много было тех, кто разрывался между старой и новой религией, между обычаями предков и заповедями новой веры и в поисках спасения готов был на самые крайние меры, но и они порой оступались. Иероним немало потрудился для того, чтобы, по крайней мере среди тех, кто прислушивался к нему, возвести целомудрие в ранг основного жизненного принципа. Суждения этого одностороннего, но сильного и целеустремленного человека и его личный пример определили во многом воззрения и поступки его последовательниц — Павлы, Марцеллы и Евстохии, отказавшихся от всех земных радостей. Иероним считал целибат обязательным условием подвижничества, ибо высшие тайны были открыты апостолу-девственнику Иоанну, а не его женатым собратьям.

Нашествие германских племен, угрожавшее крушением всего миропорядка, — orbis ruit, — несомненно, только усилило во много раз это желание уйти от мира. В самом Риме и во всей западной части империи множество мужчин и женщин преисполнялись решимостью принять аскезу. На скалистых хребтах Средиземноморья и пустынных италийских побережьях стали селиться отшельники, а в скором времени — возникать монастыри; некоторые острова, скажем, один из Понцианских, почитались и посещались, как могилы мучеников. И в центре Рима можно было жить в полной изоляции, как это делала богатая римлянка Аселла: она продала все свои драгоценности и заточила себя в маленькой каморке; питалась только хлебом, солью и водой, ни с кем не общалась и никуда не выходила, только навещала изредка могилы апостолов. Она порвала все связи со своей семьей и радовалась, что все о ней забыли. Иероним пользуется этой редкой возможностью продемонстрировать разницу между истинными городскими отшельницами и показным благочестием притворщиц.

Очевидно, встречались и обычные простодушные и здравомыслящие христианские семьи, отвергавшие и аскезу и оргии, но в сочинениях благочестивого отца церкви о них не говорится ничего. Его больше интересовали крайности и случаи из ряда вон выходящие.

Между рассказами об обществе христиан и о самых образованных и благородных язычниках IV столетия мы поместим описание римского простонародья, как оно дано нам в искусном освещении Аммиана Марцеллина.

Аммиан начинает с повествования о беспорядках, возникших из-за нехватки вина, и попутно сообщает нам, что римская чернь очень много пьянствовала; и до сих пор в Риме пьют больше, нежели во Флоренции или Неаполе. Раздач вина, введенных во времена Константина, не хватало; те, кто имел лишние деньги, ночи напролет проводили в харчевнях. Когда прошел слух, что префект Симмах сказал, будто охотнее потушит вином известковые печи, чем снизит цену на известь, дом его сожгли. Стоит только упомянуть Рим, тут же заходит разговор о бесчинствах в кабаках. Как сегодня тогда, так тогда — игра в кости была излюбленным времяпрепровождением что на улице,

что в трактире, и ей отводилось все свободное время; ей непременно сопутствовали пронзительные крики, от которых кровь холодела в жилах у всех, кто имел несчастье находиться в пределах слышимости. Если игру в tesserae и считали более почтенной, нежели в aleae, то Аммиан полагает, что разница между ними была не больше, чем между вором и разбойником. Он говорит также, что, к сожалению, только связи, возникшие за игорным столом, еще объединяли людей. Обычные римляне представляли собой преисполненные самодовольства ничтожества; несмотря на полутысячелетний приток населения изо всех земель, еще много древних плебейских фамилий, пусть они и ходили босиком, продолжало величаться такими именами, как: Цимессор, Статарий, Цицимбрик, Пордака, Сальзула и тому подобное. То и дело, по крайней мере в театре, раздавался дикий злобный вопль, что нужно выгнать всех чужаков — хотя, говорит Аммиан, Рим во все времена был силен поддержкой пришлого элемента. Но в основном Рим, конечно, требовал panem et circenses[1]. Что касается хлеба, то не было дней более опасных, чем когда флоты с зерном из Африки задерживались, из-за войны или встречного ветра. Однажды, оказавшись в такой ситуации, городской префект Тертулл (359 г.) показал ревущей толпе в качестве залога своих детей, и этим утишил ее настолько, что смог даже добраться до острова на Тибре, близ Остии, где благоухали розы и стоял храм Диоскуров и где римляне справляли веселый ежегодный праздник; здесь Тертулл принес жертвы Кастору и Поллуксу, и море успокоилось, и тихий южный ветер пригнал к берегу груженные хлебом корабли. Та часть праздной толпы, которой было мало раздаваемых хлеба, вина, масла и свинины, собиралась у дверей продовольственных лавок и наслаждалась хотя бы ароматом жареного мяса и прочей пищи.

В то же время римляне были жадны до всего, что можно назвать зрелищем. В IV веке соответствующих государственных субсидий не хватало, и желания народа удовлетворяла щедрость новоизбранных сенаторов и высших должностных лиц. Они отнюдь не всегда были богаты, и поэтому данная обязанность на них ложилась очень тяжелым бременем, поскольку каждому надлежало стремиться превзойти своих предшественников, даже не из честолюбия, а из-за ненасытности черни. Значительная часть переписки Симмаха посвящена хлопотам по организации торжеств, по случаю ли своего повышения в должности, или своих родственников, или по другим поводам. Со времен Диоклетиана не было примера такой императорской расточительности, какая подвигла Карина на огромной площади подле Капитолия возвести деревянный амфитеатр, пышно отделать его драгоценными камнями, золотом и слоновой костью, изобразить там, помимо прочих изысков, горных козлов и гиппопотамов, а также сражения медведей и тюленей. Императоры, конечно, еще оплачивали разнообразные постройки — например, Константин великолепно восстановил Большой цирк; но сами представления давали по преимуществу богатые сановники, от которых требовалось как-то облагодетельствовать государство и потратить в его пользу свои доходы, раз уж они были освобождены от налогов. Уезжать из Рима было бесполезно: в таких случаях, по-видимому, сборщики налогов проводили игры от имени отсутствующего устроителя. Большой удачей считалось, если человек ухитрялся беспошлинно ввезти каких-нибудь экзотических зверей. Важнее всего было выбрать лошадей для цирка; ибо именно на скачках как высокопоставленные, так и простые римляне удовлетворяли свою суеверную страсть к риску, и здесь жокей мог снискать величайшую славу и даже заработать нечто вроде неприкосновенности. У римлян в этом плане выработался настолько утонченный вкус, что скрещение пород стало их постоянным занятием; уполномоченные людей богатых объездили половину известного на тот момент мира, чтобы найти нечто новое и невиданное и бережно перевезти это в Рим. Раболепнее писем, чем письма Симмаха к этим агентам, представить себе невозможно. Чтобы проводить поединки со зверями в театрах и Колоссеуме, чтобы устраивать охоты (sylvae) в Большом цирке, нужны были гладиаторы, «группа бойцов худших, чем соратники Спартака». Время от времени на арене появлялись пленные варвары, например саксы, но, пожалуй, преобладали все же, в соответствии с духом эпохи, схватки между зверями. Организаторы игр пребывают в постоянной тревоге: как добыть необходимых животных? Им нужны были медведи, которых иногда привозили совершенно изнуренными, а иногда подменяли по дороге, ливийские львы, полчища леопардов, шотландские гончие, крокодилы, а также addaces, pygargi и другие, кого мы не можем идентифицировать с точностью. Известно, что после победы над персами император помог несколькими слонами, но это было скорее исключение.

Сюда же следует отнести сценические декорации для цирка или для некоего театра, создавать которые Симмах однажды призвал художников с Сицилии. Симмах, думается, делал то, что от него требовалось по службе, и сам стоял выше подобных интересов, но в его времена у отдельных гладиаторов были не менее преданные поклонники, чем в период ранней империи. Весьма обширные, но слегка варварские мозаики на вилле Боргезе, изображающие гладиаторские

---

[1] Хлеба и зрелищ (лат.).

игры и звериные схватки, относятся, вероятно, к IV веку; рядом с фигурами подписаны имена. Теперь искусство унизилось до такого рода картин, и целые залы и фасады домов украшались ими. У собственно театра тоже имелись восторженные почитатели, среди них люди с громкими именами, как, например, Юний Мессала, который в годы правления Константина подарил мимам все свое состояние, включая ценные одежды своих родителей. По крайней мере, «комедии» еще вызывали у римлян определенный интерес, но скорее среди простого народа, главным удовольствием которого было прогонять актеров свистом, чего те пытались избежать с помощью денег. Можно предположить, что «комедия» в данном случае — это фарс (mimus). Значительно больше внимания привлекала пантомима, то есть балет, где, согласно, возможно, несколько преувеличенной оценке, до сих пор участвовало три тысячи танцовщиц и огромное количество музыкантов.

Если наши источники и предоставляют нам сведения касательно хлеба и зрелищ, мы остаемся во мраке неведения, когда пытаемся выяснить тысячу других деталей, необходимых для завершения портрета тогдашнего Рима. Так, на важный вопрос о соотношении числа рабов и свободных нельзя ответить даже приблизительно, и предположительные оценки различаются очень сильно. То там, то здесь перед глазами исследователя открывается брешь, и на мгновение он видит ту промежуточную стадию между государственной фабрикой и рабской галерой, где трудились для удовлетворения общественных нужд. Сюда относятся гигантские пекарни, изготовлявшие хлеб для раздачи. Со временем начальник этих пекарен (mancipum) выстроил неподалеку от них харчевни и бордели, где многих неблагоразумных людей обманом завлекали на фабрику, чтобы остаток жизни они провели в рабском труде; человек исчезал совершенно, и семья считала его погибшим. Римлянам наверняка была известна такая опасность, и жертвами становились преимущественно иностранцы. Чиновники, конечно, знали об этом, точно так же, как кое-какие современные правительства знают о клеймении моряков; и если конец этим жестокостям положил Феодосий, нельзя заключать, что он первый обо всем услышал.

Рассказ Аммиана об образе жизни и поведении высших классов вызывает серьезное подозрение, что этот гордый и горячий человек мучился чувством оскорбленного самолюбия. Будучи антиохийцем, он не имел особого повода унижать римлян; но, поскольку он служил при дворах Констанция и Юлиана, вряд ли его особенно сердечно принимали в семьях знатных римлян. Зачастую он жалуется на пороки, везде и всегда свойственные обеспеченным и известным людям; другие, конечно, рождены именно тем веком. Аммиану неприятно наблюдать удивительную страсть к позолоченным почетным статуям у сословия, занятого лишь обыденными пустяками и совершенно изнеженного. Ему омерзителен обычай не узнавать уже представленных иностранцев и не выказывать никакого интереса, когда возвращается долго отсутствовавший человек. Он говорит об обедах, которые обычно устраиваются только ради исполнения долга перед обществом, об обедах, куда nomenclatores (что-то вроде церемониймейстера из рабов) иногда за плату приводят простолюдинов. Еще во дни Ювенала тщеславие знати зачастую требовало ездить по городу на бешеной скорости и преданно интересоваться чьими-то, или цирковыми, лошадьми; эта традиция не исчезла и сейчас. Многие появлялись на улицах только в окружении целой свиты рабов и домашних. «...Начальники подвижной праздной городской челяди, которых легко узнать по жезлу в правой руке, тщательно расставляют свою команду, и, словно по военному сигналу, выступает впереди экипажа вся ткацкая мастерская, к ней примыкает закопченная дымом кухонная прислуга, затем уже вперемешку всякие рабы, к которым присоединяется праздное простонародье из числа соседей, а позади всего — толпа евнухов всякого возраста, от стариков до детей, с зеленоватыми, безобразно искаженными лицами». В домах, даже у лучших семейств, как и у нас, музыка помогала развлечь любое общество. Песни и звуки арфы раздавались постоянно. «Вместо философа приглашают певца, а вместо ритора — мастера потешных дел. Библиотеки заперты навечно, как гробницы, и сооружаются гидравлические органы и огромные лиры величиной с телегу». Страсть к театру была свойственна и высшему классу, и многие дамы кокетничали, принимая позы актрис.

Жесты и поведение оставались предметом утонченного искусства: Аммиан знает городского префекта Лампадия, который, если не оценить деликатность его плевка, начинал гневаться. Ситуация с содержанием клиентов и параситов[1] вряд ли заметно изменилась со времен Ювенала; не исчезли и охотники за наследством бездетных богачей, и многие другие огрехи ранней империи. Однако следует обратить внимание, что, несмотря на свое недовольство, историк почти ничего не говорит о беззакониях и гнусностях, громимых Ювеналом. Христианство никак не содействовало этому улучшению нравов; новые моральные критерии проявили себя уже в III веке.

В первый момент, читая о суевериях этого светского общества, исследователь делает вывод, что оно еще абсолютно языческое. Например, занимаясь вопросами завещания и наследства,

---

[1] Параситы — прихлебатели, приживальщики.

призывали гаруспиков, чтобы они открыли ответ во внутренностях животных. Даже неверующие отказывались выйти на улицу, сесть за стол или отправиться в баню, не посоветовавшись предварительно с ephemeri, или астрологическим календарем, дабы выяснить положение планет. Из других источников нам известно, что большинство сенаторов до времен Феодосия оставались язычниками. Чтобы поддержать жречество и ритуалы в настоящей их форме, делалось все возможное; Симмах тратил на это множество физических и душевных сил. Однако самые почтенные римляне IV века отдавали должное не только публичному sacrae, но посвящали себя секретным культам, причем, как мы уже видели, зачастую это была весьма любопытная смесь. Люди защищались от посягательств христианства, проходя через все доступные им тайные инициации.

Учитывая все это, римский языческий сенат вполне мог оставаться самым уважаемым объединением в империи. Невзирая на все выпады Аммиана, в него еще наверняка входило множество и родившихся в городе, и провинциалов, не утративших дух старой римской доблести, в чьих семьях продолжали жить традиции, которых не было, конечно, ни в Александрии, ни в Антиохии, ни тем более в Константинополе. Да и сами сенаторы почитали сенат, asylum mundi totius[1]. Там требовался особый, простой и серьезный, стиль красноречия, без всяких актерских ухищрений; еще пытались сохранить видимость того, что Рим — тот, древний Рим, каким он некогда был, и что римляне до сих пор — граждане. Все это, конечно, только прекрасные слова, но среди сенаторов еще встречались люди, исполненные истинного величия, и не их вина, что они не совершили прекрасных дел. Смелость, с какою сам Симмах встает на сторону угнетенных, вызывает высочайшее восхищение и, как и патриотизм Евмения (гл. 3), заставляет простить ему неизбежную подобострастность. Как муж благородный, достойный и независимый, сам он стоял неизмеримо выше тех титулов и почестей, к которым так стремились другие.

Об образованности в этом кругу на основании слов Ам-миана мы можем судить не лучше, чем обо всем остальном. Он отказывает римлянам в каком бы то ни было чтении, кроме Ювенала и истории империи, принадлежащей перу Мария Максима, которой сокращенную переделку, как нам известно, представляет собой первая часть «Historiae Augusta». О литературных встречах в храме Мира (где располагалась одна из двадцати восьми публичных библиотек) нечего и говорить, так как даже Требеллий Поллион мог демонстрировать там свои произведения. Но круг друзей, который собирал вокруг себя Макробий, общество, в котором вращался Симмах, показывают, насколько высоким еще оставался уровень образования среди высших классов. Нас не должна вводить в заблуждение ни весьма полезная для нас педантичность первого, ни Плиниевая изощренность второго. То была действительно эпоха упадка и в литературном плане, более подходившая для составительской работы и критики, нежели для творчества. Эпигон выдает себя, когда начинает колебаться между архаизмами эпохи Плавта и наисовременнейшими абстрактными существительными. Можно даже увидеть здесь прообраз односторонности всех романских народов, пишущих книги с помощью словаря; изящная аффектация писем и заметок Симмаха, конечно, вполне сознательна. Почтение к древней литературе, благодаря которому мы и знаем ее, в культурной жизни того времени играло ту же роль, что и культ Ариосто и Тассо в современной Италии. Симмах делает другу прекраснейший подарок — список Аивия. Вергилию фактически поклонялись; его постоянно исследовали, толковали, учили наизусть, вставляли в центоны и даже гадали по нему о будущем. Вполне естественно, что в ту эпоху жизнь великого поэта начала превращаться во что-то чудесное и волшебное.

И наконец, заслуживает беглого обзора и сельская жизнь римлян того времени. Тот же самый человек, который высшим достоинством своей дочери считал то, что она — прилежная пряха или, во всяком случае, надзирает за служанками-прядильщицами, владел дюжиной вилл, для содержания которых требовалась целая армия управляющих, но-тариев, сборщиков арендной платы, строителей, носильщиков и курьеров, не говоря уже о тысячах рабов и арендаторов. По мере того как вымирали крупные семьи, latifundia, давно «сровнявшие Италию с землей», постепенно оказывались в руках все меньшего количества людей. Никто не станет отрицать, что в целом это было дурно, и зависимость Италии от африканского хлеба подтверждает данный факт. Сами крупные землевладельцы не так уж радовались; обремененные почетными должностями, они с подозрением взирали на правительство, им досаждали постоянные искатели чинов, возможно, зачастую им приходилось всячески экономить — таким образом, от своего почти царственного положения они получали лишь весьма ограниченное удовлетворение. Но те, кто мог, наслаждались жизнью в своих загородных поместьях, перебираясь из одного в другое в зависимости от сезона; по крайней мере, старейшие из этих поместий еще напоминали о роскоши и изяществе имений Плиния. Симмаху

[1] Прибежище всего мира *(лат.)*.

принадлежали — если начать с окрестностей Рима — дома по Аппиевой дороге и на Ватиканском холме, дома в Остии, Пренесте, Лавиниуме, в прохладном Тибуре, владения в Формиях, в Капуе, в Самнии, в Апулии и даже в Мавритании. Он обладал, конечно, и землями на божественном неаполитанском побережье. Римляне всегда по причинам, для нас непонятным, предпочитали Байи Неаполитанскому заливу. Еще и до сих пор путешествие на пестро украшенной лодке из Авернского озера вверх, к морю, к Путеолам, веселит сердце; над тихими водами далеко разносятся песни, из вилл над морем слышатся звуки веселых празднеств, а издалека, от самого берега, долетает плеск, производимый отважными пловцами. Все подражали великолепию Лукулла, и уединение, коего якобы искали приезжающие, едва ли могло быть достигнуто там, где вокруг на мили и мили простирались виллы и дворцы; подлинно сельская жизнь происходила скорее в поместьях, заслуживавших наименования ферм. Вот как празднует римлянин окончание жатвы: «Новое вино выжато и разлито в бочонки; лестницы поднялись к вершинам фруктовых деревьев; тут давят оливки, а тут охота мчит нас в леса, гончие с тонким нюхом несутся по следу кабана». Охота, как мы можем заключить, была превосходной, правда, Аммиан придерживается мнения, что многих их изнеженность вынуждала довольствоваться ролью зрителя; но те, в чьих жилах текла горячая кровь, любили охоту в подлинном смысле слова, конечно, не меньше, чем современные итальянцы. Это занятие стоило скорее поэмы, нежели учебника. Как «Георгики» дают художественное изображение сельской жизни в целом, так «Cynegetica» и «Halieutica», кое-что в которых соответствует и IV веку, прославляют охоту и рыболовство. Несколько стихотворений Руфа Феста Авиена, написанных в конце IV столетия, — последнее наше свидетельство настроения, пронизывавшего загородную жизнь языческого Рима. «На рассвете я молюсь богам, затем иду в поместье со слугами и указываю каждому соответствующую задачу. Затем я читаю и взываю к Фебу и музам, пока не приходит время умащать себя и упражняться в устланной песком палестре. Счастливый, не помышляя о деньгах, я ем, пью, пою, играю, купаюсь, а после ужина отдыхаю. Пока маленький светильник расточает свою скромную меру масла, в честь ночных Камен слагаются эти строки».

Однако число тех, кто умел наслаждаться жизнью столь полно, неуклонно сокращалось, поскольку кризис империи, вера в демонов и страх потустороннего подорвали и дух язычников. Исчез тот особый взгляд на мир, в котором благороднейшее эпикурейство соединялось со стоицизмом и который превращал земную жизнь лучших из людей в нечто столь приятное и милое сердцу. Один из последних отзвуков этого настроения, относящийся к эпохе Константина, — маленькое стихотворение Пентадия «О счастливой жизни». Но строчки его напоминают читателю Горация, и их не стоит приводить здесь, так как мы не знаем, был ли их автор действительно серьезен.

В древней мировой империи был еще один город, который никогда не упоминается в связи с Константином, но, тем не менее, заслуживает нашего внимания и пробуждает наше сочувственное любопытство.

Уже после Пелопоннесской войны Афины во многом утратили свое могущество, и после завоевания Суллы город сильно обезлюдел и значительно уменьшился в размерах. Но ореол славы, окружавший город, легкая, исполненная удовольствий жизнь в нем, величие его памятников, почтение к аттическим мистериям и сознание роли этого города для всего эллинского мира — все это не прекращало притягивать свободолюбивых, образованных людей; за философами и риторами следовали их многочисленные ученики. Во времена Адриана, которого в благодарность за все совершенное называли новым основателем Афин, в городе возникло даже нечто вроде университета, существовавшего частично на средства империи, — позднее окончательно обедневшие Афины жили главным образом за его счет.

Тот, кто в ту позднюю эпоху не утратил любви к древности, не мог не любить Афины. Лукиан вложил в уста своего Нигрина прекрасные и прочувственные слова об этом скромном городе, где философия и бедность равно в почете, жители которого не стыдятся бедности, ибо считают величайшими сокровищами свободу, умеренность и благородную праздность. «Такое препровождение времени согласно с требованиями философии и способствует сохранению чистоты нравов, и тамошняя жизнь как нельзя более подходит для дельного человека... Тому же, кто любит богатство, кого прельщают золото и пурпур и кто измеряет счастье властью, кто не отведал независимости, не испытал свободы слова, не видел правды, кто всецело воспитан в лести и рабстве... тому более подходит здешний [т. е. римский] образ жизни». Но не только сириец из Самосаты, столь редко бывавший серьезным, писал об афинянах с таким пламенным красноречи- ем. Достаточно вспомнить Алкифрона, Максима Тирского, Либания Антиохийского и прочих, живших позднее, — правда, при этом довольно трудно понять, идет ли речь об Афинах периода расцвета, или достоинства древних приписываются нынешним жителям города. Либаний, например, говоря об умении прощать обиды, а не мстить за

них, замечает, что «таково достоинство греков, афинян и тех, кто подобен богам». У Гелиодора Эмесского девушка, захваченная в плен египетскими разбойниками, пишет: «...Лучше сподобиться эллинского погребения, чем терпеть восторги варвара, которые мне, уроженке Аттики, докучнее его вражды». Эти последние язычники, которым не нашлось места ни в упорядоченной римской жизни, ни в христианской церкви, были безраздельно преданы своему городу, священнейшему месту Древней Эллады, и нежно, искренне его любили. Жить там считалось у них величайшим счастьем.

Однако обучение, ради которого софисты и их ученики съезжались в Афины, несет на себе слишком уж явную печать эпохи. Филострат и Геллий позволяют составить наглядное представление об афинских философских школах времен начала империи, сочинения Аибания и Евнапия в полной мере характеризуют их состояние в IV веке, и едва ли мы можем говорить здесь о прогрессе. Господство риторического образования, экстравагантность и таинственность неоплатоников, суетность учителей и лукавая сплоченность учеников — все это привносило в мирную жизнь Афин дух вражды и соперничества. Новоприбывший ученик с первых минут уже не мог чувствовать себя в безопасности: в Пирее (если, конечно, его не подстерегли раньше, на мысе Суний) его уже ожидали охотники за новыми студентами, жаждавшие затащить новичка в тот или иной лекционный зал (didascaleion); а если приехавший уже выбрал себе наставника дома и упорно не желал менять решение, в ход шли угрозы. Сами наставники также появлялись в гавани, чтобы приглядеть за своими жертвами. Если же ученику удавалось благополучно добраться до Афин, скажем, под защитой капитана корабля, в самом городе он сталкивался с неприкрытым насилием. Оскорбления, драки, убийства, бесконечные судебные разбирательства — таков был горький итог соперничества учителей. При выборе наставника не последнюю роль играло то, откуда студент родом. В те времена, когда в Афинах учился Евнапий, выходцы из восточных провинций обычно избирали своим наставником Епифания, арабы — Диофанта, а жители Понта — своего божественнейшего земляка Проересия, к которому тяготели также египтяне, ливийцы и приезжие из Малой Азии. Однако этот обычай не был обязательным, и постоянные переходы учеников из одной школы в другую еще более разжигали и без того не утихавшую вражду. Ученики объединялись в вооруженные «толпы», возглавлявшиеся prostates; участие в кровавых драках расценивалось как «сражения за отечество». Дело дошло до того, что проконсул Ахайти призвал к себе в Коринф две враждующие группировки, куда входили и учителя, и слушатели, чтобы привлечь их к ответу. Разбирательство вылилось в традиционный диспут по всем правилам риторики перед лицом проконсула; в данном случае игра стоила свеч, ибо проконсул «не был человеком необразованным или воспитанным в грубой и лишенной искусств обстановке». Не было и намека на дружбу и товарищество. Наставники уже давно не отваживались излагать свое учение публично в общественных театрах и залах, ибо каждое такое выступление могло закончиться кровопролитием. Самые преуспевающие из софистов устраивали небольшие помещения для выступлений у себя дома. Евнапий описывает подобным образом оборудованный дом Юлиана Каппадокийского так: «Дом этот был маленький и простой, однако от него, словно от храма, исходил дух Гермеса и муз. В этом доме были сделаны изображения тех из учеников Юлиана, которыми он наиболее восхищался; был здесь также амфитеатр, внешним видом напоминающий общественные театры, но меньше, чтобы его размеры подходили для дома. Но бедные учителя, вроде Проересия и его друга Гефестиона, все имущество которых, когда они приехали в Афины, составляли гимнатий и трибоний — одни на двоих — и три или четыре выцветших коврика, обходились как могли.

Члены студенческих объединений предавались разнообразнейшим бесчинствам. Новички проходили сложный обряд посвящения, обходившийся им к тому же довольно дорого, и связывали себя долгосрочными клятвенными обязательствами, что нередко заканчивалось знакомством с ростовщиками. Большую часть дня ученики играли в мяч, а ночью отправлялись на прогулки или навещали «сладкогласных сирен». Самые грубые и безнравственные могли просто из озорства ограбить какое-нибудь мирное жилище. Либаний, с трудом освободившись от этих «братских уз», проводил время в приятных и познавательных путешествиях, особенно предпочитая Коринф. Очевидно, многие ученики, как это было в обычае еще во времена Филострата, посещали Олимпийские, Коринфские и другие национальные праздники, по-прежнему не утратившие своей популярности. Однако величайшей наградой любому убежденному язычнику, приехавшему в Афины, было посвящение в элевсинские мистерии. И вся эта пестрая жизнь протекала на фоне величайших памятников мировой культуры, чей благородный облик, одухотворенный памятью о важнейших исторических событиях, потрясает душу. Мы не знаем, как воспринимали эти памятники софисты IV века и их ученики. В те времена ключи, питавшие греческий гений, один за другим иссякали, и в конце концов остались лишь плоская диалектика и безжизненное составительство. Парфенон, посвященный Афине Палладе, и Пропилеи все так же взирали свысока на город, древние, спокойные и величественные; они пережили вторжение готов при Деции и разгром при Константине, однако, думается, значительная часть того, что видел и описал Павсаний во II столетии, осталась в целости.

Но для той эпохи совершенная гармония архитектурных форм и незамутненное величие статуй богов постепенно утратили постижимость.

Тот век искал новый духовный центр, новое средоточие помыслов и устремлений. Для ревностных христиан такой небесной и земной отчизной была Палестина.

Нет смысла повторять здесь все то, что писали Евсевий, Сократ Схоластик, Созомен и другие о том, как почитали эту землю Константин и Елена, о роскошных храмах, возведенных в Иерусалиме, Вифлееме, подле Мамврийского дуба и на Масличной Горе. Если говорить о Константине, то его мотивы, конечно, не отличались глубиной. Поклонение святыням для него было чем-то сродни вере в амулеты — он повелел сделать из гвоздей Христова креста шишак и забрало.

Но сонмы верующих с той поры горели желанием увидеть воочию те места, которые они почитали священными. Разумеется, духовно развитый человек способен побороть в себе эту естественную неудержимую тягу, ибо такого рода паломничества на самом деле принижают и огрубляют то, что поистине священно, привязывая его к определенной точке пространства. И тем не менее, всякий не вполне бесчувственный христианин не может не посетить хотя бы раз места, при одном упоминании которых сердце его переполняют любовь и благоговение. Со временем, когда подлинная страсть уступила место обычаю, паломничества стали чем-то вроде так называемых «добрых дел», но это ни в коей мере не замутняет чистоты и прелести их истоков.

Палестина, столь поразительно соединившая в себе память о древнем и новом договоре между Богом и человеком, всегда, начиная еще с апостолов, влекла к себе верующих. Возможно, первым паломником в эти далекие земли был епископ Каппадокии Александр, который во времена Каракаллы отправился в Иерусалим, называвшийся тогда Элия Капитолина, «чтобы помолиться и разузнать о тех местах». Ориген также посещал Палестину в поисках «путей Христа, учеников и пророков». Но во времена Константина к желаниям подобного сорта стали примешиваться иные стремления, порожденные получавшей все большее распространение практикой почитания мучеников, поклонения их гробницам и мощам. Иерусалим сам по себе был величайшей и самой священной из всех реликвий, а в окрестностях его располагалось множество важных культовых мест, и на посещение их уходило порой много дней. Из описания паломничества, совершенного пилигримом из Бордо, посетившим Святую землю в 333 г., хорошо видно, как благочестивое рвение создателей легенд и, возможно, определенный корыстный интерес наводнили всю страну всемирно известными святынями, почитавшимися безоговорочно на протяжении всего Средневековья. Гостям показывали покои, где Соломон писал свои притчи, следы крови священника Захарии на полу иерусалимского храма, дома Каиафы и Пилата, смоковницу Закхея и множество разных других мест и предметов, которые современного критически мыслящего исследователя повергли бы в глубочайшее изумление. Спустя несколько десятилетий, описывая странствие Павлы, Иероним подробно перечисляет все святыни, встречающиеся на пути от Дана до Биир-Шевы. Сам Иероним, в целом относившийся к разного рода реликвиям довольно спокойно, под конец жизни поселился в Вифлееме, и все его почитатели последовали за ним. В конце IV века в Иерусалиме и его окрестностях существовала большая колония благочестивых христиан, приехавших со всех концов империи, чтобы вести жизнь, требовавшую постоянного самоограничения и самопожертвования. «Хоров там было почти столько же, сколько есть на свете разных народов». Среди этих людей встречались и выходцы из западных провинций, прежде носившие высокие титулы и владевшие огромным богатством, — но они все оставили и переселились туда, где обстановка более всего располагала к чистоте и целомудрию. Те, кто по каким-либо причинам не мог этого сделать, очень горевали; Иероним не раз писал подобным людям, пытаясь убедить их, что можно достичь вечного блаженства и не побывав в Иерусалиме.

Членам иерусалимской христианской общины многие завидовали, но и их жизнь не была воплощением идеала. Помимо внешней угрозы со стороны сарацин, чьи грабительские набеги докатились до самых ворот Иерусалима, и закоренелых язычников, обитавших в непосредственной близости в каменистой Аравии и Келесирии, демоны, считавшие Палестину своей вотчиной, как всегда, развивали кипучую деятельность. Мы уже упоминали о том, как святой Иларион изгонял бесов. Иероним рассказывает, что у гробниц пророков, в окрестностях Самарии, собирались толпы одержимых, жаждущих исцеления: еще издали было слышно, как они рычат, кричат, лают и воют на разные голоса. Эти беспризорные духи постоянно витали над фронтовой полосой христианской религии, располагавшейся между Иорданом, пустыней и морем.

По странной прихоти судьбы даже деяния Константина в отношении Палестины оставили след в мировой истории, и последствия их сказывались еще на протяжении многих веков. Он придал Иерусалиму ту славу и блеск, благодаря которым город стал культовым центром всего романского, а потом средневекового мира, и не случись этого, едва ли он был бы пятьсот лет спустя отвоеван у мусульман.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ

98 – 117 Траян
117 – 138 Адриан
138 – 161 Анотони Пий
161 – 169 Марк Аврелий
Луций Вер
169 – 177 Марк Аврелий
177 – 180 Марк Аврелий
Коммод
180 – 193 Коммод
193 Пертинакс
193 Дидий Юлиан
193 – 198 Септимий Север
198 – 208 Септимий Север
Каракалла
208 – 211 Септимий Север
Каракалла
Гета
211 – 212 Каракалла
Гета
212 – 217 Каракалла
217 – 218 Макрин
218 Макрин
Диадумениан
218 – 222 Элагабал
222 – 235 Александр Север
235 – 238 Максимин
238 Бальбин
Максим
238 – 244 Гордианы
244 – 248 Филипп Араб
248 – 249 Филипп Араб и сын
249 – 251 Деций
251 – 253 Галл и сын
253 Эмилиан
253 – 260 Валериан
Галлиен
260 – 268 Галлиен
268 – 270 Клавдий Готскийц
270 Квинтиллий
270 – 275 Аврелиан
275 Около месяца – период междуцарствия
275 – 276 Тацит
276 Флориан
276 – 282 Проб
282 – 283 Кар
283 – 284 Каринг
Нумериан
284 – 286 Диоклетиан
286 – 305 Диоклетиан
Максимин
305 – 306 Констанций Хлор
Галерий
306 – 307 Галерий
Север
307—308 Галерий
Константин
[Максимиан
Максенций]
308—310 Галерий
Лициний
310—311 Галерий
Лициний
Максимин Даза
Константин
311—313 Лициний
Максимин Даза
Константин
313—324 Константин
Лициний
324—337 Константин
337—340 Констант
Констанций II
Константин II
340-350 Констант
Констанций II
350—361 Констанций II
361—363 Юлиан